Алексей Ливеровский

ОХОТНИЧЬЕ БРАТСТВО

Алексей Алексеевич Ливеровский

ОХОТНИЧЬЕ БРАТСТВО

Рассказы

Проза одного из старейших ленинградских писателей Алексея Ливеровского несет в себе нравственный, очищающий заряд. Читателя привлекут рассказы о Соколове-Микитове и Бианки, об академике Семенове, актере Черкасове, геологе Урванцеве, с которыми сблизила автора охотничья страсть и любовь к природе.

А. А. Ливеровский. Фотография О. К. Гусева.

Алексей Ливеровский

ОХОТНИЧЬЕ БРАТСТВО

рассказы

ОХОТНИЧЬЕ БРАТСТВО

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Отец оставил мне большое наследство весьма спорной ценности. Будучи горячим и знающим охотником, он заразил меня этой страстью и хорошо обучил ее атрибутам: распознаванию, выслеживанию всяческой дичи, стрельбе из нарезного и гладкоствольного оружия, дрессировке всех разновидностей охотничьих собак, умению ориентироваться и жить в лесу в любое время года.

Он был морской врач, очень часто уходил надолго в плавание, и вечной болью его была невозможность находиться на охоте столько, сколько ему хотелось. Имея на корабле досуг, он забирал с собой в плавание огромное количество книг, так или иначе касающихся его любимой охоты. Таким образом, охота для него была занятием несколько теоретическим.

Повинен в этом наследстве не только мой отец; рядом с ним, а значит, и со мной жили другие заядлые и умелые охотники: мой дядюшка Леонид, знаменитый орнитолог В. Л. Бианки, его сын, будущий детский писатель, Виталий, также в будущем известный охотовед, писатель Г. Е. Рахманин и полярник-писатель Е. Н. Фрейберг, тогда еще мальчик Григорий Лавров, лесовод. Было у кого научиться охотничьему делу, у кого заразиться неуемной охотничьей страстью.

Спорная ценность. Возможно, если бы я не отдавал охоте столько времени, энергии, сил, то больше сделал бы в жизни, успешнее продвинулся по научной и служебной лестнице. Возможно. Однако, прожив изрядное количество лет, с полной уверенностью так подвел итог в одной из своих статей:

«Славлю охоту! Она сделала меня мужчиной, здоровым и выносливым, уверенным в своих силах. В детские годы была любимой увлекательной игрой и отучила бояться неведомого: леса, темноты, мистики неосознанного. В дни молодости уводила от дружеских попоек, картежной игры, дешевых знакомств, показной стороны жизни. Зрелого — натолкнула на радость познания родной природы. Под уклон жизни — спасла от многих разочарований и психической усталости».

Это, конечно, итог индивидуальный, субъективный; однако был у моего увлечения и другой, побочный результат — считаю его большим подарком судьбы. Именно охота, этот совершенно особый вид человеческой деятельности, свела меня с ее служителями, людьми, пораженными этой страстью — и обычно на всю жизнь. Судьба свела нас вместе, но не на работе, не в праздности или застолье, не по душным квартирам на паркете, — нет! Под голубой или звездной крышей, в жару или в стужу, под дождем или снегом, по хлесткому прутняку, по утомительным мшагам, по вязким грязям, убродным снегам и по

воде в зыбких посудинах, — разно; очень разно, но непременно с ружьем и частенько с собакой. Словом, в те дни и часы, когда человек полностью отвлекается от обычных дел и становится просто равноправным членом охотничьего братства.

Память! Удивительное свойство человеческого мозга. Замечательное и коварное. Так устроена, что в фильтрате памяти больше хорошего и доброго, чем плохого и злого, — поправки вносить трудно. И надо ли? Что кроме радости и доброго сохранила моя память об охотах с чудным человеком, великим мастером своего дела, стеклодувом Николаем Гавриловичем Михайловым, с другом и замечательным писателем Виталием Бианки, блестящим актером Николаем Константиновичем Черкасовым, всемирно известным физиком Николаем Николаевичем Семеновым, умницей и талантливым рассказчиком Ильей Владимировичем Селюгиным, удивительной четой полярников Урванцевых, мудрым русским писателем Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, ведуном лесных тайн Василием Матвеевичем Салынским? Я сижу в своем закутке-кабинетике в глухом углу Новгородской области, закрываю глаза и взываю к памяти. Вот они все со мной, одинаково живые. Я пишу о них книгу, книгу об охотничьем братстве. В каждой главе человек и друг. Памяти помогут охотничьи дневники, что я вел много лет, и груда любительских фотографий в ящике стола.

ЛЕБЯЖЕНЕЦ БИАНКИ

Разные памяти бывают: трудная память учения, когда частенько силком впихивает в себя человек что любо и не любо; память случая — бог его знает, какая иногда чепуха долгие годы хранится в мозгу; память душевной боли — очень стойкая, всякий ее знает; и память сердца — самая дорогая и нужнейшая людям, Виталия Бианки помню сердцем.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Для Виталия Бианки малой душевной родиной было Лебяжье.

У каждого человека, помимо большой общей Родины, есть и своя маленькая, чаще всего это место, где протекли детские годы. О ней никогда и не думается, будто крепко позабыта… а все от нее. Скажет человек: «Жарко в Астрахани», — и не подозревает, что сравнил с чем-то Астрахань. Пишет в письме: «Здесь мало леса, если и есть, то больше лиственный», — опять сравнил.

Что за место Лебяжье? Прекрасно о нем сказал сам писатель Бианки: «Неспроста эта деревня носит такое поэтическое название. Искони ранней весной, когда еще не весь залив освободился ото льда, против этого места на песчаных отмелях останавливаются стада лебедей. Серебром отливают их могучие крылья, и серебряными трубами звучат в поднебесье их могучие голоса. Здесь пролегает „Великий морской путь“ перелетных из жарких стран на родину — в студеные полночные края. Осенью здесь тоже валом валит морская птица, совершая обратный путь с рожденной у нас молодежью.

По всему побережью здесь живописные названия мест: Лебяжье, Красная Горка, Черная Лахта, Серая Лошадь. И есть у этих мест еще одно свойство: поразительное сочетание моря и леса.

Одно из самых поэтических лесных таинств — глухариный ток. Весной в лесу на темнозорьке слышится страстная до самозабвения, до минутной глухоты песня огромного бородатого петуха. И есть ли еще на свете место, где эту песню услышишь под аккомпанемент ритмичного плеска морской волны и далеких лебединых труб?»

Лебяжье — рыбацкий поселок на южном берегу Финского залива — и моя малая родина. С самого раннего детства я проводил там лето на даче отца, морского врача. Неподалеку арендовал дачу старший хранитель Петербургского Зоологического музея Академии наук — Валентин Львович Бианки. Дача Бианки недалеко от моря, — в штормовую погоду в комнатах слышны гул и всплески прибоя. В доме всегда звенят птичьи голоса. Птицы местные, за исключением нескольких канареек, привезенных из города. Живут в клетках во всех комнатах и в вольере на веранде. Некоторые свободно летают по всему дому.

Во дворе много ящиков и клеток. Там ежи, лисята и прочая лесная живность. Громко просят есть птенцы ястреба. В большой притененной клетке светятся круглые глаза филина. Помню, как он дробно щелкал клювом, когда ему приносили мясо или мышь. Над двором, на вершине сосны, сидит ворона. Сидит и не улетает, хоть палкой на нее махни. Это свой вороненок-выкормыш. На плечи садится большая уже сорока и клянчит подачку. Огромная мохнатая голова тычет в спину — не бойтесь, не страшно, это свой лосенок. Для нас, ребят, попасть «на дачу Бианок» было приключением — и еще каким! — надолго запомнишь.

В Лебяжьем сложилась группа опытных охотников: мой отец, Алексей Васильевич Ливеровский, Валентин Львович Бианки, хирург Гаген-Торн, риголовский — из соседней деревни — крестьянин Абрам Хенцу и лавочник Пульман. Иногда они брали с собой на охоту молодых: Виталия Бианки, Юрия Ливеровского, Евгения Фрейберга и Григория Рахманина. (Совершенно удивительно, что эти «молодые» впоследствии стали в той или иной мере писателями, а Бианки сам через много лет отметит, что в Лебяжьем «вырастали люди, влюбленные и в лес и в море, становились певцами их».) Мне, самому младшему, напроситься в эту компанию, несмотря на то, что руководил охотами традиционно мой отец, было трудно. Брали только на тягу вальдшнепов в Онисимовский лес, это километра полтора от дома.

Руководил охотами традиционно мой отец. (На телеге сидят: А. Хенцу, В. Бианки, А. В. Ливеровский, за ним Юрий, В. А. Миркович с сыном. Стоит справа — Пульман. 1907 г.).

Помню, как на привале у костерка перед тягой Валентин Львович показывал свое ружье. Сын охотника, я уже как-то разбирался в охотничьем оружии, но это было необычным: четырехстволка, выполненная по особому заказу. Два боковых ствола — обычные дробовые, нижний нарезной — для стрельбы пулей на дальние расстояния, верхний гладкоствольный малокалиберный — для коллекционирования мелких птиц. Заряжается этот ствол «дунстом» — дробью, похожей на россыпь маковых зерен.

Вокруг Лебяжьего были леса герцогов Мекленбург-Стрелицких. Рослые и, как нам тогда казалось, свирепые егеря-эстонцы охраняли собственность высокопоставленных хозяев. Охотиться можно было только на арендных началах в небольших частновладельческих лесах, на землях крестьянских общин —

вдоль узкой береговой полосы. Старшие охотники смирялись с таким положением легко, молодые повально браконьерствовали. Считалось большим шиком, даже доблестью, тайком забраться в герцогский лес и добыть там глухаря или дикую козу, благо и тех и других было там превеликое множество. Отваживались на такие походы и несколько охотников-крестьян из деревень Новая Красная Горка и Риголово. Егеря жаловались уряднику и с ним вместе приходили на нашу дачу, на рахманинскую и, конечно, бианковскую для розыска «вещественных доказательств». Несомненно, что здесь к охотничьей страсти и романтике приключений в какой-то мере присоединялся и социальный протест: молодежь в те годы была настроена весьма революционно, хотя революционность эта была чаще всего неорганизованной и, при всей искренности, принимала необычные, иногда даже комические формы. Например, старший брат Виталия — впоследствии серьезный ученый — ходил в студенческих синих брюках с демонстративной красной заплатой на заду — эпатировал буржуазию!

Жили мы в Лебяжьем подолгу, до отъезда в город к началу занятий, иногда и порядочно опаздывая. В конце нашей дачной жизни над заливом уже шумел великий морской перелет. Кряковые, чирки, свиязи, широконоски — все утиные породы стайками вырывались из облаков и падали в камыши у Старой гавани, Лоцманской речки, устья Лебяженки, в Свиньинской бухте или тянули дальше, к почти сказочному для нас, молодых охотников, камышовому раздолью Черной Лахты и Серой Лошади.

На крутых серо-зеленых волнах, купаясь в пене гребешков, покачивались сотенные стаи морских уток: чернети, синьги, турпанов, крохалей. Завидя поблизости шлюпку, неохотно поднимались — непременно против ветра — и после круга-облета горохом сыпались на воду, садились, как падали, выпустив вперед растопыренные лапы.

Тоскливо кагакали, пролетая вдоль прибрежного соснового бора, гуси, выбирали места поукромнее. Звонко и светло трубили на отмелях лебеди. Их первыми обнаруживало на воде восходящее солнце. С берега лебединые стаи виделись нам как сказочные розовые острова. Заметив, что люди в домах проснулись, лебеди начинали тревожно вскрикивать и, решившись, поднимались на крыло. Недружно, тяжело отрывались от заштилевшей воды. Мы следили за их полетом, прощались — вот и все, больше мы эту стаю не увидим, разве что весной.

Запаздывали мы в город, это беспокоило, но как было хорошо и вольно среди пустых заколоченных дач, забытого футбольного поля и крокетных площадок. Помнится, в речке поднялась вода под самый мост — на лодке не проехать. Пришли сиги: стоит перегнуться через перила, глянуть вниз, — увидишь на воде желтые кораблики-листья, а среди них, чуть пониже, плавно шевелятся темные спины крупных рыбин. Расходятся по воде круги: то рыба схватит что-то с поверхности, то от всплеска ее мощного хвоста. Такую рыбку на детскую удочку не вытянуть!

В яблоневых садах, если очень внимательно присмотреться к почти безлистным кронам, можно найти яблоко. Стряхнешь его, откусишь и… поразишься сладостью и ароматом холодной наливной мякоти.

Конечно, главное в эту пору — охота, азартная, безудержная.

Тут уж мы охотились сами, без взрослых, — как кто умел. И стиралась грань между молодыми и мальчишками. Охотники постарше ходили в лес или гонялись за черневой уткой на байдарках и парусных шлюпках. Кто помоложе, — ползал по берегу, прикрываясь камышами или камнями, и надежде скрасть табунок уток или отдыхающих на отмелях куликов.

Хорошо помню случай в Свиньинской бухте. Я считал себя охотником: еще в прошлом году выстрелил из настоящего ружья (правда, когда целился, откинувшись назад для равновесия, отец держал палец под цевьем). Однако попал — три дробины первого номера — в школьную тетрадь. А в этот сезон охотился уже самостоятельно. Отец дал на двоих (мне и брату) свое старое ружье. Это была двустволка шестнадцатого

калибра ленточного Дамаска, курковая, с нижним ключом. В правом стволе был вырван кусок, как тогда говорилось, вершка в три-четыре.

Пошел на вечерку в Свиньинскую бухту. Так назывался мелкий залив неподалеку от устья речки Лебяженки. Волны приносили туда морскую тину. Здесь она оставалась, образовав порядочную грязевую площадь с камышом и небольшим зеркальцем открытой воды. На середине бухты был песчаный островок и на нем постоянный, довольно хорошо устроенный и просторный шалаш из камыша и плавника. Сиденьем служила опрокинутая угольная корзина, из тех, что во множестве приплывали к берегу из Кронштадта.

Забрался в скрадок рано. Расположился, зарядил единственный ствол пятеркой, лежал, наблюдал. К вечеру ветер стих: умолкли потайные разговоры сосновых вершин на песчаном обрыве, зазеркалилось море. Запах тины, соленой воды, пожухлого камыша бередил охотничью душу. Далеко-далеко в море, над банками, темными, меняющими очертания облачками струились всё на запад, на запад стада пролетных уток, по манере и по времени — морских. Меня они не волнуют: не пойдут в берег, особенно в тихую погоду. Звонко свистит непонятно где улит.

По фарватеру от Кронштадта идет «купец». Далеко до него — кажется, на месте стоит, только белое пятно у носа показывает, что движется, и доносится мерное постукивание машины: тук, тук, тук. Быстрой черной полосой накатывается волна, за ней другая, они покачивают камыши и шипят за спиной на берегу. Это от парохода — не того, что виден, нет, от того, что давно уже скрылся из глаз. Финская лайба, лавируя, подошла близко к нашему берегу — кажется, сейчас сядет на четвертую банку.

Банки… песчаные отмели вдоль берега. Они придают Лебяженскому побережью особые свойства: по ним, даже при самой малой волне, бегут белые гребни, на них присаживаются лебеди, а в штормовые сентябрьские ночи над банками вспыхивают злые оранжевые огни, и тогда вздрагивают и звенят стеклами прибрежные домики. Тысячи мин поставлены в заливе нашими и врагами, давно и недавно. Проржавеет минреп — сорвется мина, долго плывет по глубокому, грузная, осклизлая, крутится в воде, пока не стукнется рогатой головой о прибрежный песок.

Первая банка близко, идешь к ней — вода по колено, а на самой банке и того меньше. До второй придется идти уже по пояс, к третьей — по грудь. Чтобы попасть на четвертую банку, в низкую воду надо идти долго, с упором, по горло, а в высокую придется плыть. Зато на ней, на четвертой банке, так хорошо стоять на мягком ребристом песке посреди моря и боком, плечом принимать веселую тяжесть шипучих гребней.

Между банок торчат из воды камни, все известные: Плескун, Пять Братьев, Рваный, Плешка, Малые и Большие Лоцманские, — много их. Летом, в тихую погоду, хорошо доплыть до камня, зацепиться пальцами, подтянуться, выбраться на теплую верхушку и лечь отдохнуть. Если свесить над водой голову и прикрыть лицо руками, — увидишь водяной мир. В тени камней, лениво шевеля плавниками, стоят окуни. На дне лежат пескари, очень крупные. Или это так кажется. Их, неподвижных, почти не видно — так, что-то вроде серых палочек, но как сыграют — заблестят серебряными брюшками. Мы, мальчишки, ловим их на удочку или колем на мелких местах острогами — столовыми вилками, насаженными на палку. Дома у нас пескарей не берут, хотя тетя Люба говорит, что это предрассудок и из пескарей получается уха ничуть не хуже, чем из окуней. По легкой, как зеленый пух, придонной траве тянутся светлые дорожки — это прополз угорь. Если долго и осторожно красться по такой тропинке, можно догнать угря — светло-серого под водой и совсем черного, когда вытащишь. Только это редко бывает — большая удача, все узнают. Если долго смотреть сверху и не двигаться, — заметишь, как ползет двустворчатая ракушка, увидишь ее беловатую ногу, и вдруг… Стая крупных красноперок, резво поводя хвостами, промчится у самого камня. Какие они большие! Вот если бы клюнула, — пожалуй бы, леску оборвала!..

Так долго лежал в скрадке, — чуть не уснул. Слышу — откуда-то из-за спины у меня мчится тройка чирков, делает малый круг, плюхается на открытую воду и быстро плывет в бухту. Плывут, то скрываясь в островках камыша, то появляясь на чистом. Все ближе и ближе, только страшно медленно, — кормятся, отряхиваются, оглядываются. Стрелять рано, наметил лепешку всплывшей тины — около нее будут на выстреле. Бьет лихорадка! Еще подвинулись — может быть, пора? Выплывут из того камыша — и… взлетели! Точно ими из рогатки выстрелили вверх. Что за черт? Не шевелился же, моргать боялся. Позади хлюпанье шагов по грязи. В шалаш вползает Витька Бианки — и сразу:

— Лешка! Извини, бога ради! Не видел, что у тебя утки! Вот незадача! Пожалуйста, прости.

Какое тут прощенье? Разве я мог в чем-нибудь упрекнуть своего кумира? И не только моего, а всех лебяженских мальчишек поголовно.

Для меня самое важное, что Виталий был среди взрослых охотников. Тайно, шепотом, из уст в уста мы, мальчишки, рассказывали, что Витька на днях с одним риголовским уложили ночью в герцогском лесу лося у самого дома лесника Шеля и благополучно вывезли из леса. Много было и других секретных и несекретных рассказов про него. Факт оставался фактом, что даже в футбольный сезон Виталий азартно охотился. Помню начальные строки частушки, что пели у Бианок: «И за парой диких уток пропадает двое суток…»

И вот мы с ним в шалаше лежим вместе и караулим этих самых уток. Ждем вечернего прилета, посматриваем через амбразуры и, конечно, тихонько разговариваем. О чем? Память мне не сохранила, о чем говорили именно в этот раз, но хорошо представляю интересы того времени. Вероятно, о чрезвычайном происшествии того лета: о лосе, прыгнувшем через забор прямо на стекла парника и застреленном садовником Лацем. Об Ализоне, замечательной охотничьей собаке Гриши Рахманина, предмете всеобщей зависти. Нескладный, кривоногий, как такса, пойнтер был на удивление умен и послушен. Гриша приучил его гонять диких коз. Генерал Лайминг свой лес, вклинившийся в герцогский, решил выгодно продать: нарезал его на маленькие участки, провел дороги-улицы, даже названия им дал и предлагал всем желающим. Таких не оказалось, а Гриша приходил туда с ружьем и собакой. Ализон на своих кривых ножках, не торопясь, преследовал коз. Их хорошо было видно на бесчисленных просечках-границах и дорогах, легко подстоять. Конечно, мы говорили про охоту Гриши с умницей Ализоном.

Не помню, дождались ли тогда уток, чем кончилась охота. Стал накрапывать дождь. Мы пошли по домам. Нам, к сожалению, не по пути.

Витька Бианки! Неудержимый правый край нашей дачной команды «Лебедь»! Надо было видеть, как он, высокий красавец, не снимая с головы красной, с черным хвостиком фески, мчится, в два финта обыгрывает кажущегося неуклюжим бека-защитника и хлестко, неотразимо бьет в девятку. Популярность, не только у мальчишек, футболиста Бианки была велика и обоснованна. Он действительно был игрок высочайшего класса. Его петербургским клубом был «Унитас» — это по нашим масштабам вроде «Зенита», но, вероятно, лучше, потому что в те годы Петербург по футболу был самым передовым городом, имея еще такие команды, как «Спорт», «Коломяги», «Нарва», «Тярлевцы». Играл Виталий и в сборных города в матчах с Москвой. В «Унитасе» Бианки играл правого края, в этом же амплуа его ставили в сборную города. Он бил с обеих ног, славился резким рывком и точной прострельной передачей. Великолепно подавал угловые резаным ударом прямо на ворота.

Футбольная команда Лебяжьего была не лиговая, а региональная и существовала только летом, во время студенческих и школьных каникул. Игровая зона команды распространялась на побережье от Старой Красной Горки до Петергофа включая Малую и Большую Ижоры, Ораниенбаум и Мартышкино. Матчи с Кронштадтом считались уже междугородными и назначались редко.

За день-два до очередной встречи, на почте, у крыльца трактира «Бережок» и просто на телеграфных столбах, появлялись афиши о матче с приезжей командой. Готовилось футбольное поле. Ворота были без сеток, боковые линии — мелкие канавки и валики снятого дерна. Раздевалкой для футболистов служила небольшая полянка, очищенная от вереска, среди можжевеловых кустов на краю поля. Туда же приносили ведро с водой, накрытое чистым полотенцем, и несколько стаканов. Умываться после матча игроки бежали прямо на море.

Задолго до начала игры собиралась публика. Старшие пешком, молодежь больше на велосипедах, частенько с барышнями на рамах. Отечественных велосипедов тогда еще не было, если не считать неуклюжей и вечно ломающейся «России». У ребят из более состоятельных семей были английские «Свифты», «Дугласы» и «Энфильды» нескольких моделей. Дешевле стоили финские контрабандные «Фениксы» и «Суоми».

За полчаса до игры вокруг поля плотной стеной стояли зрители. Белые фуражки гимназистов и моряков, красные погоны кадетов, яркие платья женщин придавали этой живой ограде красочный и веселый вид. Молодые люди, прикрывая дам от возможных ударов мяча, выставляли вперед велосипеды. Последним на тощем мерине, запряженном в рессорную двуколку, приезжал урядник. Он привязывал лошадь к кустам, задавал ей сено и, поправив фуражку и шашку, размеренно шествовал вдоль поля за спинами зрителей, вставая на цыпочки и заглядывая через плечи на поле при наиболее оживленных криках толпы.

Виталию 16 лет. (Лебяжье. 1910 г.).

Команда «Лебедя» в матче против деревень Лимузи и Ижора. (Слева — В. Бианки и С. Рахманин, судья — Н. Фрейберг. 1911–1912 гг.).

Свисток! Под жаркие аплодисменты почитателей, в белых рубашках и синих трусах, на поле выбегала любимая команда. Первая команда «Лебедя»! Мы, мальчишки, знали каждого игрока. Вот капитан — ловкий, всегда подчеркнуто корректный Оська Гаген-Торн, крепыши братья Васьковские, стремительный центрофорвард, кумир дачных девушек Гриша Рахманин, непроходимый бек Володька Гюнтер, по прозвищу Буцефалушка, быстрый правый инсайд Юрий Ливеровский и, наконец, «сам» Витька Бианки.

Надо сказать, что эта команда с достоинством продолжала славные традиции старого «Лебедя», в котором играли вратарь сборной России Петр Борейша и бек Туркин. Тот самый Туркин, что, по мальчишеским легендам, прямым ударом мяча в голову на четыре часа нокаутировал поповскую корову, таким же ударом переломил штангу и как-то раз, выдав «дамскую» свечу, так далеко выбил мяч, что его в лесу не нашли.

Свисток! Игра начиналась.

В одной из игр помню такой эпизод. Команде «Лебедь» предстоял ответственный традиционный матч с Большой Ижорой. Противник сильный — в составе несколько петербургских клубных игроков. До встречи три дня. Капитан «Лебедя» решил провести тренировку со своей же второй командой. День был хмурый, слегка дождило. Из второй не явилось несколько игроков, и пополнять спарринг партнера пришлось тут же на поле наиболее шустрым мальчишкам из третьей команды, обычно называемой «загольными беками». Так я стал участником этой игры. Нас, «загольников», распирало от гордости и счастья. Шутка ли — выступать против первой «Лебедя»! Легкой тенью на моем восторженном горизонте было то, что в первой играл мой старший брат.

Игра началась. «Первые» скорее кикали, чем играли, — лениво перепасовывались, делали вид, будто они одни на поле играют в одни ворота. Мы старались невероятно и, конечно, проигрывали. Попробуйте отнять мяч или обойти гиганта, который идет на тебя, словно не замечая, и вежливо приговаривает:

— Осторожно, мальчик, как бы не ушибить!

Брат при встрече выражался проще, цедил сквозь зубы:

— Сгинь, молекула, уничтожу!

Второй тайм мне пришлось играть против Виталия. Сухой, стройный брюнет, похожий на венецианского гондольера, в потемневшей от пота рубашке, он стремительно мчался навстречу, но отбирал мяч мягко и красиво. Один раз мне удалось обвести его и уйти за спину. Как мне теперь кажется, не исключена возможность, что я проскользнул у него между ног. Догоняя, он крикнул мне:

— Молодца!

Я был счастлив.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Большинство из нашей молодой лебяженской компании пошло в вузы, стали инженерами, лесничими, биологами, почвоведами. В Лебяжье даже летом не попадали и друг с другом виделись редко. Так и я с Виталием. Но встречи всегда были очень теплыми, радостными. Делились главным образом охотничьими впечатлениями и планами. Весьма коротко — о самых существенных жизненных изменениях.

Позднее мы узнали — вероятнее всего, от лебяженца же, художника Сергея Рахманина, — что Виталий пишет. Занятие детской литературой нам представлялось делом полупочтенным, однако удобным для охоты. Узнали, что Виталий часто бывает в глухих местах, где каждому из нас хотелось бы побывать. В частности, знали, что он подолгу живет в новгородских лесах. «Толково! — говорили мы с некоторой завистью. — А писательство? Надо же Витьке чем-то жить!» Писателя Бианки в то время никто из нас не знал.

А он, начав писать для детей в 1923 году, выпускал книгу за книгой. Писал о лесе и его обитателях. С первых же книг писатель Бианки завоевал прочную любовь у ребят. Стал одним из основоположников советской детской литературы. Его книги часто издавались и сейчас переиздаются для новых поколений детей, переведены были еще при жизни писателя (он умер в 1959 году) почти на все языки народов СССР и десятки зарубежных. Тиражи давно исчисляются миллионами.

В конце сороковых годов Виталий позвонил мне по телефону:

— Алло! Говорит некто Бианки. Здравствуй! Это ты пишешь в «Вечерку»?

— Я.

— Приезжай, пожалуйста, ко мне в субботу. Нужно поговорить. Адрес тот же.

В то время я публиковал фенологические заметки в газете. Они привлекли внимание Виталия, и он пригласил работать вместе с ним над радиопередачей «Вести из леса».

Начался иной период наших отношений: друг остался другом, но стал еще и учителем в новом — и для меня тогда еще приватном литературном деле. Много лет наша группа писателей (Бианки, Сладков, Шим, Павлова, братья Гарновские и я) составляла эту, бывшую в то время популярной, ежемесячную радиопередачу. Виталий правил коротенькие заметки, что я писал для «Вестей из леса», и разбирал их, как и материалы других авторов, на наших традиционных сборах у него на квартире.

В этот период я перечитал всего Бианки и определил обязательное для него и для всех его учеников правило: занимательно, художественно, но абсолютно точно, правдиво о природе. Помню, как много было дебатов на тему: хорошо ли, когда в рассказах животные разговаривают, не нарушает ли это правдивости? На одной из встреч Виталий передал нам беседу с критиком или редактором, не помню сейчас. Тот был решительно против разговоров животных на человеческом языке и в качестве аргумента привел рассказ Нины Павловой: ведь не разговаривают же у нее звери, а все понятно. Помню, как заразительно смеялся по этому поводу Виталий. В упомянутом рассказе персонажи много разговаривали, но написано было так талантливо, что критик не заметил или позабыл.

— Вот вам и ответ, — сказал Виталий, — неважно, говорят они или не говорят по-человечески, важно, чтобы сделано было хорошо. В этом искусство.

Страшно раздражала Виталия «правдивость» молодых авторов. Начинающий писатель и старый знакомый Бианки Е. Н. Фрейберг при мне читал свое произведение. Произошел примерно такой диалог:

*Бианки (прерывая).*Тут бы, наоборот, пристрелить его…

*Автор.*Но ведь он ушел…

*Бианки.*Ты что, дневник пишешь или рассказ?

*Автор.*Рассказ, но нельзя же уйти от правды.

*Бианки (вскипая).*Какая правда? Нужна художественная правда, она правдивее твоей жизненной. Где тут искусство? Фотография и только.

Мы собирались на квартире у Виталия Валентиновича.

Наконец и я решился написать большой «взрослый» рассказ и прочитать его Виталию. В солнечный день на старой квартире Бианок, в знакомом доме на Васильевском, Виталий, сидя в кресле, пил чай, закусывая любимыми квадратиками шоколада. Я приступил к чтению. Рассказ, как теперь понимаю, был отвратительный: вялый, длиннущий, написанный только потому, что события, о которых шла речь, были мне памятны. После третьей страницы слушатель погрузился в глубокий сон. Сидящей рядом Вере Николаевне было неловко, я не знал, что делать, и храбро добормотал все пятнадцать страниц. Как только я кончил, Виталий проснулся, разжевал дольку шоколада и сказал:

— Вот тебе первое задание. Сосчитай точно, сколько в рассказе слов, и вычеркни ровно треть. И вшей, вшей убери (причастия. — *А. Л.),*немыслимо сколько их. Иначе и слушать не буду.

ПИСЬМА

Письма Виталия… Я их люблю и храню бережно. Яркие, бодрые, умные, слегка иронические, и всегда хоть две-три строчки о природе. Они говорят, и дальше в моем рассказе пусть говорят они.

Когда уезжали из Ленинграда, мы посылали Бианки то, что писали для «Вестей» или журналов. Приходили ответы.

Послал материал для очередного номера. Получаю письмо:

«Обзор и загадка — хороши люди. Оба идут. Рассказ, как бабке помогали, — плохой люди: искусством не пахнет».

Очень мягко, бывало гораздо хуже:

«Твой „Окунеметр“ (конечно, не „Рыбье слово“!), начисто переделанный мною, отложен на сентябрь: не впихнуть было. Да ты и сам виноват:

Говорила тебе я:
„Ты не ешь грибов, Илья“.
Не послушался, накушался,
Так пеняй же на себя!

Сколько раз говорил вам: не вылезайте вы на люди в исподнем! А ты и вовсе без порток вылез. Твое „Рыбье слово“ — никакой не рассказ, а черт его знает что! Начиная с названия.

Название — вывеска рассказа. Читатель должен знать, куда входит. Название — самая косточка рассказа. Тема. Суть. А у тебя что?

И зачем эта баба-вахтер с пистолетом и сотня совершенно лишних подробностей? Усвой раз и навсегда.

В искусстве — как в геометрии: между двумя точками можно провести лишь одну прямую. Это аксиома. Всякие лирические и прочие отступления бывают оправданы только в тех случаях, когда они — притоки реки, текущей от точки А (начало) до точки Б (конец). А у тебя что? Фуй, шанде! Левой ногой пишешь».

Послал Виталию несколько новых рассказов. Среди них один самому нравился — «Наротовские храбрецы». Много с ним возился, долго писал, переделывал; казалось, что получилось хорошо. И вот:

«…Вслед за письмом получил и рукопись.

Хороши „Наротовские храбрецы“. Но ведь это только еще накидыш. Самый правильный взгляд на искусство, сдается мне, у Микеланджело: в любом куске мрамора (жизни!) заключена идея, мысль, сюжет; надо только отбить лишние куски — и она предстанет всем воочию.

От своего куска ты не все лишние куски отбил, — ты не показал душу, томящуюся в нем. „Храбрецы“ твои одновременно и герои и трусы, и это надо подать как на блюдечке с голубой каемкой. Герои — п. ч. идут на страшилище с негодными средствами: трусы… раз бабка не пустила их в избу, велела прежде в байне помыться. Много у тебя лишнего в предисловии („приди словие“!). А „душа“ недостаточно обнажена и показана. Помяни, что это — древние новгородцы (ушкуйники!), ходившие на медведя с рогатиной (дух древних заставил стариков идти на зверя с ружьем, заряженным на рябчиков, а сверху — сечкой), но „устаревшие“: у них нет силы пристукнуть зверюгу топором, приходится утекать от него с позором! и в маленьком рассказе обнаружится такая глубина, — зашатаисся! Из анекдота сразу станет психологическая

новелла с глубоким содержанием».

«…Я вытащил из Дома детской книги свои „Рекомендации“ и даю их в переработанном виде в серьезный журнал „Библиотекарь“. Теперь они у меня называются „Переводчики с бессловесного“. Страничку о тебе хотелось бы иллюстрировать „Наротовскими храбрецами“, превращенными в цветистую новгородскую новеллу. Доделаем?»

Приходили в письмах и советы. Из Ленинграда в деревню:

«Пишу… „Утренние мысли“ (карандаш). Записная книжка писателя. 2½ блокнота. Ежедневные записки с 7 утра солнечного времени. На правой „сторонке“ (странице — по-белорусски) блокнота. И „Мысли слева“ — на левой. Приедешь, — почитаем?

Очень советую и тебе такие записи вести: интересно и полезно! Вот, напр., запиши, как ты Яну анонсу обучал: хохотно же! И как дядя Федя учит рыбу ловить. Готовые же рассказы почти. И как ты надписи писал (после окончания постройки дома. — *А. Л.):*„Здесь добрая собака“, „Без улыбки не входить!“ и на уборной: „Сиди сколько влезет!“ А можно еще: „Закрыто на переучет“. (Чего? — спрашивается)…»

Виталий писал свое по-разному, иногда вяло, понемножку, особенно при обострении болезни, иногда почти «запоем», но планов и тем у него было великое множество, они переполняли его, захлестывали и превышали возможности.

Да, планов было много. В одном из последних писем опять:

«И скоро доберусь до своего „Рассказа о рассказах“ — лирического пособия для начинающих писателей. Во!»

Насколько я знаю, в зрелом возрасте Виталий марки, спичечные этикетки или открытки не собирал, и все же был он заядлым и страстным коллекционером. Он собирал слова — искал их повсюду, и новому незнакомому, но выразительному слову радовался как большой находке. Частенько он, братья Гарновские, Миней Кукс и я беседовали о том, что хранителем настоящих русских слов является наш Север и, в частности, Новгородская область. В наших скитаниях по лесам и озерам среди северных простых людей мы находили такие слова и привозили их Виталию как самые драгоценные трофеи. Он обдумывал их, примерял всячески, перекатывал в мыслях, как старатель перекатывает на ладони найденный самородок.

«Тронут, что ты вспомнил о незначительной моей персоне на своем озере Видимире: „До того ль, голубчик, было!“ Овидь-то, овидь какая! Наверёх ведь выстал.

И до чего ж милы сердцу словеса новгородские!»

«Шли рассказы на апрель. Самый Апрель (водяника) Шим уже прислал; хорош».

«Лешачек!

Которые прочие не шибко хорошо знают русский язык, а, между прочим, других прочих в неправильном употреблении слов на оном укоризненно упрёкивают.

Беспременно купи себе новейший (поскольку Вл. Даля не найдешь) „Толковый словарь русского языка“ первого нынешнего грамотея проф. Д. Н. Ушакова (4 тома) и прочти:

— Мочь, — … не моги, — обл. или простореч. шутл. („— Бессильному не смейся и слабого обидеть не моги!“— дедушка Крылов Иван Андреич).

А вот твоего слова *лахтина*(„тростниковые — или камышовые? — лахтины“) я ни в одном словаре не нашел: ни у Ушакова, ни у Ожегова, ни у Даля…

А мне для „Толкового словаря новгородского наречия“ (собрал больше тысячи слов…) изъясни, что есть

„лахтина“ и на каком это наречии.

Впрочем, я и сам знаю, что это не по-новгородски, а по-чухонски и, судя по нашей Черной Лахте за Лебяжьим, значит залив, бухточка.

Бувайте здоровеньки».

«Спешно требуется от тебя рассказец в две страницы на новгородском языке!»

…Любил Виталий не только настоящие старинные русские слова, но и меткие деревенские выражения, пусть даже с искажением городского языка. Бывало, соберемся вечером у Бианок, просит:

— Расскажи, как у вас там председатель электростанцию строил.

Начну рассказывать:

— А Ванька что? В гору пошел — у него в районе большое протяже. Тут впросте ходил, а там — не подойди!

Смеется Виталий.

— Так-то трудно ехал — вся дорога глобам взялась…

— Стой, — говорит Виталий. — Ноника, принеси-ка Даля, посмотрим, что за глобы.

ПРИВЕТ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Терпеть не мог Виталий Валентинович, «когда врут писатели про живой мир».

В № 10 за 1953 год журнала «Звезда» в «Письме в редакцию» он писал:

«Не раз уж читатели сигнализировали „Литературной газете“, что со всей огромной областью знаний о природе — о живом мире растений и животных, в котором мы живем, — у наших писателей очень неблагополучно… Особенно „не везет“ нашим писателям, когда они, стремясь украсить свои произведения описанием „красот природы“, обнаруживают при этом свое полное ее незнание и непонимание.

Писатели пишут, а критики, еще меньше писателей знающие природу, изо всех сил расхваливают их. И так, сами того не ведая, поощряют уничтожение наших естественных богатств».

Эта позиция была «чувствительной точкой» Виталия Валентиновича. По этому поводу он много выступал в прессе, а когда было некогда или не с руки, писал прямо автору или редакции. Многие знали, что была у него, специально в большом количестве закупленная, пачка конвертов с надписью «Привет из Ленинграда!». В этих конвертах он посылал сердитые письма.

Виталий обратил внимание на статью в «Литературной газете» «Вспотевшие тигры», в которой я высмеивал чепуху, что написана в различных книжках, даже у самых почтенных авторов. Через несколько лет Виталий вместе со мной опубликовал в «Охотничьих просторах» юмористический рассказ «Неизбывные сюжеты» и страничку «Морковка на елке» в журнале «Огонек».

По поручению Виталия я выписывал или вырезал из газет, журналов и книг всякие несообразности и хранил в особой папке. Виталий называл ее «Наш Мюнхгаузен» и либо сам пользовался собранным материалом, либо просил меня написать, снабдив несколькими конвертами «Привет из Ленинграда!».

В письмах Виталий не раз возвращался к этой теме:

«Чем цитировать тебе из разных книг, просто посылаю тебе две из них: мощного С. Г. и прыткого

Ф. П. Читай, наслаждайся и посылай своих потеющих тигров на авторов».

«О Г-ве все же надо бы написать: классический кроссвордик! Пока чаек действительно не перевели в куриные».

«Теперь посылаю тебе свою книжечку. Рассмотри рисунки. И напиши, пожалуйста, возмущенное письмо директору…

Напиши ему, что преступление с первых же книжек (см. название серии!) внушать детям превратные представления о природе, какие подносятся здесь читателям иллюстратором книжки. Напиши, что безобразие внушать ребятам, будто кузнечик — четвероногое животное и что водомерка бегает на ходулях… Укорзни так же директора за то, что поскупились они нарисовать всех животных, о которых идет речь в сказке, — не дали рисунков в тексте ни паука-сенокосца, ни жучка-блошачка (поди догадывайся, что он изображен на обложке!), а майского жука изобразили каким-то лохматым медведем. Директор… неплохой парень, но за такие вещи…»

В одной из газет была красочно, с ручательством за достоверность, описана схватка путевого обходчика с барсуками. Послал вырезку Виталию. Ответ не замедлил:

«Перлов», к сожалению, было более чем достаточно, и они постоянно возмущали и волновали Виталия.

ОХОТА

Не могу рассказать, как смотрел на охоту в юные годы Виталий. Мальчики не склонны к разговорам на отвлеченные темы. Знаю только, что тощий чернявый юноша в смешной жокейской кепке — младший из братьев Бианки, с которыми мы встречались в лесу и на море, — так же был увлечен охотой, как наши отцы и мы сами. А увлечены мы охотой были самозабвенно, до фанатизма, и отдавали ей все свободное и несвободное время.

Некоторая разница между нами и Виталием была. Воспитанный отцом, профессионалом-орнитологом и великим природолюбом, Виталий уже тогда лучше нас знал лес и его обитателей. Разница была еще и в другом. В Лебяжьем, как я уже говорил, была большая охотничья компания. По отношению к добыче дичи все придерживались простых и строгих правил: добывай то, что можно съесть, и столько, сколько можно съесть. Совершенно исключалась, таким образом, стрельба по чайкам, дятлам, сорокам, кукушкам и т. д. — это не дичь, несъедобное. А в семье Ливеровских смотрели на это несколько шире. Моя мать, побывав в Италии и Франции, просила нас с братом стрелять для стола воробьев, овсянок, дроздов, что мы с помощью малопулек монтекристо успешно выполняли. Прекрасное это было блюдо — на пропитанном соком ломтике белой булки ароматная тушка овсянки. Все были довольны, хвалили нас, охотников, но если бы мы застрелили ласточку, зяблика, пеночку или мухоловку, это вызвало бы всеобщее возмущение, отец, узнав, немедленно отобрал бы от нас ружья и строго распек. Отец Виталия стрелял самых разных птиц. Это необходимо для его дела, профессии и никого не шокирует. Как ни жалко, но для того, чтобы описать какую-нибудь птицу, ее надо подержать в руках, измерить, взвесить и для пополнения музея снять шкурку и набить тушку. Ближайшей и чисто практической производной от такой практики было убеждение, что все птицы съедобны, нет среди них носителей «мяса поганого», дичь это или не дичь. Подкреплялось это кредо и нуждой в продуктах питания во время дальних орнитологических экспедиций: весьма полезно было, сняв шкурку, варить или жарить птицу — не бросать же мясо. Отсюда в бианковской семье, как и во многих связанных с зоологией семьях, утвердилась некая лихость в отношении съедобности. Со смехом и смаком рассказывали, что у Бианок варили «суп из мамонтятины» — из мяса доставленного тогда в Петербург мамонта.

Виталий с отцом. (Лебяжье 1906 г.).

Далее эту натуралистическую экспедиционную привычку уже Виталий распространил на оседлую жизнь, когда, живя в тяжелые годы в деревне, бил для еды обычно не принятое: сорок, соек, грачей и не очень считался с разрешенными сроками охоты — например, стрелял зайцев во время летней охоты по перу.

Охота сопровождала Виталия Бианки всю жизнь, он отдавал ей много времени, всегда держал хороших собак и имел доброе охотничье оружие.

Какие у него были ружья? Мне известны: духовое ружье, монтекристо, берданка (не его, одолженное), зауер. В тридцатом году перед поездкой на Ямал он купил у известного охотоведа и охотничьего писателя, своего друга-лебяженца Григория Евгеньевича Рахманина двустволку бельгийской фирмы «Шольберг». Покупал за недостатком денег сложно: одновременно продавал свой зауер другу-художнику Валентину Курдову, который с трудом наскреб денег на свое первое ружье.

С «Шольбергом» Виталий охотился всю остальную жизнь. Был влюблен в эту прекрасного боя двадцатку. Не раз вспоминал ее в дневниках, даже стихи посвящал.

«Мы с Шольбергом по-прежнему всё в лесу да на озерах», — это из письма.

Стихи лирические:

Шольберг, клянемся сурово
Зря не расходовать слов.
Меткое вымолвить слово
Вовремя будь готов.

Стихи иронические:

Строг охотничий обычай:
Бито — взято в торока,
Бито — не взято — никак
Не считается добычей
Дичи.

Какие были собаки? Ранних не помню, но уже в 1940 году, когда Бианки жили в Михееве (Мошенской район Новгородской области), у них было сразу четыре собаки: спаниели Джим (самая любимая в жизни Виталия собака) и его сын Бой, русский выжлец Заливай, ирландец Бой. Заливай был местных кровей, породой не блистал, работал отлично, надежно. С ирландцем Боем дело обстояло хуже. Бианки считался спаниелистом, и это было действительно так: Виталий держал и даже судил спаниелей в качестве эксперта-стажера. В это время М. М. Пришвин решил, что по его годам (ему было тогда 67 лет) и здоровью лучше всего перейти от легавых к спаниелям, и просил Виталия Валентиновича достать ему одного или двух спаниелей. Виталий достал и отправил ему с нарочным кобелька и суку. В ответ на это М. М. Пришвин прислал в подарок ирландского сеттера Боя из питомника Г. К. Дурнева. Собака была очень высоких кровей и великолепного экстерьера, однако, по словам самого Пришвина, «натаскана мной, но еще не совсем готова (горяч)». Виталий Валентинович тоже не справился с неудержимым кобелем и вскоре его отдал. Перед самой войной был взят еще щенок — спаниель Март, трагически погибший в колодце. Весной 1945 года Виталий Валентинович привез из Москвы щенка спаниеля Бэмби, поставил его и несколько лет с ним охотился, в основном на озере Боровне Новгородской области. Это была последняя собака Бианки. Здоровье его становилось все хуже, сдавало сердце, отказывали ноги. Бэмби был оставлен там же на озере знакомому охотнику.

Виталий Валентинович с атрибутами жизни в деревне: собакой, ружьем, биноклем и книгой. (Д. Михеево.1940 г.).

Каким охотником был сам Виталий Бианки?

Больше всего он любил ходовую охоту со спаниелями. Это был его конек, так как стрелял он мастерски, точно и очень быстро навскидку, без поводка. Кроме того, будучи прирожденным натуралистом и весьма наблюдательным человеком, он знал, где и когда можно найти дичь.

Где бы он ни охотился, иногда в самых сложных жизненных условиях, всегда у него с собой были записная книжка и карандаш. А стоило хоть немного обжиться на одном месте, как начиналась уже планомерная работа орнитолога: систематические наблюдения за отлетом и прилетом птиц, их гнездовой жизнью — экология в самом широком смысле; определение размеров, взвешивание, анализ желудков. Таблицы, таблицы. И вот уже появляются «Птицы Мошенского района», «Опознаватель птиц на воле».

Страстный охотник, он все же больше вникал в природу, а не в охоту и этим резко отличался от нас, его друзей-охотников. Лучше нас знал и понимал птиц, но не ждал так страстно, как мы, Натальина дня (пролет дупелей) или высыпки вальдшнепов. Возможно (даже наверно), замечал, что во время его походов со спаниелями в определенный срок чаще встречались на пути вальдшнепы и даже дупели, понимал, что это пролет, но специально ходить за этой дичью, искать места, где они летят гуще, не стал бы.

Азартно охотился в те изобильные годы, но не любил тратить время на обеспечивание себя охотой: натаску легавой, шитье флагов и чучел, содержание подсадной и так далее. Даже специальная экипировка, нередко волнующая городских охотников (особые куртки, сапоги и тому подобное), его практически не

интересовала: просто одевался, по-деревенски.

Если бы Виталий был маммалологом, изучал зверей, то, конечно, завел бы штуцер и стрелял крупных животных. Я не знаю, много ли он охотился на медведей в алтайский период жизни, однако из города он на медвежью охоту выезжал только два раза с неизменным «Шольбергом». Рассказывал, что не советовали ему ехать на берлогу с двадцаткой, предлагали штуцера. Он не взял: «В лесу стреляешь накоротке. Надежнее всего своя привычная двустволка». Я был с ним вполне согласен.

Несмотря на то, что Бианки много и подолгу жил в сельской местности, он был все же охотником городского типа; трудно представить его окладывающим волков или лисиц и, того более, промышляющим пушного зверя с лайкой. Хотя — видимо, в результате сибирских впечатлений — очень тепло отзывался о лайках, возмущался, когда встречал в прежней литературе, что их называют северными дворняжками.

Слышал от людей, что Виталий Бианки под конец жизни сознательно отошел от охоты, стал ее отвергать совершенно. Это не так. Не раз мы разговаривали на эту тему. Он был против браконьеров и охотников-хищников, против истребительных «спортивных» охот, когда удовольствие и удовлетворение выражается числом убитой дичи. Такие охоты он не принимал, таких охотников он презирал, а настоящим охотником считал себя всю жизнь и этим гордился. Развивая эту позицию — увлекался, с моей точки зрения доходил до утверждений парадоксальных, писал: «Вот почему я не держал легавых собак, собак со стойкой: мне казалось нечестным, сковав птицу страхом перед застывшим над ней зубастым зверем, не торопясь подойти к тому месту, где она затаилась, и, приказав собаке поднять ее на крыло, хладнокровно застрелить на взлете. Я предпочитал спаниелей… только разыскивающих своим чутьем птицу и скорее помогающих ей спастись от охотника, чем охотнику — застрелить ее».

Для Виталия Бианки, влюбленного в природу, как и для всех охотников такого склада, философия охоты была трудной, о ней он думал часто и до конца жизни. Писал в дневнике: «Любить и убивать. Таких противоречий полно человеческое сердце… Не мне распутать эту загадку, трагедию древнего Эдипа».

Однако, отказавшись разрешить эту роковую антитезу, он самозабвенно предавался охоте и высоко ценил ее положительные стороны. Писал: «Охотнику много приходится видеть такого, что недоступно простым глазам». Возмущался, когда радио или журналы отвергали охотничьи сюжеты: «Опять от нас вегетарианства требуют, а мальчишкам-то охота куда как завлекательна. Не понимают, что через охоту — в лес, потом глаза разгорятся — любознательность и познание».

Охота платила ему полноценно: в молодые годы помогала собирать научные коллекции, в тяжелые годы кормила. Теперь некоторые люди говорят об этом снисходительно и как бы вскользь, желая оправдать с их точки зрения порочную охотничью страсть писателя. На самом деле многие — и немалые — периоды жизни Виталия охота была основным источником существования. Это относится больше всего к военному времени, когда его писательский труд практически не мог быть реализован, а другой специальности или возможности зарабатывать физическим трудом у него не было. В этом положении бывали и другие русские писатели-природолюбы: М. М. Пришвин, Н. А. Зворыкин, И. С. Соколов-Микитов.

Но главное — охота настойчиво водила его по всем углам и закоулкам Родины, по лесу и по морю, в горах и пустынях, летом и зимой, весной и осенью, в дождь и в вёдро, в морозной тишине и под вой пурги. Охота вела. Оставалось только смотреть, видеть и думать, а это Виталий умел делать так, как немногие.

Нет, не охладел Виталий Бианки к охоте. Не охотился в самые последние годы потому, что был болен и, главное, болели ноги. Тяжело это переживал, жаловался при встречах и в письмах: «Мне бы только научиться маленько бродить, я бы еще показал… вальдшнепам да уткам». В другом письме: «…эх, леший! Неужели я-то так уж больше не смогу побаловаться с ружьишком, хоть с лодочки?!»

Были и проблески: «Здоровьишко мое маленько получше. Весной надеюсь не раз побывать с тобой

на тяге. Кстати, и „Победа“ у меня в распоряжении».

Есть у старых охотников душевное свойство — постоянное желание поделиться охотой с другими. Поделиться с другом — это уже большая радость. Как устроить охоту малоподвижному человеку?

Захотелось угостить Виталия глухариным током, — по его определению, «одним из самых поэтических лесных таинств». Два года я бегал, и не один, а с друзьями, по настам, по голубым мартовским снегам, разыскивая глухариные чертежи вблизи шоссейных дорог. Нашли в Волосовском районе. Небольшой ток, петухов на четыре-пять, но непуганый, а главное — с самой дороги, как показал подслух, хорошо слышны песни. Удивительный ток! Может быть, один такой на всю Ленинградскую область. Вот и свезем туда Виталия.

Надо было видеть его радость:

— У самой дороги?

— На дороге чертежи.

— Окошечко открутим и услышим?

— Услышим и увидим.

— Здорово, босс!

Собирались долго, на неделю отложили. Накануне выезда зашел к Бианки окончательно договориться. В передней встретила Вера Николаевна, жена Виталия, шепчет:

— Не позволяют врачи. Не расстраивайте его, не говорите о поездке.

Целый вечер мы разговаривали на разные темы. Про мошников, про тока — ни я, ни он. Были ли правы врачи? Я? Вера Николаевна?

Виталия нет, а глухари поют. Поют и на «бианковском» току. Наверно, и числом прибавились, ведь никто из нас после на этом току не стрелял. Конечно, поют…

ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА

Глупо было бы написать: «Виталий Бианки любил природу». Никчемно. Но интересно, что само слово «природа» Виталий терпеть не мог, хотя и вынужден был им пользоваться, говорил: «Природа, хм! Неуклюжее какое слово; представляется что-то вроде толстой чугунной бабы».

В письмах Виталия непременно кусочек, пусть две-три строчки, о природе:

«Репино. Меня вишь куда пихнули. Тут, правда, недурно: еловый воздух, смешанный лес, дюны, море, много птиц, белок, черемухи, кислица».

«Ленинград. Вот сейчас еще гляжу из своего окна и просто изумляюсь: тополь ки стоят зеленые! На Марсовом, у Казанского собора *расцветают* розы. Летом совсем засыхавший лес в октябре стоит весь зеленый — всем на удивление. А стрижи ежегодно исчезают у нас в свой календарный срок: 20 августа. Пятый год отмечаю в Комарове: день в день, тютелька в тютельку! Это поразительный фено-феномен! Вношу это в свою „Лесную газету“».

В мозглый осенний день 1950 года я привез Виталию фотографии из Новгородской области, где проводил лето. Виталий морщился, у него болела нога. Мы долго молчали. Наконец он сказал:

— Хороши места, я там близко жил на озере Карабожа, километров сорок, наверно. Не могу без леса, без воды, отсюда выбираться трудно. Что бы поставить где-нибудь избушку на курьих ножках? Как думаешь? Говорят, под Весьегонском хороши места — холмистые, воды — океан, утка, рыба. Съездил бы с

моими ребятами, посмотрел?

Я ответил, что съездить могу, но что для этого дела мне давно приглянулось место в Любытинском районе Новгородской области. На этом разговор окончился.

В июне следующего года пришло письмо из Репина от Виталия: «Я, собственно, вот насчет чего: поедешь ты во Весьегонск или не поедешь? Насчет избушки на курьих ножках? Если всерьез разделяешь мои мысли насчет новой „маленькой родины“ (вроде нашего Лебяжьего), то приезжай ко мне сюда, поговорим подробно и всерьез. Это ведь большое дело».

В Репине мы много разговаривали о новой «журавлиной родине», о солнечном, высоком бугре над озером, где рядом неоглядные мхи; там журавли выводят молодых, по веснам хохочут куропачи и до ближайшего глухариного тока рукой подать.

— Километра полтора-два я могу, — опять сказал Виталий. Живучи в отпуску в деревне, я получил письмо:

«Вернулся в Ленинград с Рижского взморья — и нашел здесь твое письмо. Рад за тебя. Видно, там у вас в Любытинском и впрямь красота. Уж не попроситься ли и мне в те края? Все еще не оставляю надежду избушку на курьих ножках. Только где бы ее поставить?
Приедешь — поговорим, ладно?»

В ответ я послал карту наших новгородских мест и кроки озера Городно, сделанные от руки.

«Комарово. Дорогой Леша. Спасибо за карты. Мы тщательно изучаем их — и так вроде уже путешествуем по замечательному озеру. В. Н. и Талюшка рвутся на разведку. Хорошо бы воспользоваться вам наступающим бабьим летом — и съездить на разведку на Городно.

Вчера катали меня в „Победе“ по Перешейку. Были и на оз. Красавица, и на других озерах, и на Выборгском шоссе. Но самое сильное впечатление произвел на меня один холм, где следы бывшей усадьбы и взорванный дзот. С этого холма в несколько горизонтов открывается огромный кругозор (или по-древнерусски: „видимирь“) чуть не на всю Похьёлу, на ее холмы и леса.

И скажу: не по душе мне эта страна!

Потом долго думал: что мне тут не нравится, чего не хватает?

Наконец понял. В сухопарых здешних лесах нет кудрявых ольх и у озер — ласковой лозы, ракит, ив. Озера здешние — просто дырки в граните, а острова их — камни.

Нет, не по душе мне Похьёла, и не желал бы я такой родины своим внукам. То ли дело милая Новгородчина с ее обильной, а не как здесь будто по карточке отпущенной березой и осиной, с ее зарослями веселых ив („тальника“ — по-сибирски) вокруг мягкобережных озер, с целыми рощами самого, казалось бы, никчемушнего на свете дерева — черной и белой ольхи по болотам! Сколько ласки и радости в том пейзаже, сколько интимной прелести в наших речушках, пробирающихся из смешанного леса, где седовласые дремучие ели создают таинственную глубину, шуршит под ногами опавший лист ольхи, рдеет рябина, трепещет осина, рыжим огнем горят на закате мачтовые сосны по холмам, — в строгий храм соснового бора, оттуда выбегают в луг с живописно разбросанными по нему куртинками остролистых ив, оттуда в белоствольную березовую рощу, а там бегут бесконечными полями ржи, пшеницы — и опять вбегают в разнопородный лес, где, на радость зайчишкам и молодым медведям, прячутся участки овсяных полей…

Нет! Хочу скорей на Городно, где в лесу лешаки, в озере — русалочки, а на прекрасных болотах — смешные разные шишиги и кикиморы. И пусть оно станет настоящей маленькой родиной моим внукам,

какой было для нас когда-то Лебяжье, — и вырастут на берегу его избушки на курьих ножках в усадьбе под названием Внуково, или Дедо-Внуково, чтобы было и мне где сложить свои усталые косточки в мать-сыру землю Новгородскую.

Давай строиться вместе: так удобнее, а понять — мы всегда поймем друг друга, поскольку характеры у нас не вредные, оба мы любим одно и оба из Лебяжьего…»

Разговоры о постройке избушки на курьих ножках продолжались, стали излюбленными, но… здоровье Виталия становилось все хуже. В 1955 году я начал постройку дома в Новгородчине. Купил избу в глухой лесной деревнюшке, чтобы перевезти ее к озеру. Весной, будучи у Бианки, рассказал об этом и предложил купить еще одну пригляженную избу и поставить рядом. Виталий загорелся, хотя и чувствовал себя плохо. Выходя из дома, в прихожей, я спросил Веру Николаевну: «Покупать?» Она молча отрицательно покачала головой и шепнула: «Доктора!»

С тех пор разговоры шли только о моем доме. Строил я его долго и трудно. Наконец, в июле 1957 года написал Виталию, что закрылся крышей. В ответ письмо:

«С избушкой тебя на курьих ножках! Умел бы — позавидовал. За 63 года '(нам одинаково) мы с В. Н. впервые летом в городе. Тоска! Ни пуха тебе ни пера, — а уж если перо, то с чернилами!»

В 1958 году, закончив постройку перегородок и отделку дома, пригласил туда Виталия со всей семьей. Ответ пришел сразу:

Так закончилась мечта о новом Лебяжьем, о второй «журавлиной родине».

«ВЕСТИ ИЗ ЛЕСА»

«Вести из леса» были очень популярны у ребят и, не ошибясь, можно сказать, — у взрослых. Тысячи и тысячи людей улыбаясь подходили к репродукторам, заслышав знакомую, ставшую милой музыкальную заставку этой передачи. Выходила она в эфир долго, запомнило ее не одно поколение. А писем было столько, что вся наша немногочисленная редакция, включая сюда авторов, отвечать на них затруднялась. Полюбили слушатели эту передачу, и большое горе и тревога пришли, когда умер Виталий Валентинович.

Ушла живая душа «Вестей», но стиль передачи хорошо определился, работа была налажена, люди… люди остались, но понемногу стали отдаляться. Администрация радио, слушатели требовали продолжения передачи. Литературным редактором согласился быть Николай Сладков, радиоредакция и артисты остались те же во главе с народной артисткой РСФСР Марией Петровой, — нельзя уже было передавать в эфир: «Редактор Виталий Бианки», но и отделить его от передачи невозможно.

Мы, то есть Николай Иванович Сладков и я, пошли в дирекцию. Нас внимательно выслушали, настойчиво просили продолжать работать, но на главную просьбу ответили отказом. Мы просили назвать передачу именем Виталия Бианки. Директор сказал: «Подумайте, что вы просите! Бианки — белый офицер». Я возразил: «Он — это я хорошо знаю — никогда белым офицером не был». Директор только повторил категорически: «Невозможно».

Передача шла еще довольно долго, но в конце концов прекратилась. Причин можно назвать много, на самом деле была одна — не стало Виталия Бианки.

НА ОЗЕРЕ БОРОВНО

В марте 1977 года мы с Еленой Витальевной побывали на озере Боровно в Погосте, где в послевоенные годы летами жили Бианки. Побывали в том доме, побывали и у оставшихся здесь их друзей,

в семье Шенк-Ивановых.

Конечно, Виталию здесь было хорошо. Не могло быть плохо — из окна видна тростниковая утиная заводь, рядом на бугре церквушка, видимая со всех концов озера, а вокруг приветные места с такими русскими именами: три домика у ручья — Жилинцы, горка над озером — Ветринка, остров — Еловик.

Только надо понимать, что раньше он бродил широко и сам видел поистине удивительное. С годами и по болезни уже становился круг и приходилось все шире дополнять жизнь воображением. Когда стали болеть ноги, он оказался прикованным сначала к лодке, потом к балкону. Мне кажется, именно тогда он утвердился в том, что открыл здесь «Страну Див». Была же она в нем самом, но столь сильно, светло и ярко он ее воспел, что осталась эта страна жить и после смерти поэта. Много лет спустя местная пресса публиковала статьи, к природе совсем не относящиеся, но географически твердо обозначенные — «Страна Див».

[1]

Как всегда грустно бывать «после…», как всегда резко не хватает того, кто ушел. И, как всегда, хочется самому увидеть то, что он видел своими глазами. Очень непросто, ведь это были глаза поэта, но надо, надо…

В солнечный морозный день мы по насту помчались на лыжах, скатились с берега в ослепительный простор озера.

Как бы это ему представилось, что бы сказал? Чаша? Зеркало? Белое поле? Голубоватый глаз земли? Застывшие волны? Нет, нет, нет — всё не то. Боже мой! Ведь это раковина! Огромная белоснежная раковина, и стенки у нее такие же твердые и ребристые, и поют, звенят они под лыжами, как раковина, приложенная к уху.

На середине озера, где частая, жесткая ребристость, лыжи и следа не оставляют — так, легкие черточки; там, где волны пореже, — позади четкая лыжня; у берегового ската оседают с шумом, ломаются большие пласты, поверху гладкие, снизу пушистые, как брюшко ежа. Здесь идти труднее. Скоро от напряжения, от ослепительности снежный сахар становится розовым — я знаю, что нужно поберечь глаза, иначе он может совсем закровенеть.

Иссиня-черная кайма берегового леса — ее освободили от навеси ветер и солнце, — голубея, уходит вдаль.

За мысом встретились два ветра — береговой и плесовый, обнялись, подхватили легкие струйки поземки, закрутили ее в светлый качающийся столб. Поднялся он над лесом до солнца неисчислимыми ледяными искрами.

Холодно! Растут тени, к вечеру подмораживает, унимается ветер. Дома — радость тепла, стихающая боль подмороженных ног, и все та же грусть, даже досада, вот он тут был, был, — и вот его нет с нами.

НА ЭКРАНЕ

Виталий Бианки вошел в литературу уверенно, сразу, заметно и прочно, почти без споров и злобного оппонентства. Прижизненное признание подтвердилось популярностью посмертной.

Как всегда, вокруг имени известного и замечательного начинается суета использования. Чем больше проходит времени, тем выше популярность большого писателя, и множатся поделки, так или иначе связанные с его именем или искусственно прицепленные к нему. Бывают, возможно, и удачные, но чаще, к сожалению, халтурные и недостойные имени. Например, Одесская киностудия приняла к постановке недоброкачественный сценарий О. Осетинского «Сто радостей, или Книга великих открытий». Он был

начисто забракован и опротестован дочерью писателя. Несмотря на это фильм (с небольшими поправками в ходе работы) был сделан. Кино-и телезрители увидели на экранах тенденциозную мешанину из биографии Бианки и инсценировок его произведений. Хорошо, что успеха фильм не имел.

Довелось и мне участвовать и даже пострадать в одном из таких мероприятий. Несколько лет назад (перед девяностолетием Бианки, кажется) благодаря инициативе писателя Николая Сладкова на Ленинградской телестудии по сценарию Н. К. Неуйминой режиссер Ерышев делал фильм о Бианки. Было решено часть натурных съемок провести на озере Боровно у дома Смородкиной, где местные краеведы установили мемориальную доску. Фильм должен был включать рассказы-воспоминания о Бианки двух его учеников-писателей — Николая Сладкова и мои. Удачно сложилось, что оба основных участника жили летом поблизости друг от друга, километрах в ста пятидесяти от Боровна. Прямого пути на общественном транспорте туда нет, и дороги прехудым-худые. Я свез на моем проходимом УАЗ-469 Елену Витальевну и Николая Ивановича через Любытино — Боровичи — Окуловку к месту съемок. Поселились мы в доме Ивановых, киногруппа — в помещении школы, любезно предоставленной ее директором.

Еще до нашего приезда киногруппа занималась натурными съемками начиная с дома, где жил Виталий, и по живописным берегам озера. Потом посадили Николая Ивановича на стул под деревьями, неподалеку от озерного берега, и он перед камерой рассказывал о Виталии, что помнил, что знал, без всякого сценария. Посадили на стул и меня. Я рассказывал о том, что помнил и знал. И, как всегда, в этот период, характерный нападками на охотников, я, с удовольствием и стараясь быть объективным, говорил о значении охоты в жизни Виталия. О том, как привела она его в лес, научила любить и в конце концов сделала писателем-натуралистом. При этом я, конечно, опровергал критиков и литературоведов, старавшихся скрыть, пригасить эту сторону его жизни, а то и солгать, что он под конец жизни был противником охоты…

Во время просмотра фильма в Доме кино я был приятно поражен великолепными натурными съемками лебедей над Финским заливом и возмущен тем, как сделан фильм. С моей точки зрения, грубейшими ошибками были: отсутствие детей на экране (ведь для них писал Бианки, им же адресован фильм), его затянутость; постоянный показ крупным планом лица Николая Ивановича (у ребят, конечно, остается впечатление, что это и есть Бианки), несоответствие показа животных и их голосов (это в бианковском-то фильме!); и, наконец, я был крайне недоволен, что полностью исключили мое выступление и тем самым опять исказили образ писателя.

После просмотра, перед обсуждением, ко мне подошел режиссер фильма Ерышев, спросил мое мнение. Я в двух словах сказал. Ерышев зашептал мне на ухо, что он согласен, что все сам знает, понимает, что мое мнение для него весьма ценно; а дальше — просительно: «Бога ради, не выступайте. Ведь это формальная сдача работы, как бы предварительная. Если вы выступите — катастрофа: с людьми не рассчитаться. Я обещаю, даю слово все учесть и восстановить, в первую очередь ваш рассказ».

Я не выступил. Ерышева больше в глаза не видел. Фильм пошел, каким был показан на просмотре, демонстрировался несколько раз по телевидению.

ОХОТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Мы вышли из дома в час, когда солнце заметно спустилось с полуденной высоты. В это время тетерева начинают выбираться из гущарок на чистое, и собаке легче взять след.

Сошли с крыльца, по-деревенски крутого, узкоступенчатого, и, придерживая ружья, чтобы не стукнуть прикладами о калитку, вышли на улицу. Улица зеленая, покрытая неистребимой гусиной травкой. За околицей у гравийного карьера свернули с каменной дороги на логовую, малоезженную, и пошли к

Черному болоту…

Я один. В эти места попал после смерти Виталия и только воображаю, что в погожий августовский день мы с ним вместе идем на охоту в час, когда тетерева выходят из гущарок на чистое.

С женой и сыном Виталием в Михееве. (1938 г.).

Приехал накануне, ночевал в избе, где несколько лет жили Бианки. Хозяин дома рассказывал про их житье-бытье в Михееве. Рассказывал так любовно и подробно, будто вчера было. Сказал еще, что в эту пору Виталий Валентинович ходил на охоту каждый день и с пустыми руками не возвращался. Посоветовал и мне взять вечернее поле, благо ружье и собака со мной. Он направит меня куда надо — хорошо помнит, где охотился Виталий Валентинович.

И верно, после логовой дороги я знал куда идти, стоял на тропе Виталия и был охотником той же веры, привычек и толка.

За небольшим ольховым перелеском открылись светлые полянки, разделенные узкими лядинками молодых березняков.

Остановился у придорожного камня, чтобы ружье зарядить и оглядеться. Глянул — и заволновался. Хороши места! Самые подходящие для выводков: полуоткрытые, много некоей и в ней иван-да-марья — тетеревиная травка, укромные уголки на меленьких нечищенных вырубках, буйно поросших кипреем.

Конечно, и Виталий здесь стоял, любовался, ружье заряжал.

Повела тропа на далекий бугор, через кошеные пожни, через ручьевины, где под ногой хлюпает вода, а самого ручья нет — так он зарос осокой и таволгой. На опушке леса геодезическая вышка. Понятно, узнаю, — писал Виталий:

«У вышки передо мной, с болотца, шагах в полуторастах вылетели два косача, полетели к вышке, но

раздумали, повернули назад — против ветра. Как раз светило предзакатное солнце, ближний ко мне косач был так волшебно освещен, летел так тихо, что я замечтался и забыл по нему выстрелить».

Черный ельник и начало просеки. В прохладной тени приятно снять шапку, освежить влажный лоб. Вдоль просеки тропа, устланная палой хвоей. Под откосом омежка — зеленый мох и папоротник. Тут удобно, и нужно посидеть на толстой ветровальной ели, посвистеть, подманить рябчика. У Виталия на шейном шнурке висели два пищика: костяной — с тонким и верным голосом и жестяной — у этого свист сильнее и резче, нужный, когда ветер и шумно в лесу. А сейчас тихо в глухом бору. Ни одного птичьего голоса. Не та пора — отпелись. Только в макушке ели шебаршит и скупо попискивает пищуха.

Вышла просека на лесной покос. Тут недавно были люди. Односкатный навес из березовых веток, темное пятно кострища, рогульки, яичная скорлупа, обрывок газеты и ломаное грабловище. Не так давно были люди, но пожухла листва на крыше шалаша и прямо перед ним выросли подосиновики — искать их не надо: красноголовые столбики высятся на выкошенной, как бритой, поляне. Каждый год здесь косят, и, если Виталий заставал косарей, — конечно, его окликали: «Посиди, покури, вспыхни, Виталий Валентинович». Он не отказывал. Присаживался, слушал, улыбался. Улыбался потому, что любил слушать деревенскую речь. Про себя раздумывал:

«Почему костер по-новгородски „груда“? И как получилось, что обычный шалаш здесь называют „беседкой“? И вот грабловище лежит — отломанная рукоятка грабель. Почему же у вил рукоятка „ратовище“? Не потому ли, что иной раз приходилось русскому человеку на вилы и врагов принимать?»

Ведь писал мне Виталий: «И до чего же милы сердцу словеса новгородские!»

Ведет и ведет тропа, по которой он ходил… От тропы отверток — чуть заметная в высокой траве стежка. Идет под угор в овраг. Там жердяная оградка с калиткой. В ограде ключ, чистый — прозрачнее стекла. Кадка без донышка, под водой кипят, подпрыгивают светлые песчинки и рядом недвижно и плоско лежат медные монеты. Вокруг ключа деревянные кресты. Старые покосились и в землю вросли. Крест поновее — окрашен и прикрыт домотканым расшитым полотенцем.

Бывал здесь Виталий. Рассказывают, что потайное это место называется Вороний ключ. Прохожие, кто знает, заходят и по обычаю бросают в кадочку мелкую монету. А кресты? Кресты ставили при начале важного дела или, чаще бывало, при большой беде. Раз в год в летнюю пору, никому не сказавши, неизвестно откуда приходят на ключ две пожилые монашенки. По-девичьи стыдливо озираясь, снимают черные кофты, чтобы не замочить рукава. Выбирают из кадочки все монеты дочиста и пропадают на год.

За оврагом — прозрачный белоногий березняк. Тропа запетляла в сыром кочкарнике, пахнущем мятой и земляной сыростью, выбралась в поле и круто пошла в гору. На вершине холма несколько вековых крученых сосен, замшелые камни и солнцем припеченная красная земляника. Что это, «Земляничная горка»? А может быть, «Костяничная», где пестовала выводок куропатка «Оранжевое горлышко»? Похоже, похоже. Узнаю.

И какая же даль открылась с этого холма! Далеко внизу, среди прибрежных кущ, ярко-голубая полоска озера Карабожи. Налево, и тоже далеко внизу, открытая разбежистая долина. Направо — лесистые возвышенности: ближние — темно-зеленые, дальние — в синеватой дымке. Среди лесов деревеньки: иная вся на виду, как серый муравейник, от другой только полската крыши видно или луковичный бескрестный куполок церкви. Как угадать, что за деревня? Яковищи? Кочерово? Щитово? А он-то знал, своими ногами не раз через те деревни хаживал.

Подумать только, сколько раз Виталий стоял на этом бугре и любовал приветность и неяркую красоту Новгородчины. Любовал глазом неравнодушным и знающим. Различал на холмистых убранных нивах золотые полосы аржанищ, красные из-под гречихи, зеленую клеверную отаву, бурую паренину,

неожиданную яркость озимых.

Солнце в лесу. Тропа завернула один раз чуть заметно, в другой — круто и привела к небольшому озеру. Узнал сразу. Оно безымянное, но для себя Виталий назвал его Полуденным, от деревни оно на юг. По вечерам он ходил сюда на утиную стойку. Где караулил? Есть ли скрадок-шалашик? Должен быть. Не видно. У самого уреза гладкой к вечеру воды стоит куст ивня ка.Надо посмотреть. Перебрался через изгородь-поскотину, прошагал по зыбкому моховому лужку до самого куста. Так и есть! В середине куста жесткое сплетение корней — можно сидеть спокойно и потаенно. Значит, здесь… вот и сучки, срезанные острым ножом, чтобы не мешали смотреть в сторону воды.

Озеро спит, не шел *о*хнутся прибрежные кусты. Деревня близко. Слышен лай собак и голоса женщин, встречающих стадо. Наверно, и Виталий слышал по вечерам из этого скрадка голоса и старался различить среди них знакомые— жены, дочки, сына.

Я снимаю с плеча ружье и стреляю в пасмурное закатное небо. Хлесткий удар разом возвращается от противоположного берега и уходит, повторя я сь,затихая вдали. Резко плеснув на подъеме, из зарослей кувшинок взлетает испуганная утка. Виталий не любил зряшной стрельбы, мне простительно — это салют, печальный одинокий салют.

От озера к деревне тропка идет через выгон, потный огороженный луг. Чтобы легче было перебраться через изгородь, когда-то давным-давно прикатили сюда большой розоватый камень. Поставишь на него одну ногу — другая сразу же на той стороне, только спрыгнуть. И мне странно и душевно больно наступить на середку камня, точно на то место, где столько раз ступал Виталий.

Его нет, а я вот хожу еще…

На дорожке встреча — женщина с корзинкой. И сразу:

— Здравствуйте! Ой! У Виталия Валентиновича точь такая собака была, только ножки покороче. Вы не от игнотов идете?

— Нет, где они?

— Тут рядом, на ручье. Недавно пришли. И что у них наделано! Плотина высокая, долгая. Овраг залился. Большой плес — и хатка деревянная. Там и живут. Целое семейство.

К дому близко. Видно уже крыльцо, на котором любил сидеть Виталий в вечернюю пору. Смотрел, как уходит за лес солнце и на лугу поднимается легкий туман — «зайцы блины пекут».

Как бы радовался Виталий приходу бобров — добрых, сказочно умных, чудесных зверей. Вы опоздали, бобры, в Михеево. И я тоже.

БРАТ ЮРИЙ

Юрке везло — так мне казалось в детстве. Судите сами: он был старше меня на пять лет, значительно выше ростом, и все интересное он начинал первым, а мне оставалось только подражать ему и изо всех сил доказывать, что я тоже могу не хуже, — за что и поколачивал он меня изрядно.

Мы жили на Одиннадцатой линии Васильевского острова, учились на Четырнадцатой — в гимназии Мая. Готовили уроки, бегали на каток. Юрий рано стал заниматься легкой атлетикой, я с семи лет регулярно плавал в бассейне Морского корпуса. Свободного времени было мало.

Летом — мы каждый год на даче в Лебяжьем. Отец, морской врач, уходил в плавание, мать часто уезжала за границу. Мы, дети (Юрий, Маруся и я), жили под надзором добрейшей Екатерины Ивановны, бабушки с материнской стороны. С нами была и кухарка Кира, которая так долго жила в семье, что стала своим человеком. Она строго командовала всеми: и нами, и бабушкой, и мамой, когда та приезжала. Исключением был отец.

Лебяжье, это удивительное сочетание леса и моря, — романтический фон нашего с Юрием детства. Там на свободе начинались наши увлечения. Первым была охота — страсть, которую мы с братом сохранили на всю жизнь.

Началась наша охота, как и у большинства мальчишек, со стрельбы из рогаток и луков. Потом отец прислал нам из плавания гладкоствольное малокалиберное ружьецо монтекристо и много патронов. Юра и я без конца снимали со стенки дорогой подарок, целились, нюхали приклад — на всю жизнь запомнился этот волнующий запах, — перебирали осаленные патрончики. Стреляли мы непрерывно, тратили уйму патронов. Научились пользоваться пулевым оружием на всю жизнь. Добыть воробья даже с конька Большого дома, а он был двухэтажным, нам ничего не стоило. Новую вспышку увлечения стрельбой вызвала вторая посылка отца. Он прислал из Финляндии специальные патроны — в них вместо привычной нам пульки в бумажных гильзах была мельчайшая дробь, совсем как у «взрослых» ружей. Охотились мы на воробьев на ходу и из засады: накрошим булку на дощатую крышу помойки, спрячемся в стоящий рядом решетчатый дровяной сарай и с трепетом ожидаем. Легкий шум крыльев — и вот он, огромный, с черным пятном на шее самец-воробей. Сел на приваду, осторожно оглядывается. Выстрел — победа! Охотились мы на воробьев и овсянок, Кира их жарила. Такую моду привезла мать из Италии.

Это было начало.

Потом завелось настоящее ружье. Отец подарил нам двустволку «Бельмонт» с дамасковыми стволами. Правда, это была одноствольная двустволка или двуствольная одностволка — как угодно. Дело в

том, что отец, подскакивая к глухарю, черпнул в стволы снег. Выстрел, как он рассказывал, получился какой-то странный, и что-то отлетело в сторону: оказалось, это кусочек ствола, вершка в три. Тогда ружье поступило в наше распоряжение — вернее, в распоряжение Юрия. Он ходил с ним в лес, бродил по камышам за утками. Я шел позади, полз, затаивался, иногда умоляя: «Подожди меня! Мне здесь уже совсем глубоко!» — и терпеливо ожидал, когда Юра передаст мне ружье и я стрельну.

Другим увлечением был футбол. Небольшое футбольное поле совсем рядом с домом: из окошка слышались крики игроков и волнующий двухтонный звук судейского свистка. Юрка тогда уже был неплохим спортсменом. Отец, который вместе с доктором Крестовским и Дюпероном был организатором ОСФРУМа (Общества содействия физическому развитию учащейся молодежи), определил Юру в легкую атлетику, и брат весьма преуспел в беге и прыжках в высоту. В Лебяжьем его взяли в местную команду «Лебедь», где были и лиговые игроки: Туркин, Бианки и другие. В городе Юра играл за «Тярлево». Я тоже мечтал о футбольных успехах, но поначалу мне доверяли только подавать мячи, укатившиеся за ворота, быть «загольным беком». Позже, правда, брали играть во вторую команду, но я тогда уже увлекся другим делом — стал ходить в море за рыбой с настоящим рыбаком, по прозвищу Рыбаленция. (Об этом я рассказал в детской книжке «Тихий берег Лебяжьего».)

А еще мы любили стихи. Началось это, когда Юрию было лет шестнадцать, столько же и Мишке Надёжину, его близкому другу. Миша со школьных лет увлекался историей и литературой. Он принес нам «Александрийские песни» М. Кузмина. Потом любимыми стали Бальмонт, Блок, Ахматова, Шершеневич… Юрка и Миша наперебой декламировали полюбившиеся стихи везде, где бы мы ни находились: на песке у моря, в лесу, на сеновале. Я хоть и не вошел еще в их возраст, но увлечение стихами разделял. До сих пор странная моя память вдруг выдает строфы и целые стихотворения, запомнившиеся еще тогда со слуха.

Юра и сам пытался писать стихи. А началось это так.

Однажды к крыльцу нашего дома в Лебяжьем из Ораниенбаума подкатила извозчичья пролетка, в ней Юрий в форме прапорщика, скрипит новыми ремнями, блестит погонами. Рядом с ним наша троюродная сестра Наташа Вейтбрехт, начинающая актриса. Она была на редкость красива, ее фотографии были выставлены на Невском сразу в трех ателье, а Наппельбаум дал ее портрет в своем фотоальбоме с подписью «Красавица». Юра приехал в отпуск на две недели после окончания Михайловского артиллерийского училища, а затем должен был ехать на фронт. Как я ни звал Юрия на футбол и на теннис, он не соглашался. Было ему решительно наплевать на меня и на Мишку тоже. День и ночь бродил с Наташей то в лесу, то в поле, чаще всего уходили в море на парусной шлюпке. С Юрой мы почти не виделись, только как-то вечером, когда Наташа на несколько дней уехала в город, Юрий сказал: «Послушай, что я написал», — и прочел мне стихи, которые показались мне тогда верхом совершенства. Эту пробу пера привожу по памяти.

Все бы пел да и пел безнадежность,
И на сердце боль и покой.
У меня есть к тебе только нежность,
Как красивый цветок полевой.

Узкий парус, как вестник разлуки,
Распустился упругим крылом,
Я смотрю на любимые руки,
На волны прихотливый излом.

Твои губы, твои поцелуи
Я не знаю и буду ли знать.
Эти длинные пенятся струи,

Беспокоится водная гладь.

Белогривые волны — выше!
Черный полог несет гроза.
Только голос твой милый слышу,
Смотрюсь в твои глаза.

О судьба моя, о безнадежность!
Мне раннюю смерть готовь,
Ведь такая глубокая нежность
Называется просто: любовь.

Обстоятельства были печальными — брат уезжал на фронт.

Мы встретились с ним не скоро — в Самаре. Туда был эвакуирован из Петрограда университет. Мать была доцентом романо-германского отделения, мы с сестрой поехали с ней. Отец и Юрий появились в Самаре, когда Красная Армия выгнала белочехов. Брат стал преподавателем во Всеобуче, я служил электромонтером на трамвайной подстанции, дежурил по суткам на умформере. Оба увлекались спортом. Юра тренировался сам по легкой атлетике, а я, окончив еще в бассейне Морского корпуса школу плавания, бесконечно болтался в воде. Состоялась Первая Поволжская олимпиада. Юрий занял первое место в беге на 1500 метров, я был первым в заплыве через Волгу. Кстати, для меня это было очень просто и потому как-то нечестно. Здоровые ребята-волгари после старта мощно проплывали сотню-полторы метров саженками, высовываясь по пояс из воды и даже картинно прихлопывая ладошками, и быстро уставали. Я спокойно проплыл от берега до берега классическим в те годы брассом — горизонтальные кисти и резкий кивок головой под воду. За мной на финиш добрались из числа стартовавших чуть больше половины. Остальных на порядочной волне забрали лодки.

Мы с Юрой подошли для награждения к трибуне, где, помимо главного начальства, стояли отец и профессор Гориневский. Он сказал так, что нам было слышно: «Алексей Васильевич! Я бы хотел иметь двух сыновей-чемпионов». Медаль из чистого серебра, выполненная в виде щита с надписью «I место — 25 мин. 30 сек.», много лет хранилась у меня в столе. Гордился ею — мальчишка, конечно.

Снова начались наши охоты. Бельмонт — двуствольная одностволка — остался где-то в Петрограде, со мной была легонькая двустволочка 24-го калибра фирмы «Лепаж», подаренная отцом. Била она отвратительно, к тому же я расшатал ее стрельбой сильными патронами бездымного пороха. С этим ружьишком надо было обращаться осторожно: стоило только резко опереть его на землю или нажать с тыльной стороны курка, если курки были подняты, как раздавался выстрел. Этот постоянный риск не мешал нам с Юрием охотиться на Самарских степных озерах, опять-таки вброд, самотопом. Опять, как при первых охотах, на двоих одно ружье. Только теперь я не плелся в надежде сзади, а после каждого выстрела ружье передавалось в руки другому.

Не очень это были интересные охоты: уток было мало, чаще попадались лысухи, к тому же, если дичь взята поутру, то донести ее по августовской жаре до дома было почти невозможно. В городе мы бывали часто голодны, а в деревне на бахчах за убитого ястреба нам давали сколько угодно местных мелких, но очень сладких арбузов и дынь.

Интереснее были охоты по пороше. Мы искали зайцев — крупных, иногда черноспинных русаков по пригородным садам или тропили их на ближайших к городу островах: Коровьем, Узком и других. Там уже были впервые встреченные нами тумаки — помесь беляка с русаком, тоже большие. Наша добыча служила хорошим подспорьем для стола в то уже безмагазинное время.

Через год мы вернулись в Петроград. Я поступил слесарем на торфоразработку, Юрий продолжил учение.

Забавно вспомнить, как Юрий поступал в институт. Он очень любил зверей и решил поступить в сельскохозяйственный институт на животноводческий факультет. И вдруг, вернувшись, говорит, что записался на сельскохозяйственный. Оказалось, что девушка, которая записывала на животноводство, куда-то вышла. Юрий подождал-подождал и записался у другой девушки. Утверждал, что из-за того, что торопился на охоту. Впрочем, могло быть и так, что растениеводческая девушка была красивей. Отец сказал: «Ты, Юра, будешь большим ученым. Не забудь рассказать в своей автобиографии, как ты выбирал специальность». В известной биографии профессора МГУ, дважды доктора, заслуженного деятеля науки, автора многих книг по специальности, разбросанных по журналам стихов и поэтического сборника этот момент почему-то не нашел отражения. А любви к животным, особенно собакам, Юрий остался верен. И был не просто собаководом-любителем, а судьей-кинологом. Участвовал в выведении породы ирландских сеттеров. Написал книгу «Лайка и охота с ней».

На охоту из Петрограда ездили по старой привычке в Лебяжье. Приезжали на дачу, построенную отцом, оттуда отправлялись дальше. Ходоки мы были сильные, пробежать два десятка километров — дело привычное. Заветным местом было Лубанское озеро, лежащее за рекой Коваш среди обширного болота. Лубаново на этот раз нас обмануло. Надеялись на утиный пролет. И действительно, утка была, но добраться до нее с берега без лодки невозможно. Мы обошли все озеро и отправились в обратный путь. Внезапно оказались свидетелями зрелища необычайного: огромная стая тетеревов — штук сто, не меньше, гремя крыльями, опустилась неподалеку от нас на открытом болоте. Многие косачи сразу же расфуфырились и запели. На красно-желтом в эту пору мху особенно контрастно вырисовывались иссиня-черные птицы, мелькали белые подхвостья. Наши собачки воззрились, ринулись и моментально согнали птиц.

Чуть подальше мы заметили нечто странное: посреди открытого болота стоял легковой автомобиль. В те годы их было вообще мало, а этот — среди болота. Через минуту мы сообразили, что машина стоит на шоссе: болото пересекала так называемая Елисеевская дорога, насыпанная по мху для владельца известных магазинов от деревни Усть-Рудица до охотничьего домика на Лубанском озере.

В Лебяжьем у дома отца перед выходом на Лубановское озеро. (Осень 1926 г.).

Двое у машины махали нам руками. Мы подошли. Заднее колесо легковушки глубоко осело в лужу. В одном из путников мы узнали Сергея Мироновича Кирова — фотографии его видели в газетах. Он поздоровался, улыбнулся приветливо и огорченно показал рукой на колесо. Не сговариваясь, мы втроем уперлись в заднюю стенку кузова, шофер сел за руль, дал газ, и машина, как пробка, вылетела на сухое, обдав нас всех брызгами болотной жижи. Смеясь, мы утирали лица. Киров спросил: «Вас подвезти? Какие красавцы!» — последние слова относились к нашим собакам. Мы отказались: не хотелось еще кончать охоту — и пошли через болото в сторону Шишкина.

Образовалась компания из таких же, как мы, фанатиков охоты, — это были студенты первых и старших курсов, молодые инженеры. В те годы охотиться можно было где угодно, никаких ограничений, приписных и закрытых хозяйств не было. Выбрав по карте подходящее место, выезжали из города, прихватив к выходному дню денек, два, а уж на Майские праздники или Октябрьские уезжали и на недельку, а то и больше.

Юрий начал ездить по экспедициям и после первой же купил давно облюбованную бескурковку

системы Ивашенцева, тяжелую, но с прекрасным боем. Я продолжал охотиться с одноствольным «Бельмонтом», а затем продал добытых белок и купил красивую, тоже хорошо бьющую бескурковку «Веблей и Скотт». В эти же годы мы оба увлекались пулевой стрельбой из малокалиберной винтовки — Юрий у себя в Академии наук, я в Лесном институте, — а затем много стреляли на стенде.

Окончив аспирантуру, Юрий продолжал ездить в экспедиции. Где он только не был: Кавказ, Дальний Восток, Печора, Урал, даже Китай, конечно Байкал. Он любил кочевую жизнь и новые места, и если наш друг Женя Фрейберг предпочитал Север, то Юрий по характеру своему любил все: просторы пустынь, снежность гор, прозрачность таежных рек — все ему любо, и обо всем он писал не только научные отчеты, но и стихи.

Крутыми кругами уходит орел в облака,
Он видит в ущельях ручьев переливчатый бег.
И в синее-синее озеро Сары-Челек
Широким разливом спокойно втекает река.
Огромные скалы поднялись отвесной стеной,
Колючие ели взбегают на горные кручи,
Взойди на джейляу и насладись тишиной,
Полуденным ветром, несущим прозрачные тучи.
До старой кибитки по снежным мостам поднимись,
Где блещут боками в лугах кобылицы,
И в чаше большой
родниковой прохлады кумыс
Кызынка тебе поднесет, опуская ресницы.
На горы взгляни, на нетающий дымчатый снег.
И беркутов клекот свободный послушай —
И синее-синее озеро Сары-Челек
Покоем и счастьем вольется в тревожную душу.

Юрий был классным охотником, я сначала шел за ним. Потом я настолько увлекся охотой, что она стала моим наваждением, и уже не я сопровождал Юрия, а он участвовал в охотах, которые я организовывал, учился у меня. Переехав в Москву, он там никогда не охотился — только в экспедициях. Приезжал в Ленинград специально, чтобы поохотиться со мною и моими друзьями.

Брат был прекрасным, но несколько необычным компаньоном. Он никогда не вступал в споры, куда идти, как вести охоту. Похоже, что это для него не имело значения. Всегда веселый, ровно настроенный, Юрка шел и о чем-нибудь оживленно рассказывал, шел напрямик, не выбирая дороги, через кусты и поваленные деревья. Он будто не замечал дождя, снега — поднять воротник ему не приходило в голову. Мог отдать кому-то нести свой рюкзак, не спросив, не тяжело ли; мог и взвалить на себя тяжелый и, не жалуясь, нести всю дорогу. Для него как бы не существовало внешних обстоятельств. У костра он всегда был в центре разговора, наслаждался общением с друзьями, читал стихи, такие нам всем понятные, близкие. Как они душевно звучали у глухариного костра!

Будет поезд рельсы пересчитывать,
Загремит металлом на мостах —
Мы весну поедем перечитывать
В хвойные озерные места.

Где поля недавно сбросили
Все, что наметелила пурга,
Но лежат горбом на просеках
Голубые, влажные снега.

Мы пройдем лесами неодетыми
В черный остров, как в знакомый дом,
Глухариными рассветами
Надышаться холодком.

Посмотреть, как утром лужицы
Покрывает ломким льдом
И в ручей глядит калужница
На лягушечий содом…

Весна! Весна! (Братья Ливеровские у реки Керести. 1965 г.).

Иногда мне казалось, что компания для него — главное на охоте. Но нет! Даже разговаривая, он был «включен» в охоту, чувствовал приближение птицы или зверя и невероятно быстро успевал выстрелить. Конечно, он знал и любил многие виды охоты.

Все, кто знал Юру, говорят прежде всего о его легком, общительном, прямо-таки солнечном

характере. Со стороны жизнь его представлялась безоблачной. А между тем в ней бывали весьма суровые моменты.

В Ленинграде Юра с женой жил отдельно. Вскоре после убийства Кирова Юрий прибежал к отцу и сказал, что его вызывали в «Большой дом» и предложили немедленно выехать в ссылку в Иргиз. На вопрос: «За что?» — уполномоченный ответил: «Вы сын царского министра». Юрий пытался объяснить, что на самом деле все не так: он племянник, а не сын Александра Васильевича Ливеровского, что брат отца действительно был министром, но не при царе, а во Временном правительстве Керенского, и хоть он и был арестован при взятии Зимнего и чуть не расстрелян, но вскоре освобожден, заслужил доверие и давно работает в ЛИИЖТе, декан факультета, заведует кафедрой. Юра предложил уполномоченному самому проверить, дал телефон дяди Саши. Возражения не помогли: 24 часа на сборы — и всё.

Отец посоветовал: «Не возвращайся домой. Вот деньги, поезжай в Москву к Куйбышеву». Отец знал Куйбышева по Самаре, когда заведовал там губернским отделом здравоохранения. Юрий поехал, пробился на прием. Куйбышев встретил доброжелательно, переспросил: «Сын Алексея Васильевича?» Выслушал, сказал: «Возвращайтесь в Ленинград и не беспокойтесь. Передайте отцу привет». В Ленинграде курьер принес Юрию бумагу, отменяющую высылку. Так счастливо окончился эпизод, который мог стать трагедией. Для меня, впрочем, он имел последствия весьма болезненные.

Я с семи лет вел дневники. Помню первую запись: «Мы сидим на бревнах, скоро придут коровы, если первая красная — завтра будет хорошая погода». Писал дневник довольно регулярно, часто вклеивал фотографии; конечно, там были и люди в погонах: отец и дяди, артиллерист и путеец. В 1934 году у меня было 39 тетрадок и мечта — стать писателем. Эти дневники Юрий в мое отсутствие (я работал тогда в Ижевске) с криком: «Погоны, погоны!» — сжег. Я до сих пор сожалею о гибели этих тетрадей, в них было столько ценнейших теперь записей.

Большим и постоянным увлечением, любовью Юрия были собаки. Англичанка Диана, ирландец Топка, пойнтер Дик, полностью испорченный нами, — это еще собаки отца. Первой и незабываемой собственной собакой Юрия стал Хессу — лайка, привезенная им с Кольского полуострова. Хессу регулярно занимал первые места на выставках. Профиль этой собаки послужил моделью для круглой печати Общества кровного собаководства. И по работе это была отличная собака — правда, ярко выраженная «мелочница»: белка, глухарь, куница, норка. Медведя боялась панически. Мне Юрий привез с Печоры большого, казавшегося угрюмым Ошкуя, черно-белую лайку. С этими двумя собаками мы долго ходили на охоту. Позже Юрий завел гончую, русскую пегую Онегу, потом Ирику, ирландку. Впрочем, перечислить всех собак, которых он сам держал или к которым имел отношение, держа в компании, просто невозможно.

Мне особо запомнилась гончая собака породы арлекин, по кличке Попка. Юрий купил этого выжлеца, и он жил у нашей компании до глубокой старости, мы были обоюдно трогательно привязаны. Под конец жизни Попка совсем натрудил ноги, но чутье и страсть у него остались — и мастерство, конечно. Подымет он зайца — мы уже знаем — никогда не бросит, надо только помогать. Стоим на лазах, нажидаем косого, слушаем. Попка голоса не жалел: ровно бухал, иногда даже лил свой теноровый породный голос. Но если он примолк или завыл — кто поближе спешит к нему. Попка стоит перед преградой: большой лужей или изгородью. Надо его взять на руки, перенести, и вот — «ау-ау-ау!..» — опять пошел мерный гон, и обязательно через некоторое время будет выстрел и крик: «Доше-е-ел!» Сбоев у Попки не было. Мы все уважали его.

Надо сказать, что по своему характеру, доброму и не настойчивому, Юрий довольно часто «распускал» собак. Иногда они поступали ко мне на «исправление». Видимо, Юрий надеялся, что я помогу и с сеттером-гордоном Ренатой. «Радость моя последняя» — называл он ее в одном из писем. «На полевых испытаниях имеет дипломы, экстерьер отличный, но никто не может дать ей настоящего моциона, и нет у

Ренатки настоящего охотничьего досуга». Ренату я не взял — сам тогда держал двух собак. Рената пережила своего хозяина.

И все же молодое пристрастие к лайкам Юрий сохранил до конца своих дней. В нашей компании есть лаечник, дельный охотник, мой зять Аркадий Воинов. Юрий любил его подробные рассказы об охоте с Урчей, входил в детали, советовал… а умирая, завещал ему свое ружье — «Голанд-Голанд», верного спутника охотничьей жизни.

Есть и стихи, посвященные лайке:

Кружит резкий ветер
Желтых листьев стайку,
На озерных плесах
Шорохи дождей.
Молодость с тобою
Проходила, лайка,
Навсегда осталась
Радость этих дней.
Мы прошли по тундрам
С аргишем оленей,
Сполохи над нами
Разливали свет,
Вьючными тропами
По тайге, где в пене
Сбрасывает реки
Становой хребет.
Высились над нами
В узких падях скалы,
Инеем светилась бурая
трава.
И будили лая
звонкие кристаллы
Тихие лесные острова.
Первые снежинки холодны и
сухи,
Принесет их ночью
ветер штормовой.
Ночью мне приснится
Друг мой остроухий —
Молодость и счастье
Жизни кочевой!

В моих охотничьих дневниках подробно записана одна из наших охот с лайками.

На Октябрьские праздники 1930 года мы с Юрием и Димой Тищенко решили поискать новые места. Забрав с собой лаек (у Юры — Хессу и Айна, у Мити — Дунька, у меня — Ошкуй), поехали по линии Мга — Будогощ — Красный Холм на станцию Хотца. На первом свету вышли из вагона. Под холодным дождем семь километров отчаянного глиняного месива — и мы из сумрачного елового мелколесья вышли на поле деревни Заручье. Дождь кончился, ноги отдыхали на твердом. У околицы скучающая девица, одетая по-праздничному, грызла семечки.

— Барышня, у вас в деревне охотники есть?

— Много. Идите к дяде Васе, он направит — эвон дом крашеный, двужирый, слева от дороги.

Мы привязали собак у крыльца, прошли коридорчик, постучали в дверь. Ответа нет. Вошли в кухню, сняли на пороге сапоги, дипломатично покашляли, поговорили — всё тихо. По застиранному добела половику добрались к следующей двери и вошли в большую комнату, сверкающую свежей краской пола. В красном углу, перед бесчисленными образами широкого киота теплилась лампадка. На подоконниках заботливо обихоженные домашние цветы, на стенах в изобилии чучела, рога, картины с лошадями и собаками. Мы разглядывали, стояли в нерешительности.

Бесшумно откинулась ситцевая занавеска боковушки, вышел библейский старичок в одном исподнем, на ногах черные чесанки-заколенники, голова серебряная, на груди золотой крестик. Молча внимательными живыми глазами оглядел нас и вернулся в свою комнатку, скоро вышел одетый, поздоровался и протянул Мите — он самый старший и в пенсне — визитную карточку. Сблизив головы, мы рассматривали и читали. На белом глянцевом прямоугольничке изображен медведь, на четырех ногах, лохматый, толстый, добродушный. Под ним текст: «Василий Николаевич Рогов. Представитель медвежьих охот и прочих зверей. Петербург, Моховая, 8. Летом — Маловишерский район, станция Хотца, деревня Заручье». Старичок дал нам время для чтения, потом сказал: «Здравствуйте, проходите».

Знакомство состоялось.

Мы спросили у Василия Николаевича совета куда идти. Отвечал он охотно. Говор у деда северный, неторопливый: «Походите, походите, правда, лесишки-то наши пусты, нет ничего. В колхозах расстройство, безделье, дым по ветру развеивают. Вся моложа, а то и мужики захватят палилку-кочергу и полным суткам по лёсям шавают. Все распугали. Лося-то еще солдатишки, как с войны вернулись, с винтовок прибрали. Погуляйте. Собаки-то работают? Мелочницы? Так вам надо к Хили ну или Кобыльей Горе, там боровато, круг нас больше березняки да пожни. Ночевать приходите».

Четыре блаженных дня мы прожили в Заручье — остаток бабьего лета. Молодые, здоровые, мы несчитанные версты отмахивали по новгородским лесам. Полупрозрачные, но все еще яркие березняки взбегали на высокие обширные холмы, а там серые кубики изб и чуть в стороне белостенные церквушки, у подножий — спящие озера. Собаки находили белок, мы стреляли и тут же, на месте добычи, снимали с них шкурки, свертывали в комочки и прятали в карманы рюкзаков. Зверьки уже хорошо вышли: черноручки — в редкость, синюхи — ни одной. Тушками кормили собак. Зайцев собаки поднимали по нескольку раз в день. Этому шумному занятию с восторгом предавалась наша остроухая шайка, но косым никакого вреда не приносила. Один бурый белоштанный заспался и не услышал моих шагов, выскочил и поплатился. Да еще разок с плохо убранного поля собачки подняли глухаря. Бородатый, недовольно скиркая, не набрав еще высоту, налетел на верный выстрел Юрия. Взяли и трех селезней.

Хорошо нам было и легко смеялось. Представьте себе такую сценку.

Хессу нашел тетерева. На полянке островок кустов, над ним возвышается одинокая береза, тетерев — на верхушке. Хессу осторожно, редко и негромко облаивает птицу. Остальных собак не видно. Юрий знает, что тетерев не глухарь — долго сидеть не будет, и торопится стрелять. Далеко — считанных шагов оказалось девяносто два, — но птица валится камнем. Хессу схватил и… не может быть! — потащил в сторону. Брат с криком за ним: «Хеска, брось! Брось сейчас же!» Стремительным черным шаром на опушку выкатился Ошкуй, навстречу Дунька и Айна. Через минуту мы с Митей и Юрой, хохоча, наблюдали забавную картину: тетерев лежит на траве, вокруг тесным кольцом сидят наши собачки и скалят зубы друг на друга.

Полдничали в лесу у костра. В чай добавляли клюкву, набранную в карман на болоте, а в трубки для лесного духа — пару еловых хвоинок.

Домой возвращались в сутемках. В пристройке, где на свежей соломе отведено было место для

наших собак, их ожидали плошки вкусного корма неведомого для нас происхождения — впрочем, заяц мой туда, несомненно, попал. Хозяин наставлял: «Дверь на засов — не забывайте. Волков шатается сила, нашим полёсничкам они не по зубам, забыли отцовскую науку, им бы рябка да бельчонку. Зверь ушлый: с крыши пролезет, из конуры вытащит. В иной деревне вовсе собак не слышно — всех перетаскали. Глядите строже…»

В доме нас ждал кипящий самовар, горячая картошка, соленые грибы со сметаной или постным маслом, моченая брусника, топленое молоко с коричневой пенкой, свежий хлеб. Самое удивительное, что за все эти дни мы ни разу никого, кроме Василия Николаевича, не видели, а стол был кем-то накрыт и после нас убран.

Сидели за столом долго, хозяин рассказывал охотно, красочно. Как мы поняли, он охотник знающий, заядлый, но сейчас уже в лес не ходит. Отец его был известный во всей округе медвежатник. Василий эту науку перенял, не одного зверя вместе с батькой добыл, но позже прикинул, что выгоднее продавать не шкуру и сало, а живого зверя: «Начинал я по десяти рублей с пуда — все равно расчет был». Дело пошло, желающих богатых клиентов оказалось достаточно. Василий Николаевич широко скупал берлоги по всему краю: в Новгородской, Петербургской, Олонецкой и Вологодской губерниях. Первое время сам присутствовал на охотах, потом только выезжал на покупку, позже — продавцы приезжали уже к нему. «Дело большое стало, я всю зиму в городе, только расчеты да книги вел». Память у Василия Николаевича отличная: называл фамилии, не забывая имен и отчеств, чинов и званий. Было бы интересно заглянуть в его книгу записей заказчиков. Через много лет я читал на надгробиях кладбища Сен-Женевьев-дю-Буа под Парижем, думается, те же имена.

— Василий Николаевич, вы только медвежьи охоты устраивали?

— В большинстве. Лося в теи годы мало было; случалось, помогал мужикам по волкам и по рысям тоже. Только это мелочь.

Обсуждали мы и дела деревенские. Трудны они были в то время, часто непонятные и тревожные. Василий Николаевич рассказывал не зло, но с горестным оттенком:

— Мутусят наших мужичков. Другой раз не разбери-пойми. Вот один рукомесленный мужичонко из супольной деревни на озерном острову смолу курил: печка небольшая — за сутки ведра три, смола хорошая. Для себя — и, правда, продавал по соседству. Назвали: фабрикант — и… со всей семьей. Другой любил скотиной меняться: то нетель на дойную, то жеребенка приведет. Это у него от отца, тот прасол был. Скажи, приговорили, дали бедолаге твердое. Откуда ему взять? Пропадет окончательно. Меня пока не трогают: живности один кот и тот без прибыли — холощеный. Разве что дом большой, дак я чуть что — в Питер подамся.

Спать мы уходили наверх, где в просторной прохладной комнате стояли четыре металлические сетчатые кровати, застеленные по-городскому: с простынями, пододеяльниками, наволочками. У противоположной стены, прямо по полу, груда яблок — горькие дички, но с таким чудесным и сильным ароматом, что нам снились яблочные сны. Хорошо было у деда Рогова в Заручье.

Эта поездка имела примечательное и неожиданное продолжение.

Через некоторое время я получил письмо от Рогова с предложением берлоги. Мы собрали сколько могли денег, но было недостаточно — не знали, что делать. Узнав об этом, мой дальний родственник, Владимир Щербинский, юрист по профессии, позвонил мне, сказал: «Братцы, не горюйте — у меня есть клиент, сенновский торговец свечами Квадратов. Он умница, понял, что нэп недолговечен, кинулся в охоту: скупает все берлоги, где только может. Рогов ответил ему, что продана. Так это, наверно, вам. Я поговорил с Квадратовым, а он — со своим другом Смирновым, тоже купцом. Они согласны заплатить сколько надо и

приглашают вас».

Утром пасмурного зимнего дня на станции Неболчг нас ждали два крашеных возка с бойкими сытыми лошаденками. Началась, как мы потом поняли, «лебединая песнь» Рогова — такой удивительной организации дела я ни до, ни после не видел, хотя много приходилось бывать на зимних медвежьих охотах. Все шло как по маслу, без споров и осечек, управлялось твердой невидимой рукой. Километрах в двадцати от станции в большой опрятной избе нас ждал самовар и после завтрака — пересадка на дровни. Приветливый хозяин дома никакого отношения к охоте не имел, сказал: «Покушайте, отдохните. Вами займется Гаврила». На крыльце нас ждал мужчина средних лет саженного роста в пушистой рысьей шапке. На плече у него висела одностволка, длиной соответствующая хозяину, с ложей, туго и обильно перевязанной проволокой. За спиной висел медный, в два витка, рог. Гаврила посадил Квадратова и Смирнова на дровни, нас с Юрой — на вторые, а сам с двумя помощниками поехал вперед. Кричан нигде не было — похоже, что они уже на месте.

Лес густо задут вчерашней метелью. Мы рысили по только что проезженному зимнику, лошадки то проваливались куда-то вниз, то карабкались на горки. Если задевали ветки дугами — снег обдавал нас. Посмеяться бы, да не то настроение. Я немножко боялся за брата: не хотелось в чем-нибудь оскандалиться перед такими «зубрами», что ехали перед нами. Юрий охотник опытный, путешественник и отличный стрелок, но на облавного медведя шел впервые. На крутосклонном переезде не то речки, не то канавы мы чуть не выпали из дровней, еле удержались, берегли ружья. Возница повернулся к нам, пояснил: «Это Сясь, она аккурат берется с того урочища, где мерлог». — «Да ну?» — удивился Юрий. Я понял, что он, как и я, представлял себе Сясь по Ладожскому устью, где мы не раз охотились на уток.

Лошадей остановили на лесной полянке у стога. Охотники сошлись в кружок. Помощники Гаврилы ушли, а нам он объявил: «Главного — на пятку, остальным тянуть», — снял свою рысью шапку, в ней лежали три бумажки с номерками. Посмотрел, что кому досталось, сказал: «Пошли. С богом!» Добавил: «Облава ходячая, поосторожнее».

Стрелковая линия оказалась совсем близко в высокоствольном бору, понизу почти чистому, без подлеска и бурелома. Номер Смирнова у небольшой выскети, к нему из глубины оклада тянется прогал, какая-то тропа. Юрий справа, я слева, за мной Квадратов. Отоптали снег и замерли — четыре толстые фигуры в белых халатах и нашапочниках. Я успел заметить, что на флангах появились и спрятались за стволами два человека. Так, понятно, — линия короткая, поставлены молчуны. Тишина, далекое круканье ворона и близкое попискивание синицы-пухляка. Как чувствует себя Юрий? Как узнать? Стоит недвижно. В окладе шорох — Юрий вздергивает ружье. Ага! Волнуешься, братишка. И я тоже дернулся. С шипом и хлопком с еловой лапы соскользнула грузная навись. Тишина, напряженная тишина… Какой-то нелесной звук… Тоненько за белой стенкой леса запел рог. И сразу впереди зашумели человеческие голоса.

Он показался вдалеке, шел прямо на Смирнова, большой, светлый, почти рыжий. Только бы Юрий в азарте не выстрелил! Смирнов нажидает на выстрел, стоит не шевелясь, ружье под мышкой. Пора! Пора! Ну же! Медведь бежит резво по тропе прямо на стрелка. Смирнов не стреляет. Что делать? Мысли как молнии: нельзя стрелять зверя, идущего на чужой номер, — позор! Зверь ближе, несколько прыжков — и сомнет охотника. Юрий целится. Я веду мушку чуть впереди медведя — не дам сломать. Что-то случилось? Нет, он не поднимает ружья. Теперь мы опоздали — нельзя стрелять: слишком близко человек. Оглушительно, с какой-то протяжкой грохнул выстрел. Медведь мертво сунулся в снег в полуметре от Смирнова. Нарушая все правила, мы подбежали, грузный Квадратов гаркнул одышливо: «Оп-пять гу-гу-саришь!» Смирнов ничего не ответил, повернулся к нам с Юрием и, не торопясь закуривая, пояснил: «Штуцер экспресс-магнум пятьсот — чем ближе, тем вернее. Отдает, проклятый, зверски», — сказал и потер щеку.

На линию один за другим вываливали заснеженные, как деды-морозы, мужики — ни одной женщины, ни одного подростка. На полянке у лошадей нас подхватили десятки рук и принялись подбрасывать. Я ничего не понял и по наивности решил, что благодарят за избавление от убийцы их коров. Квадратов вынул из кармана бумажник и передал деньги Гавриле, — очевидно, для раздачи. В деревне к дому, где нам был приготовлен роскошный обед, пришли местные жители и опять с шутками и приговорками нас качали, и опять Квадратов дал деньги. Проезжий, заметив белые халаты, придержав лошадь, сказал сидящей рядом жене: «Докторов качают — почто?»

Воспоминания и планы. (У Конокотины х. 1951 г.).

Профессор-почвовед в почвенной яме. (Гыдан. 1967 г.).

Мы привезли на станцию аккуратно снятую шкуру для Смирнова и в четырех мешках разделанную тушу.

В этот год институт Юрия вместе с другими институтами Академии наук перевели в Москву. Началась для брата московская, сугубо городская жизнь. Охоты вспоминались в стихах:

Все было белым: тучи в небе,
Полей сверкающий простор,
Холмов высокий мягкий гребень
И чаши снежные озер.
Все было тихим: ростань просек,
Болота мерзлые до дна,
Охапки снега в кронах сосен
И елей плотная стена.
И был осмотрен каждый в
*ы*скорь,
И снег отоптан хорошо,
Когда вдали раздался выстрел
И крик приглушенный: «Пошел!»
И тишину разбил на части
Обвал нестройных голосов,
И яростным дыханьем страсти
Наполнился простор лесов.
Да, он пошел, мелькая в чаще,
Таиться перестав теперь,
Огромный, бурый, настоящий,
Таежный новгородский зверь!

Работы в Москве у Юрия Алексеевича сильно прибавилось, особенно после получения степени доктора. Все реже он выезжает в экспедиции, и это его печалит. В очередной мой приезд в Москву он прочел:

Конечно, неплохо: квартира, комфорт,
Ковры и торшеры, на стенке офорт,
Как пестрая бабочка плоскость дивана,
И теплая снежность наполненной ванны,
И кафель на кухне, ласкающий глаз,
И синим цветком расцветающий газ.
Неплохо, конечно,
но все-таки лучше
На небе закатом зажженные тучи,
Порывистый ветер, сминающий в складки
Заплаты на старой походной палатке,
И речки, которых не встретишь на карте,
И путь по тайге на стремительной нарте,
Распадков глубокие, длинные тени,
И звезды в снегу под ногами оленей.

Трудно было Юре, в те годы уже крупному ученому, директору по науке Почвенного института АН СССР, переживать лысенковщину. Помню, с каким возмущением рассказывал он про чудовищные нелепости, выдаваемые за великие открытия в биологии, вроде появления кукушек за счет мохнатых гусениц, кур, «долбающих вредную черепашку». А позже с печалью и тревогой рассказал, как вместе с

академиком Прасоловым ходил на прием к Берии по поводу ареста Николая Ивановича Вавилова. Академик сказал: «Зачем вы держите в тюрьме гордость нашей и мировой науки? Это что — наветы Лысенко?» Берия ответил: «Нет, Трофим Денисович нам сигнализировал, но у нас есть и свои данные». Узнав о смерти Николая Ивановича, Юрий написал:

Он колос брал, как мастер тонкую работу,
Как математик — сложный интеграл,
Как музыкант — ликующую ноту…
……
Колодец каменный бесчестной клеветы
В туманный день его исчерпал силы.
Но в нашей памяти навек остался ты,
Веселый, ищущий и пламенный Вавилов!

Еще одно увлечение Юрия. Нет! Нельзя так назвать долгую и трепетную любовь брата к нашему Северу, к местам новгородским в частности. Откуда она пошла? Здесь мне придется сделать отступление в рассказе, тем более законное, что оно касается почти всех героев моей книги.

С самого начала наших с братом охотничьих устремлений мы обратили внимание на относительно близкие к Ленинграду глухие места Новгородской области. Однажды, путешествуя по карте, мы нашли интересный уголок: на берегу довольно большого озера деревня Крутик — три дома, а вокруг зеленое море, ближайшая деревня в восьми километрах. Вот бы поехать туда в отпуск! Далее — совпадение: институт послал меня для исследовательской работы в леспромхоз на станцию Анциферово — ближайшую к облюбованному нами месту. Было это в 1929 году.

Под выходной я вышел в поход. Прошагал пятнадцать километров и попал в деревню Ерзовку. Большая в те годы и благополучная деревня. Спросил: «Как пройти в деревню Крутик?» Получил ответ неожиданный: «Нет такой во всей округе». Я настаивал: мол, карты не врут. Безрезультатно. Подошел седобородый дед, прислушался, сказал: «Есть. Только это по-старому, по-письменному Крутик, теперь — Голи». Все обрадовались: не спрашивая, зачем мне Голи, наперебой объясняли, как туда попасть: «Ты иди дорожкой от кооперации на мыз (значит, на перевоз), там челон есть — был он там; если не совсем сопревши — наверно, на нашей стороне. С перевозу тропа, никуда не сворачивай, идти версты две. Хоть поздненько, гольские мужики народ озерной, отчаянный — примут и ночью. А лучше ночуй». Решил идти. Вышел, где перевоз на другую сторону озера.

Челн был на той стороне. Я думал не долго. Разделся, одежду свернул в узел и подвязал на голове ремнем. Холодна вода в мае месяце! Растерся, оделся. Поискал обещанную тропу, как будто нашел. Не понравилась — малохожена. А если будут свертки? Берег отлогий, песчаный — идти легко, Крутик, или Голи, у самого озера — не пройдешь мимо. Какая это была ошибка! Шел почти всю ночь. Если бы я знал тогда наше озеро, никогда бы не решился.

В Голях встретили приветливо. Без всяких расспросов пустили в дом, положили спать в коридорчике на деревянной кровати под пологом, укрыли просторным тулупом — ночь была свежая.

Мог ли я долго спать? Нет, конечно, часа через два разбудило предчувствие радости. Мне выдалось сияющее утро. Все оказалось светлым и добрым: просторная изба, свежевыбеленный бок печки, солнце в окнах, приветливые лица семьи Ивана и Гани, сияние самовара, белоснежная скатерть, светло-коричневая корочка горячего рыбника под полотенцем. И как весело и просто, будто давно знакомы, вели мы разговор, ахали, добродушно смеялись надо мной — как это вместо короткой тропины от перевоза пошел берегом!

После завтрака Иван позвал меня с собой: «За Девьей горой и на Долгом острове надо смолье

приглядеть и, кстати, сетчонку посмотреть». Подозреваю, что большой нужды в таком дальнем походе у него не было, — хотелось свое озеро показать. Я радостно согласился. Под крутиком на берегу у Ивана был челн. Я сел на переднюю лавочку, Иван толкнул долбленку, и мы скользнули в сказку — поплыли по синему небу, белым округлым облакам, прибрежные сосны, потревоженные веслом, плавно кивали, провожая нас. Широкоплечий Иван, стоя, длинным кормовиком так ходко гнал челн, что у носа журчала и пенилась вода и длинные усы гладких волн уходили далеко-далеко по сторонам. Проплывали берега самые разные: плоские песчаные косы, каменистые обрывы, тростниковые заросли, широкие пляжи, зеленые камышовые заводи. И всюду острова, путаница проточин, лахтин, устья речек, проливы к соседним озерам. «Пятьсот островов на нашем Городне, — похвастался Иван, — и берегов за неделю не обойдешь».

Сказка продолжалась. Гребец сел, положил весло на борта, оглянулся во все стороны, проверяя себя по ведомым ему береговым приметам, и уверенно заявил: «Тут… Здесь дна нет — провалучая яма, семь вожжей связывали — не достали дна. Погодь, потом расскажу». Мы высадились за Девьей горой, так называемой потому, что на вершине ее лежит камень с ясным отпечатком узкой босой ноги. На галечном берегу запылал кострик, вода рядом чудесная, прямо из озера. Солнце пригрело. Мы сидели с кружками в руках на корнях подмытой прибоем сосны, Иван рассказывал: «Наше озеро раз в тридцать лет уходит накорень в провалучую яму вместе с рыбой. Быстро уходит — над ямой воронка. Старики говорят, что туда опревшие челны торкали; так, скажи, пожалуйста, дыбом станет и — ух, как и не было. От озера два маленьких плеса остается — там, где сильно было глубоко, сажен двадцать по средней воде. При мне было. Поле и поле, только с каждого плеса речушки текут. Наше плесо — это Гольское — все наши три хозяйства овсом сеяли. Богатый вырос, из годов такой. Еле убрали. Яма рыгнула — шапкой вода, бугром — и пошла разливаться. Мы бегом бабки утаскивали. Приходит вода с рыбой, больше, чем было. Озеро переполнится, и с него начинает бежать Новая река, затопляет в низинах леса и пожни».

Обратный путь был простой: Иван перевез меня через озеро.

Удивительное озеро! Да, именно так. Через несколько лет я написал рассказ о Городно, о чайках, сидящих на прибрежных соснах, об уходящем озере — и получил отказ. Рецензент писал, что подобные байки не принято печатать в советских журналах.

«…Меня встречает Новгородчина
Сияньем искристых снегов…»

Поясню читателю, почему я сделал такое большое отступление в рассказе о брате. Дело в том, что я влюбился в это озеро и заразил этой любовью многих, в том числе и Юру. Я начал туда ездить все чаще и чаще — и в любое время года. Когда хутор Голи заставили перенести через озеро в деревню Домовичи, приезжал и туда, а в 1952 году на краю этой деревни у высокого берега озера поставил летний дом, в котором теперь живу всю теплую часть года, от снега до снега. И Юрий влюбился в озеро и тоже приобрел избу. В Домовичах поселились Фрейберги, Конокотины, моя сестра с мужем, жили Померанцевы,

Селюгины, Коротовы и сейчас живут Тиме, бывали Семеновы, Соколов-Микитов, гостили у меня Глеб Горышин, Федор Абрамов, Олег Волков, в соседней деревне живет Николай Сладков. Привились к этому месту люди бывалые, повидавшие и океаны, и горы, и тайгу, и тундру, и пустыню, и Байкал, и благодатный Крым. Все равно — приедут, посмотрят и останутся. Так образовалась на этом озере, в этой деревне колония приезжих и существует до сих пор, даже увеличивается — появилось четвертое поколение. Подружились, сроднились с местными жителями. И как мне было странно, и славно подслушать, когда молодежь пела стихи брата Юрия как своеобразный гимн озера Городно:

Лежат снега необозримые,
Шумят бескрайние леса.
Сугробов крылья лебединые
Прошила стежками лиса.
О, край родной, медвежья вотчина!
В тиши озерных берегов
Меня встречает Новгородчина
Сияньем искристых снегов.
И в глубине под льдами мертвыми,
В январский холод русских зим,
Уже блеснул боками желтыми
На нерест вышедший налим.
Вокруг метель неудержимая,
Ручьи, промерзшие до дна.
О Новгородчина любимая,
Ты для меня, как жизнь, одна!

Замечу, что Юрий не только воспевал красоту Городна, но, живя на нем, оставался исследователем: первым нашел на озерном берегу богатую неолитическую стоянку (это вошло в историю края). Он своеобразно отблагодарил озеро за полученные радости: написал научную работу по гидро- и геоморфологии района и передал ее в АН СССР. В результате был учрежден ландшафтный заказник «Карстовые озера» и сохранены окружающие леса.

Рассказывая об этом интересном уголке Новгородской области, я должен, с болью в душе, добавить о его печальной участи. Несколько лет тому назад журнал «За рулем» объявил автолюбительский маршрут на живописное озеро, изобилующее пляжами, рыбой и всяческими красотами. В результате со всех, даже очень отдаленных, мест нахлынули автотуристы. Не поинтересовался журнал на месте о возможностях маршрута. Сотни людей, проклиная ужасные подъездные дороги, разбитые лесовозами, калечат машины, убеждаются, что даже хлеба и молока поблизости нет, нет телефона, почты, медицинской помощи, и уезжают злые, недовольные. На малых пляжах десятки палаток стоят вплотную, все берега разъезжены, ягоды и грибы вытоптаны, прибрежные сосняки горят каждую весну и лето. Всю ночь над тихими плесами гремят транзисторы и — частенько — крики подгулявших туристов. Печально это.

Последние годы жизни Юрий вел чисто городской образ жизни, безумно нерасчетливо работал, отдавая всего себя людям: учебники, монографии, программы исследований для молодых ученых и экспедиций, отзывы на диссертации, лекции, масса заседаний на работе и в других местах. Особенно много времени и нервов требовала большая энергичная деятельность по охране природы: Байкал, истощение кедровых лесов, поворот рек, пыльные бури на целине. Трудно перечислить все эти больные места. К сожалению, он получал радость от удачного заступничества гораздо реже, чем боль от бессилия в этой трудной и неравной борьбе.

Закончить рассказ о Юрии мне хотелось бы тоже его стихами, они посвящены мне:

От болезни, от страсти, от старости,
От всего, что грозится бедой,—
Ты вздохни широко, не по малости,
Острый ветер над снежной водой.

По разливам, по-вешнему искристым,
Поброди среди тающих льдов,
Чтоб слушать не хрипы транзисторов —
Разговоры весенних дроздов.

Непролазною чащей исколотый
И дождями пробитый насквозь,
Посмотри, как расплавленным золотом
Неожиданно небо зажглось.

Посмотри:
над лесными верхушками,
Там, где месяц цветет молодой,
Первый вальдшнеп протянет опушками,
Зажигая звезду за звездой.

Голубыми крутыми пригорками
Ты пройди, никуда не спеша,
И тогда, глухариными зорьками
Засветясь, распрямится душа!
[2]

Вот такой он был, мой брат Юра.

ЛИХОЙ ДЯДЯ ЖЕНЯ

Женька Фрейберг, как за глаза называли его мы, мальчишки, приходился мне дальним родственником. Он был человеком исключительной судьбы, пестрой жизни и самых разнообразных устремлений: выпускник Лесного, а затем студент Горного института, мичман царского флота, сибирский бродяга-промышленник, герой гражданской войны, полярный геолог и путешественник, а для нас, мальчишек, он был богом охоты. Нам хотелось подражать ему во всем: в походке, в речи, и, конечно же, быть такими же удачливыми на охоте. Я помню его, крупного, немного сутулого, с лицом нельзя сказать чтоб красивым, но очень выразительным. Он постоянно мурлыкал что-то себе под нос (чаще всего — «Храбры моряки, все им пустяки»). Когда я повзрослел и как бы подравнялся с ним по возрасту, он виделся мне героем книг Джека Лондона. Была в нем и скрытая лирика гамсуновского Пана. Контрастная психологическая смесь и одновременно целеустремленная, запойная сила в желаниях. Я видел его решительным, жестким, командующим швартовкой карбаса при большом накате, и помню его на таборе у спящего озера, играющим на флейте — единственном инструменте, на котором он умел и любил играть.

Ближе всего я узнал Женю, когда наша семья жила на даче в Лебяжьем. Мы, молодые «охотники», азартно преследовали все живое с помощью рогаток и мелкашек системы монтекристо, а он уже смело браконьерил в окружающих наше село герцогских лесах. Охотился он запоем. До нас доходили слухи, и мы с упоением шептались: «Женька-то с товарищами и Абрамом Хэнцу опять лося заполевал». Село Лебяжье было тогда со всех сторон окружено лесами герцогов Мекленбург-Стрелицких. Богатые дичью угодья строго охранялись специально нанятыми егерями-прибалтийцами. Вот там-то и браконьерил Женя. Ему, студенту Лесного института и сыну крупного врача, не было особой нужды в мясе, зато сколько азарта, интереса, таинственности: незаметно проникнуть в лес, подкараулить зверя и с помощью местных крестьян вывезти добычу. Если бы они попались, дело закончилось бы для Жени крупным штрафом, а для них, может, даже и тюрьмой. Помню, как однажды, в редкую минуту общения с нами, мальчишками, Женя рассказывал: «Дурацкое дело, чуть не погорел. Были мы с Рудковским на большом герцогском току. Взяли на утренней заре по глухарику. Потом я решил сфотографировать ток. Поставил аппарат на треноге и отошел в сторону. Вспомнил, когда уже домой идти. Выхожу на просеку, и вот картинка: стоит моя тренога, где и была, а к ней егерь сыплет, в форме, с ружьем. Пожалел я аппарат, стал со своей стороны подкрадываться. Когда уже совсем близко было, рванулся, схватил и, как заяц, скинулся в лес. Крикнул Рудковскому тревожно журавлем и бежать…» Удрали, однако на следующий день егерь и урядник пришли в дом священника Рахманина. Знали, что его сыновья, Сергей и Гришка, тоже в эти леса заглядывают. Егерь увидел на Гришке белый с синей полосой свитер — точно такой, как у Жени, — составили акт. Священник не стал спорить и заплатил штраф. Гришка Рахманин встретил Женю на танцах, погрозил кулаком и со

смехом сказал: «Сволочи!»

В герцогском лесу студенты: А. Гаген-Торн, Рудковский, Батурин и крестьянин А. Хэнцу. (Ф ото Е. Фрейберга. 1912–14 г.).

После революции, когда я стал взрослым крепким парнем и всерьез пристрастился к охоте, из Сибири вернулся Женя. Помню, сидели мы в большом бабушкином доме. На столе куличи, пасха, запеченный в тесте окорок. (Водки тогда не было — сухой закон.) Я рассказал Жене о своих неудачных попытках охотиться на глухариных токах. Он слушал, заразительно смеялся над моими злоключениями, а потом сказал: «Паря, ведь меня охоте на току учил твой батька, я у него в долгу. Завтра пойдем в лес».

Мы вышли рано утром на далекие Тентелевские тока. Хорошо помню, как был одет Женя: курточка и брюки из ровдуги, [3]мягкие высокие торбаса, кожаная шапочка. В кармане он носил кисет, вышитый бисером, сильно обкуренную трубку-мундштук из мамонтовой кости с колечком из чистого золота. Высокий, широкоплечий, Женя шел по лесу, легко скользя на длинных лыжах. Я еле поспевал за ним, хотя был классным лыжником.

На отрогах болота Пейпиа-Суо, у речки Ейладва, стало припекать, лыжи плохо скользили. Остановились на дневку. Женя сказал: «Давно не был в лесу. Хорошо. Глухариная охота всегда праздник». Он сбросил мешок, топориком срубил сухой кол. В гладком льду речушки пробил дырку и укрепил кол вертикально. Мы взялись за руки. Сказал мне: «Делай как я!» Мы кружились, танцевали вокруг кола. Женя пел, а я повторял за ним странные заклинания: «Харе! Ино! Никичан! Харе! Ино». Солнце, ярчайшее, весеннее, с удивлением смотрело на нас. Мы развели костер, выпили несметное количество чая. Подремали немного. Потом Женя учил меня слушать глухаря. Он вынул из кармана спичечный коробок. Стал постукивать ногтями по коробочке, получалось: тк-тк-тк. Сказал отрывисто: «Слушай! Стой! Не шевелись». Потом стал открывать и закрывать коробок, получился неясный шип: чш-чш-чш. Продолжил спокойно: «Вот теперь — три прыжка, да так, чтобы конец глухой песни услышать».

Остаток дня мы истратили на постройку урасы — конусообразного шалаша из еловых лап и гибких стволиков березы. Чудесное получилось убежище: в середине костерок, по бокам две постели из тех же еловых лап и палочек, наверху отверстие для дыма. Вход низкий — только на четвереньках заползти, — прикрывается рюкзаком. В урасе тепло. Дым не ест глаза, идет вверх. Чайник висит на крючке над огнем. Дрова, мелко наколотые, под кроватью: протянешь руку — подложишь в огонь. На подслух мы, конечно, опоздали: не простое дело соорудить урасу. Утром на ток пошли вдвоем. Женя услышал глухаря. А я не сразу понял, что это и есть глухариная песня, не знал, что такая огромная птица так тихо поет. Женя взял меня за руку, нажимал на ладонь, когда можно было скакать. И когда я понял, что надо делать, отпустил мою руку, сказал: «Иди. Не забудь прикрываться!» Я скакал к своему глухарю очень осторожно, делая только по два шага, стараясь оглядеть его, и вдруг, выпрыгнув из-за ствола, увидел: гусиная длинная шея, распущенный веером хвост. Птица сидела на сосне, в полдерева, на гладком сучке совсем близко, и, заметив меня, нырнула вниз, исчезла в темноте, гулко хлопая крыльями. Я был огорчен чуть не до слез. Позже, в урасе, Женя сказал: «Ну что ж, все правильно: еще никому не удавалось убить своего первого глухаря». Мы немного поспали, а когда вышло солнце, постелили на сухом бугре свои «курташки» (так называл Женя) и лежали лицами вверх, грелись. Женя, обычно неразговорчивый, здесь рассказывал одну историю за другой. Запомнился мне рассказ о волках на линейном корабле «Севастополь».

Было это после февральской революции. На флоте было неспокойно. Но Женю не тронули: матросы его любили, и он ведь был не кадровым офицером, а военспецом из «черных» гардемарин. [4]Один из матросов привез на корабль двух волчат и подарил их Жене. Они приручились, стали жить на корабле под видом собак, забавляя команду и вызывая скрытое недовольство командира. Когда щенки подросли, тайна их происхождения — не знаю уж каким образом — открылась. К тому же командир корабля заметил, как один из волчат оправился на палубе, и потребовал немедленно убрать «этих животных». Команда вступилась за своих питомцев. В этот же день к кораблю подвалил катер с уполномоченным от самого Керенского, чтобы помитинговать, поагитировать за войну до победы. Собралась команда и офицеры. В повестке для были два вопроса: доверие Временному правительству и волки мичмана Фрейберга. Равнодушно, с ироническими замечаниями выслушала команда посланцев Керенского и проголосовала против. По второму вопросу все, за исключением командира и его помощника, подняли руки за то, чтобы волков оставить.

Продолжение истории с волками было уже при мне. После демобилизации Женя уехал в глухую Новгородчину промышлять лосей. Захватил с собой волков. Был в восторге от их поведения в лесу: они слушались его, как легавые собаки, далеко не отбегали, приходили на свисток. Летом охота кончилась. Женя вернулся в город, захватив с собой одного из волчат; временно пристроил его в доме на набережной Невы у своего друга Фельтена, редактора журнала «Рулевой». Пришел к нам на Одиннадцатую линию, позвал меня и Юру посмотреть ручного волка. Дверь открыла горничная в белом переднике и наколке: «Ваша собачка убежала. Я открыла молочнице, она — шмыг». Нашел ли волк дорогу в лес или заблудился в городе — осталось неизвестным. Искали долго.

Жизнь сложилась так, что мы встречались с Женей не часто. Знал, конечно, что он был назначен первым советским начальником Командорских островов. Неожиданно получаю радиограмму. Женя передает мне привет. После нее стали приходить пространные радиограммы с оплаченным ответом на много слов. Написаны они были на довольно свободном моряцко-охотничьем диалекте. Смешно было, что часто после слова сомнительного свойства стояла пометка «провер.» и слово «так». Однажды мы с братом Юрием веселились в одной компании недалеко от Центрального телеграфа. Вышли на улицу в приподнятом настроении и решили немедленно послать привет Жене на Командоры. Составили телеграмму в Женином стиле. Средневозрастная дама, пробежав карандашом по тексту, вернула нам листок: «Мы шифровок не передаем!» Юра проворчал, уходя: «Чертова старая дева!» Был еще такой

случай. Женя запрашивает: «Где Нина?» Нина — это моя двоюродная сестра, Нина Мариановна Седельницкая, студентка Института истории искусств, красивая девушка, отличная спортсменка. По нашим давним, еще мальчишеским, наблюдениям, она была объектом внимания Жени. Радирую: «Здесь, в городе». Запрос: «Дай адрес». Через несколько дней Нина приходит ко мне и показывает радиограмму — приглашение приехать на Командоры на чашку чая. Спрашиваю, зная, что пароход приходит к нему на остров раз в год: «Ну и что ты ответила?» Она улыбнулась: «Я написала вежливый отказ и пошутила: боюсь, что такую чашку чая можно закончить втроем». Через полгода, по возвращении Жени в Ленинград, они поженились.

Я был тогда студентом и, с точки зрения Жени, человеком свободным и бездельным. Зашел он как-то ко мне вечером и сказал:

— Такое капсе: есть собака, хорошая, Турахи — это по-тунгусски ворона, привези, пожалуйста!

— Далеко?

— Не очень! — он хитро улыбнулся: — В Лиственичном.

— Это где?

— На Байкале, у друга моего, кузнеца. Беспалов фамилия.

— Ну, знаешь…

— Если не задержишься, попадешь как раз вовремя. Дай-ка бумагу! Начерчу тебе ток в Черемшане — падь такая — штук десять поет.

Я взял в Университете справку на льготный билет, через восемь суток вышел на берег Байкала и «зар зился» им на всю жизнь. Мне не забыть — да и не хочу того — хрустально-холодную воду моря, в котором на страшной глубине видны донные камни; по-сибирски приветливую семью Беспаловых, их «царское угощение»: кислушка, пирог с хребтами рыбки-голомянки: все мясо растаяло, впиталось в корочку — такое оно было нежное и жирное. На следующий день сам хозяин проводил меня на старом умном коне по таежной тропе почти до самой Женькиной пади. Посоветовал не спать близко от огня: много худого люда шатается по тайге. Так я и коротал ночь, лежа в гуще бадана, вслушиваясь в первобытную тишину, изредка нарушаемую взлаиванием дикого козла или падением дерева-великана без ветра, самого по себе, потому что пришел конец его вековой жизни. На следующий день я стрелял вальдшнепов на тяге, сидя на высоком взгорке и опустив стволы ружья вниз, потому что птицы летели по распадку подо мной.

В своей каюте на «Севастополе».

Волк Рек. (Фото Е. Фрейберга. 1917 г.).

Эскадренный миноносец «Счастливый» под обстрелом с «Гебена». (Снимок с «Дерзкого» гардемарина Е. Фрейберга. 1915 г.).

Я привез Турахи в Ленинград. Дал себе клятву, что обязательно перееду жить куда-нибудь на Байкал. В этой поездке я сделал открытие, касающееся моего друга, многократное подтверждение которому получал потом, путешествуя по его следам: всюду меня встречали люди, помня щиего и даже влюбленные в «вашего Евгения Николаевича».

Характеризуя дядю Женю как человека, надо прежде всего отметить его храбрость, какую-то лихость, с которой он постоянно искушал судьбу.

Во время первой мировой войны два немецких корабля: броненосец «Гебен» и крейсер «Бреслау» — прошли в Черное море. В тумане наши эскадренные миноносцы «Счастливый» и «Дерзкий» наткнулись на немецких гигантов и попали под орудийный обстрел. Силы были неравные, конец близок.

Фрейберг был на «Дерзком» в ранге практикующего гардемарина, места в боевом расписании не имел и мог делать все, что угодно. Он вытащил на палубу фотоаппарат с треногой и приня лся за работу: делал снимок за снимком. Некоторые из них оказались весьма удачными: на одном в поле зрения даже часть палубы «Дерзкого» и совсем близко огромный фонтан от тяжелого снаряда. Сгустившийся туман спас миноносцы.

Снимки были опубликованы в тогдашнем «Огоньке», а гардемарин Е. Н. Фрейберг получил Георгиевскую медаль.

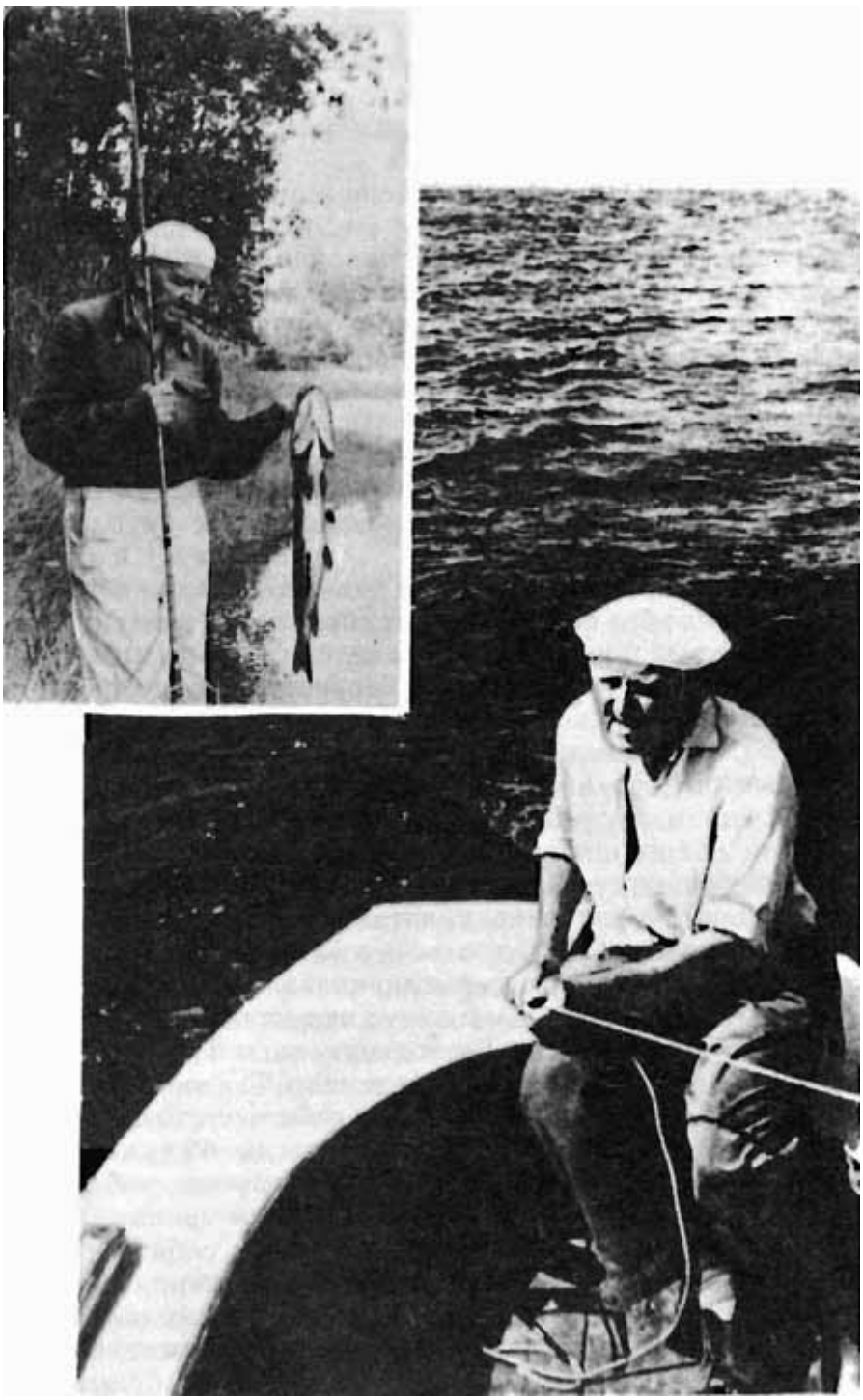
Однажды, уже во время гражданской войны, на Волге корабль, на котором воевал Женя и его неизменный спутник и друг Воля Романов, стоя л на я коре, когда на берегу шло наступление красных. Между воюющими было еще большое расстояние. Женя с Волей взяли охотничьи ружья — с ними никогда и нигде не расставались, — спустили на воду руль-мотор, подошли к берегу и залегли в кустах. Цепи войск сыграли для охотников роль загонщиков. Друзья взя ли зайца и лисицу и благополучно вернулись на корабль. За эту авантюру Женя получил взыскание от командующего флотилией Раскольникова.

Участником другого весьма рискованного предприя тия довелось быть мне самому. Это была топографическая съемка западного берега Новой Земли, производимая с парусных шлюпок. Женя был начальником партии, а меня он взя л помощником, матросским старшиной. Местные жители, ненцы, доказывали начальнику экспедиции Матусевичу, что это безумное предприя тие должно кончиться трагически. Я, по неопытности, не очень-то понимал всю степень риска, а Женя был в своей стихии. Съемка была проведена. (Этот поход я описал в рассказе «Под парусами по Баренцеву», опубликованном в

журнале «Нева».)

Другой характерной чертой дяди Жени, казалось бы несовместимой с его дерзкой храбростью, была скромность. В компании он никогда не брал первого слова. Слушал других, попыхивая неизменной трубочкой. Молчал хитро и мудро. Поражало и его нежелание делать карьеру. Он брался за дело, достигал в нем профессиональных высот, а когда намечалось повышение по должности, вдруг резко менял ориентацию. После гражданской войны шла переаттестация моряков. Евгений Николаевич, по сути дела герой гражданской войны, мог претендовать на звание капитана первого ранга или даже адмирала. Однако, отвечая на анкетные вопросы о наградах и заслугах, серьезно сказал: «Не знаю, что тут писать, у меня только и есть что личная шашка от Троцкого и пистолет от Раскольникова…» Именно этих слов ему тогда говорить и не следовало. Так он и остался «военмор» Фрейберг, как он сам себя аттестовал.

Сколько я помню Женю, он всегда был в пути. Временами, правда, жил с нами в городе, работал, встречался с друзьями, но через некоторое время становился грустным и смотрел куда-то мимо собеседника, вдаль. Там он видел любимые байкальские берега, глухариные токовые распадки, думается, даже ощущал запах распускающейся лиственницы, а может быть, видел мощный закат у толбеев Новой Земли и слышал хриплые вскрики кайр на птичьем базаре. Вскоре он исчезал надолго и безвестно. Мы приходили встречать его на платформу прибытия дальних поездов. Он с трудом выбирался из вагона, одетый в самые разные меха, с рюкзаком, полным совершенно нереализуемых на деньги вещей, почти всегда с собакой. Сбрасывал рюкзак на доски перрона, протягивал нам поводок собаки, говорил: «Однако жарко у вас», — и раскуривал трубку.



На озере Городни.

Он утихомирился уже в больших годах. Перестал мечтать о походах в далекие необжитые края, неизменной осталась лишь охотничья страсть. Он работал в те годы в Институте геологии Арктики, а в свободные дни выезжал с нами на машинах поохотиться с гончими или легавыми. На лето переселялся в Новгородчину, в ветхую избенку на берегу озера. Увлекся, как ни странно, новым для себя делом: ловлей рыбы на блесну и удочку. На вечерке караулил уток в скрадке. Было у него еще одно увлечение — парус. Он привез на озеро спортивный швертбот, и с тех пор белый Женин парус постоянно скользил по открытому плесу, мелькал в путанице хвойных островов. Помнится, в один погожий ветреный день сидели мы с другом, Виктором Померанцевым, на балконе моего дома. Вдруг крик: «Евгений Николаевич

опрокинулся!» На середине плеса виднелся лежащий на боку швертбот. Мы кинулись к лодке, гребли изо всех сил и на середине озера, задохнувшиеся, взволнованные, бросили весла. Заштилело. На легкой зыби перед нами неподвижно и плоско лежал притонувший парус. В лодке никого. Медленно уплывали руль, черпак, елани… Тишина. Ужас. Виктор встал на носу нашей шлюпки, снял шапку и сказал печально и хрипло: «Хорошая смерть для моряка». — «Подожди, может быть, он под парусом или зацепился внутри». — «Посмотрим, только уж неживой». Все облазали, обыскали… Вдруг я заметил далеко на берегу одинокую фигурку. Сказал: «Там человек ходит, подгребем, спросим, может, он видел…» Подавленные, мрачные, мы молча гребли через плесо. Я сидел на кормовике, смотрел вперед и довольно скоро стал примечать в человеке, что ходил по кромке берега, что-то знакомое. Еще ближе… Женя! Сам! Живой! Когда мы подошли совсем близко, я стал почему-то громко и зло его ругать: «Что за фокусы! Нам-то на тебя, черта старого, наплевать. Дури! Тони, если нравится! Ты бы о Нине подумал, на берегу плачет чуть живая, думает…» Женя выслушал и сказал спокойно, но сердито: «Ну и дура, разве я могу утонуть?»

Как же произошла так напугавшая всех история? Женя шел на швертботе на тот берег, под Зеглину гору. Приткнул посудину к песчаному берегу и пошел в лес. В это время ветер переменился, покрепчал, стащил швертбот на воду, грота-шкот зацепился за что-то, и суденышко бойко отошло от берега. На большом плесе его опрокинул шквал.

Выйдя на пенсию, Женя стал писателем. Написал несколько детских интересных книжек, а закончил свою писательскую карьеру мемуарами «От Балтики до Тихого», напечатанными в журнале «Звезда». Последние годы — а он прожил больше девяноста лет — Женя провел в Зеленогорске, там и скончался. Мы хоронили его на лесном кладбище в красивый зимний день. Дорогу нам пересекали следы белок и зайцев. Любопытная синичка подлетела совсем близко и уселась на сосновой лапе. Тело Жени было покрыто андреевским флагом — голубой крест на белом фоне. Неосведомленная редакторша Детгиза, спутав этот флаг со шведским и соединив с ним фамилию Фрейберг, сказала: «Он оставался верным сыном своего отечества». Что ж, Женя и вправду был верным сыном своего русского отечества, а флотский флаг сшили его дочки, Аяна и Тикси, в ночь перед похоронами. На крышке гроба лежала его капитанская фуражка. Грянул прощальный салют из двух охотничьих ружей.

Жизнь дяди Жени достойна быть описанной в книге. Одно перечисление его профессий, должностей, заслуг заняло бы немало страниц. Прибалтика, Поволжье, Сибирь, Крайний Север… Где только он не побывал, где только он не работал! Но я не ставил себе такой задачи. Я просто хотел, чтобы со страниц моей книги взглянул на читателя мой замечательный охотничий друг.

КРАСВОЕНЛЕТ КОНОКОТИН

Огромный, совершенно необычный артиллерийский снаряд просвистел в воздухе над фортом «Красная Горка», не разорвался, скользнул по слою глины и выскочил наружу. Осмотрели его краснофлотцы — снаряд невиданный и стреляют неизвестно откуда.

Так начался интересный эпизод гражданской войны в августе 1919 года на побережье Финского залива, вблизи местечка Лебяжье. В газете писали, что корректировщик 21-го воздухоплавательного отряда красвоенлет Виктор Конокотин обнаружил в Копорском заливе английский монитор «Эребус». Этот мелкосидящий броненосец удалось отогнать. Здесь же газеты писали о беспримерном, необычайном бое в воздухе.

Мы сидели с Виктором у ночного костра на глухарином току в урочище, по-фински называемом Кивилава, то есть Плоские камни. Он рассказывал: «Стреляет и стреляет — неизвестно откуда и кто. Час за часом я наблюдал из корзины аэростата за всем побережьем и никак не мог обнаружить. Наконец заметил тоненькую полоску корабля, прижавшегося к берегу, и вспышку орудийного выстрела. Обрадовался, сообщил по телефону координаты. Это мне даром не прошло. Однажды висел я на высоте примерно восемнадцать тысяч, вел обычные наблюдения и заметил, что от Финского берега через залив летит самолет. Самолеты, что с нами воевали, были только английские, а летчики — любители-добровольцы. Летали они нахально (нашей авиации не было); бывало, летит, не торопится, забавляется: пилотажную фигурку закатит. Мне что тут делать? Заметишь, кричишь по телефону, чтоб скорей опускали. В этот раз получилось нескладно: заметил самолет издалека, скомандовал спуск и… трос на лебедке заело — жестко, авария. Самолет подлетел ко мне близко, дал очередь из пулемета, перебил один строп — и все. Пока жив. Радуюсь, что нет у сукина сына зажигательных пуль, — в момент бы спалил, накрыло бы меня горящим аэростатом. Думаю: что делать? В корзине у меня ручной пулемет Шоша, да разве попадешь? Велика скорость — не угадаешь опережение. Второй заход — дело похуже: попал в корзину и прострелил мне полу реглана. Видимо, пристрелялся. Тут я, знаешь, Алеша, сообразил, решил по-нашему, по-охотничьи: поперек не выходит — надо в угон. Когда он зашел в третий раз, я повернулся к нему спиной, приложил автомат к плечу и ждал. Как только он пошел на уход, дал ему очередь вслед. Он резко отвернул, пошел в сторону залива, примерно в километре от берега плюхнулся в воду». Вот такой был рассказ.

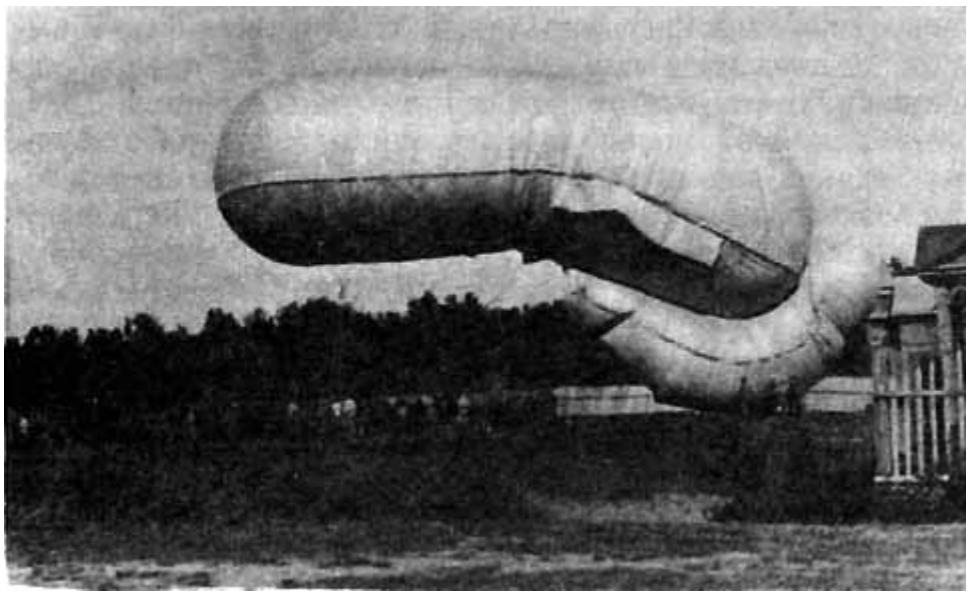
Я уже знал, что Виктор получил за этот подвиг недавно учрежденный орден Красного Знамени и золотые часы от ВЦИКа, серебряные — от Петросовета. Попросил еще раз показать — кстати, нужно было узнать время, не пора ли идти на ток. Часы золотые, на внутренней крышке было выгравировано: «Честному воину Красной Армии». Виктор нажал кнопку, и они мелодично и четко подали время с

точностью до одной минуты: первые удары — часы, вторые — четверти часа, третьи — минуты. Очень удобно в ночное время на глухарином току.

Теперь я хочу рассказать о знакомстве с этим замечательным и милым моему сердцу человеком.

В 1921 году я работал слесарем на торфоразработке «Комаровская». Жил в Лебяжьем, в доме моей бабушки, с отцом, теткой и ее детьми. В том же доме — только вход с другой стороны — жила семья моего дядюшки Леонида Васильевича Ливеровского. Человек он был жизни пестрой: жокей — ветеринар — управляющий огромным имением Стекольного общества — а после революции был записан как «свободный землепашец». У него жена и дочь. Примечательная девушка была Машенька — бойкая, умная старшекурсница-медичка. Зимой в Петрограде она с подружками — центр небольшого кружка любителей поэзии и театра; летом в Готобужах дочь управляющего скакала в амазонке на вороном коне по полям и лесам, принимала городских подруг, устраивала пикники и домашние спектакли.

Виктор Конокотин в 1919 г. окончил Петроградские воздухоплавательные курсы и произведен в красные командиры.



Место подъемов. (Александровский поселок Приморско-Сестрорецкой ж. д. Июнь 1919 г.).

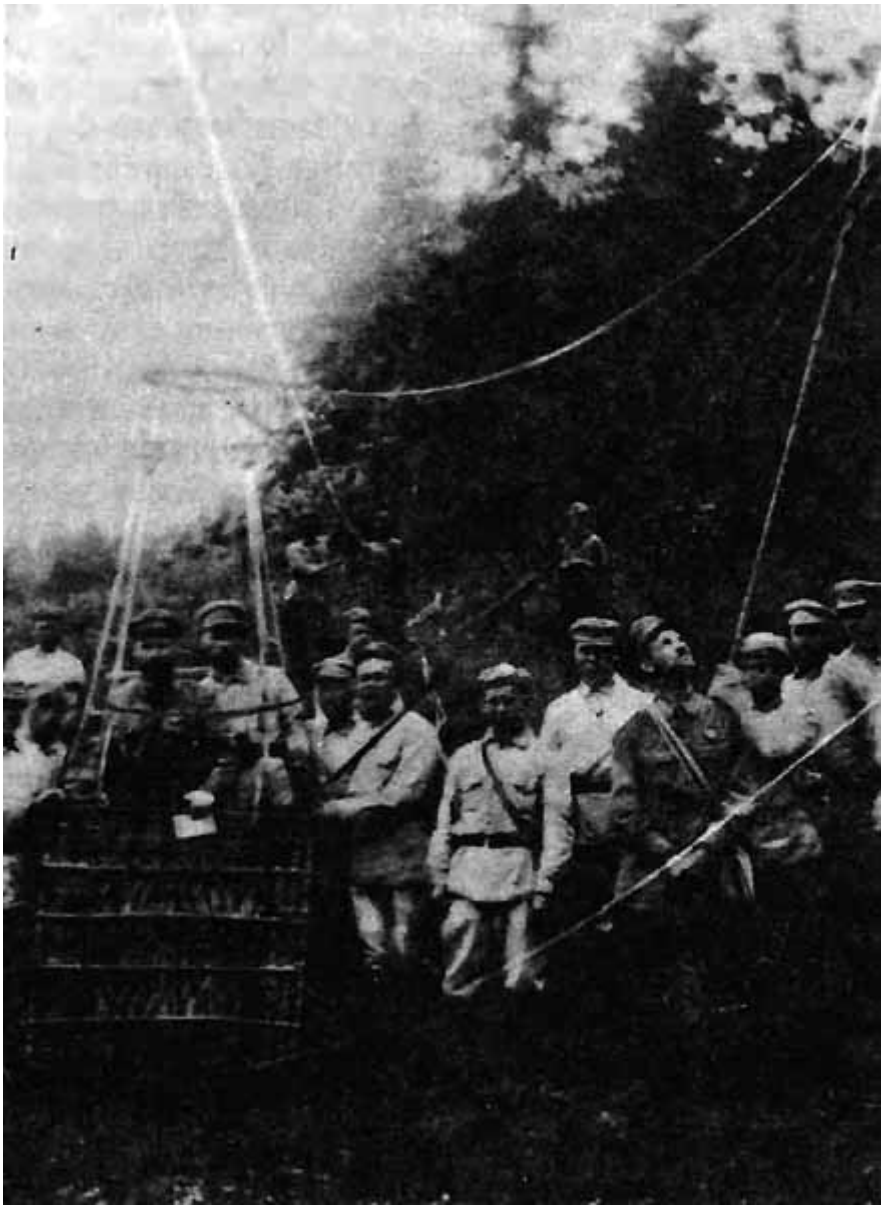
В эту семью на постой был направлен юный красвоенлет Виктор Конокотин. Очень скоро дело окончилось свадьбой. Мы с Виктором легко сошлись — охотники, да еще из одного дома! — стали бродить по лесам вместе. Отряд Виктора и его «колбаса», как называли аэростат местные жители, был расположен неподалеку от Лебяжьего на небольшой поляне Петровского хутора. Мне ужасно хотелось подняться на аэростате — удалось. С разрешения комиссара отряда Виктор поднял меня на высоту больше тысячи метров. Отлично помню захватывающее ощущение. Впоследствии мне пришлось много летать на самолетах, но это совсем не то. Здесь вы, как парящая птица, спокойно рассматриваете каждую полянку, каждую знакомую тропинку, просеку, ручеек, дорогу; можно в один миг пройти, скажем, от нашего дома до известного глухариного тока — путь, который по болоту занимает не один час. Я был в восторге, а Виктор — ему это дело привычно — спокойно взял трубку телефона и попросил кого-то там внизу: «Позвоните, пожалуйста, ко мне домой, скажите, чтоб телку из огорода выгнали». Я посмотрел вниз и убедился, что в нашем огороде действительно пакостит телка.

Я нашел хорошее для охоты место. Большие поля вокруг деревни Гостилицы изобиловали русаками. В выходной день мы доезжали на поезде до Ораниенбаума, шли двадцать километров до Гостилиц, встречали рассвет в чайной, целый день тропили зайцев и тем же путем, без всякого сна, шли двадцать километров до железной дороги и возвращались домой. По нашим годам и силам это нам было хоть бы что, а русака вокруг Гостилиц было действительно много.

Одна из первых охот с Виктором резко выделяется в моей памяти. В зимний день мы удачно тропили русаков вокруг деревни Жеребятки за Гостилицами, увлеклись этим делом и попали в пургу. Незаметно потемнело, повалил обвальный снегопад. Через полчаса пурга уже мела, крутила, выла, забивала глаза, студила тело. Скоро мы потеряли дорогу, шли куда и как попало. У Виктора, конечно, был компас, и даже светящийся, но что могла сказать светлая капля на стрелке, когда мы не знали, где находимся, только что не кружили — и то ладно. Идти было с каждым шагом труднее. Снегу — по колено, ступает нога — в яму или на бугор, — непонятно. Пары русаков и ружья, повешенные через плечи, сильно давили. И все же мы шли и шли. Час, другой — безнадежно, но не бессмысленно. Несмотря на пургу — в снегопад обычно теплеет, — мороз был крепкий. Мы шли, а хотелось хоть бы на минуту прилечь прямо на снег. Мечтали дойти до леса, зажечь костер — спички-то были! — так нет: поля, овраги, кусты, опять овраги и какая-то речка; попробовали пройти по ней — вода, еле выскочили, слава богу, не промочив ноги. Положение

дурацкое — так по молодости определяли, на самом деле — тяжелое. Останавливались все чаще и чаще. Тянулись часы, наваливалась смертельная усталость. Вот тогда-то, как это в сказках бывает или в плохих рассказах, на грани сил, при вполне возможном плохом окончании, в темной, воющей круговерти засветился огонек, мигнул, пропал, еще раз вспыхнул и утвердился. Это была радость и спасение. Из последних сил прибавили шаг и вышли к одинокому дому среди поля. Светились окна большой избы, вокруг много дровней, запряженных белыми холмиками лошадей. Какой-то съезд — наверное, свадьба. Ну что ж, нам, совершенно задутым и закостеневшим, выпить горячительного совсем не плохо. Не раздеваясь, открыли двери в избу и стали у порога.

По стенам большой, ярко освещенной комнаты скамейки, на них вплотную люди. Посередине на столе — гроб, видны восковое лицо и седенькая бородка покойника. Похороны! А мы только что хотели крикнуть, пошутить: «Здравствуйте, принимайте незваных гостей!» Что делать? Уйти мы не могли — сил не осталось, стояли, как два белых столба, увешанные заснеженными зайцами. Люди молчали. Долго ли длилось это молчание? Думаю — не очень. Наш приход был совершенно не вовремя, совершенно не нужен. Встал большой бородатый мужчина, подошел к нам, руками как бы приобнял обоих, сказал с резким чухонским акцентом: «Пошли, поехали со мной, не бойся, будет тепло». Он вытащил нас на улицу, стряхнул снег с дровней, сказал: «Ложись, тут близко». Накрыл шубой. Минут через двадцать приветливая чухонка, ойкая, жалея, сокрушаясь, помогла нам снять задубелую одежду, приговаривала: «Сейчас, сейчас, сейчас». Мы были спасены.



Наблюдение за подъемом аэростата.

Воздухоотряд уходил из Лебяжьего, наша семья уезжала в город. В последние эти дни произошел случай, малозначительный по отношению ко всей жизни, но крепко врезавшийся в память. Виктор дружил с комиссаром отряда, я — с Виктором. Перед отъездом занятия с красноармейцами прекратились, у командиров освободилось время. Виктор предложил прыгать с парашютом, комиссар присоединился. Упросился и я прыгнуть, хотя трусил — еще в первый раз. Пришли на площадку перед лавровским домом, откуда происходили подъемы. Все было готово. Первым на очереди комиссар. Виктор, человек осторожный, прикинув, что парашюты давнишние, распорядился сначала сбросить балласт. Мы трое и еще один командир, фамилии не помню, стояли внизу и наблюдали за подъемом аэростата. В бинокль было хорошо видно, как в корзине возились с пудовыми мешками песка. Виктор говорит: «Это ты, комиссар». Заметив, что мешки скинуты и парашют раскрывается, добавил: «Есть прыжок, комиссар». В это время стропы парашюта стали удлиняться, рваться и… свободный груз полетел вниз. Виктор крикнул: «Нет комиссара!» Три мешка со свистом и хлопком врезались в траву рядом со спящей коровой, выбив неглубокую воронку. Шелковый купол полетел, колеблясь на малом ветру.

Домой шли взволнованные, мрачные, каждый думал…

Наши семьи переехали в Ленинград. Началось для нас с Виктором студенческое время, для меня прекрасное, вольное, для него трудное: он служил и учился, переучивался из воздухоплавателей в летчики. Штормовало семейство Конокотиных: он сам, Маша и малолетний сынишка. Тяжелый период жизни и морально, и материально. В те годы военным платили мизерно мало. Помогали ему свои и мой дядюшка Александр Васильевич, живший рядом. Все равно ушли в торгсин Машины кольца, колье, брошки — все, что было. Туда же попали золотые крышки от знаменитых часов, — сами-то они остались, только крышечки теперь железные.

В. П. Конокотин в 1927 году окончил Военную школу летчиков-наблюдателей и назначен 1-м помощником Штаба бригады.

Задолго до выезда мы путешествуем по карте. (Москва. 1936 г.).

Морально же было тяжело по другой причине. Виктор рано вступил в партию, был человек убежденный страстно и безоговорочно, и вдруг… попросил исключить его из рядов партии по несогласию с политикой по отношению к верующим. Сам он был атеистом, но считал ошибкой уничтожение церквей, грубую антирелигиозную пропаганду и нажим на верующих. Со службы его не уволили, но много лет, до восстановления в партии, он считался как бы второсортным.

Тяжело было, но все же охоту он не бросил. Мы получили отпуска на осеннее время, чтобы осуществить мечту — поохотиться по медведям. Нас настойчиво приглашал дядюшка Маши к себе за Тихвин, в деревню Лёпуя. Писал, что медведя очень много, «скотину ронят, овсы пакостят». Забрав невеликое количество провианта — рассчитывали на «подножный корм», — мы из Ленинграда на поезде доехали до станции Большой Двор, первой за Тихвином. До заветного места нам оставалось сорок верст. Начало похода оказалось невеселым. В первой же деревне после станции попросились в дом попить молока. Были радушно приняты. Скинули рюкзаки и ружья, сели за стол, разговорились с пожилым словоохотливым хозяином. Оказался он охотником, однако, когда разговор коснулся медведей, смутился и примолк. В это время, откинув занавеску, из соседней комнаты вышел (точнее, выполз) молодой красивый парень с редкостного цвета голубыми глазами и давно не стриженными льняными волосами. Передвигаясь вдоль стены по лавочкам на одних руках, волоча за собой мертвые ноги, он добрался к нашему столу. Неприятно было хозяину, явно неприятно рассказывать, что с сыном. Мы не просили, сам рассказал. Берлогу нашла лаечка во время белкования. Дождались, чтоб снегу стало побольше, никому не сказали, решили сами, ну а дальше… обычное дело. Ружьишки — веревочками подвязанные, пистоны с прошлого года, сын по зверю впервые. Стали выживать зверя из берлоги, медведь выскочил — у отца первая осечка, вторым выстрелом попал в плечо медведю, только раздразнил. Выстрелил сын —

промахнулся, бросил ружье в снег, кинулся бежать. Отец перезаряжал ружье. Зверь не то чтобы бросился за парнем, а так, обгоняя его, лапой ударил по спине. Страшный коготь просек овчину, пиджак, исподнее и между двумя позвонками задел спинной мозг. Ноги умерли. С тех пор вот так.

Непросто нам дались эти сорок верст до Лёпуи: отвыкли, да и груз, особенно ружья и патроны. Мы были сразу же вознаграждены, когда попали в избу приветливого дяди Вани. Для нас сюрприз — густое деревенское пиво и на большой скворчащей сковороде залитый яйцами хвост акулы. Так показалось — на самом деле это был хвост огромного лосося. Я удивился, спросил откуда. Дядя Ваня ответил: «Тут рядом». И рассказал, что у них именно сейчас, в осеннее время, ход лосося. Я попросился посмотреть, как ловят.

На следующий день мы приготовили для ночной охоты на ближайшем овсяном поле два лабаза и пошли с дядей Ваней на реку. Интересная это, совершенно особая ловля. На малюсенькой речке (кажется, с ходу перепрыгнуть можно) стояли ройки — два выдолбленных бревна, соединенные поперечными планками. Рыбак садится на корму, перед ним большая берестяная труба, уходящая нижним концом в воду. Сверху смотреть надо — хорошо видно дно. Грести не надо, даже нельзя: рыба эта осторожная. Медленным течением несет ройки, на перекате чуть побыстрее, в омуте совсем тихо — и вот он, лосось! На дне, взмучивая плавниками придонный ил над камушками, мечет икру огромная рыбина. Между двумя бревнами ройки просовывают острогу с длинной ручкой — удар! икряной лосось, чудище в шесть-семь килограммов, добыт! Запрещенное это дело теперь, тогда оно было обиходным.

Две недели мы ходили вокруг деревни, устраивали на изрезанных овсяных полях лабазы, вечерами и ночами сидели, караулили зверя. Медведя в этих местах было много: на всех глинистых проселках между полями когтями, как граблями, прочесаны бороздки. До утра караулим, днем чуть подремлем — и на другую охоту, уже по мелочи. Оказалось, что у дяди Вани есть собачонка Квасок — по его мнению, крайне неудачная, порченая: на белку внимания не обращает. Это нам дядя Ваня продемонстрировал. Вышли вместе в лес, заметил сам в вершине сосны белку, подозвал собаку. Она послушно подошла, склонив голову и поджав хвост, — знала процедуру обучения. Иван взял ее за шиворот, кинул мордой на ствол дерева, приговаривая: «Я тебя научу, я тебя научу белку лаять!» Квасок молчал. Дядя Ваня досадливо махнул рукой, он, как все северные лесные охотники, считал достойной внимания только зверя и пушнину, все остальное — баловство, особенно зайцы.

Мы пошли. Через несколько минут совсем рядом Квасок поднял зайца и красивым доносчивым голосом горячо погнал. Оказалось, он отлично работает по зайцу, да и вид у него был не ахти какой лаечный: полустоящие уши, одно частенько вниз, странный для лайки шоколадный цвет псовины и совсем не пушистый хвост. Мало нам удавалось ходить с ним по лесу. В конце пребывания в Лёпуе все время хотелось спать, в глазах как песок, — все же мы за эти две недели добыли целый мешок дичи: пять зайцев, глухаря, остальное — тетерева и рябчики. Дядя Ваня сказал: «Подвесьте в сарае, в холодке ничего им не сделается, не лето».

Не задалась наша медвежья охота, вечер за вечером мы зябли на дощатых полатях, вознесенных над землей, а медведи либо выходили на соседнее поле, либо появлялись в конце обширного овсища и не подходили близко. Так вечер за вечером. Дошло до того, что к Ивану прибежал мальчишка, сказал ему: «Председатель велел на овсах груды жечь, ваши питерские охотники без последствий».

Все же встреча с медведем состоялась. На одну небольшую, наполовину убранную ниву ходил, судя по следу, крупный медведь; к сожалению, мы узнали об этом только в последние дни. Построили очередной лабаз, в ненастный вечер под моросящим дождем просидели до полной темноты. В намокших пудовых куртках сползли с лабаза и пошли к дому. Недалекий путь лежал через густой молодой ельник, где стало, если это было возможно, еще темнее. Дорога совершенно разбита, грязь по колено. Отошли от поля метров двести, слышим — навстречу шаги. Мы остановились. Ничего не видно. Шаги приближаются,

подходят вплотную. Понимаем, что это ОН идет на овес. Стоим недвижно. Он сделал два шага на обочину и стал. Слышно, как дышит, как струйками с его шерсти стекает вода. Я шепнул Виктору: «Зажги сразу несколько спичек, я приготовлюсь и выстрелю». Виктор: «Нельзя, Алеша, у меня семья». Постояли молча, пошли вперед. Не тронули его, и он нас не тронул.

На следующий день пошли посмотреть на место встречи. По следам увидели — все было так, как слышали: очень крупный медведь шел навстречу, свернул и встал на мох обочины. После нашего ухода вернулся на дорогу и пошел, как хотел, на овсяное поле.

Дядя Ваня довез нас до станции, притащил наш мешок с дичью. Ожидая поезда, мы легли на полу вокзала, что тогда казалось естественным, подложили под голову рюкзаки, а в них было по три бутылки хорошо закупоренного деревенского пива. В тепле они стали стрелять, пивная пена залила все вещи. Это было первое происшествие. Второе — по возвращении из похода, очень досадное. На квартире Виктора, на Моховой улице в Ленинграде, мы с гордостью внесли в комнату мешок с дичью. Торжествующе, взяв за углы мешка, вытряхнули добычу. На зеркальный паркет с легким шорохом посыпались груды червей — вернее, личинок. Дамы закричали: «Несите на помойку, скорее несите на помойку!» Дичь не испортилась, она не пахла, но ее, как говорят в деревне, «обсидели мухи».

Каким охотником был Виктор Петрович Конокотин? Очень обстоятельным, я бы сказал — дотошным. Собирался на охоту загодя и невероятно медленно, зато все, что содержалось в рюкзаке, было расфасовано, пронумеровано и переписано. Все, что могло промокнуть, — непременно в резиновой оболочке: спички, соль, сахар. Белье в отдельном пакете, чтобы не пачкалось. Одежда вся заранее пригнана, по нескольку раз отрепетирована, как сидит, например, портянка на ноге, крепко ли пришиты пуговицы. Маршрут охоты продуман, с собой выкопировка из большой карты, увеличенная, со всеми дорожками, просеками, болотцами. Таким он был и в жизни, чуть медлительным, но чрезвычайно обстоятельным, не очень любил шутки, не переносил скабрезных анекдотов. В нашей компании его очень скоро стали звать Петровичем: рядом часто бывал другой Виктор, Померанцев.

Все было в полной исправности у Петровича — вот только ружье огорчало. Получил ружье от тестя, Леонида Васильевича. Это была тяжеловатая тулка двенадцатого калибра, штучного разбора, с прекрасным боем, надежным для всех номеров дроби. Еще у первого хозяина от правого курка отлетел верхний хвостик. Все попытки его приварить, приделать на прежнее место не увенчались успехом. Виктор привык поднимать такой укороченный курок, но это был явный непорядок.

Когда я думал о педантичности, аккуратности моего друга, мысленно переносил его качества на других командиров Красной Армии, мне было приятно, как-то надежно, — ведь для военного дела, я понимал, очень важна такая расчетливость и предусмотрительность.

Держать собаку ему было трудно. И все же, когда жизнь стабилизировалась, он завел черную лайку Мамая, сына Турахи Фрейберга. Как полагается, взял тридцатидневным щенком и сразу влюбился. Мог бесконечно рассказывать, каким замечательным псом вырос Мамай. Только послушать, как эта потрясающая собака отлично лает белку и куницу, геройски задавила, нырнув в воду, норку, можно добыть из-под нее даже зайца, если подождать на месте подъема, Мамай, правда, бросит, уйдет в сторону, однако заяц сам завершит круг. Да что зайцы! Даже на открытом болоте можно взять, как из-под легавой, дупеля: надо держать собаку близко перед собой и смотреть, когда Мамаев хвост, круглая баранка, лежащая на спине, начнет ерзать: внимание! — впереди дупель.

Виктор был сильно занят — учился и работал; по зимам мы мало с ним виделись, мало охотились, но лето почти каждый год проводили вместе. Хорошо запомнилось лето 1938 года на Селигере. Четыре семьи, в их числе Конокотины, и, как всегда, с нами Митя Тищенко, — мы жили в рыбацкой деревушке Заплавье. Арендовали у местных жителей парусные шлюпки и по два, а то и по три раза в неделю выходили в озера и

пропадали там день, два, ночевали на островах или берегах чудесного озера. Ходили за Осташков, к верховью Волги, по речке Полоновке в Полоновское плесо. А когда пришло охотничье время, с утра в лесу с легавыми собаками, днем стреляем уток по ерикам — протокам озера — с подхода или со шлюпки, к концу дня — выход на утиные зорьки.

Не сосчитать, сколько дней и ночей мы с Виктором провели на охоте. Но забавно, что, как начнешь вспоминать, в голову приходит — может быть, только в мою голову? — не обычное, благополучное: «Походили, увидели, стреляли, добыли, усталые, но довольные, вернулись домой», а вспоминается какая-нибудь несуразица.

Вот, например, охота на лосей. Я получил приглашение из охотхозяйства Лесотехнической академии и пригласил с собой Петровича. Он с удовольствием принял приглашение, тем более что с мясом тогда в городе было плохо. После двух или трех неудачных загонов прямо на Виктора вышел лось. Стрелять разрешено было только быка, лосихи запрещены. Было это дело в конце декабря, когда большинство лосей уже сбросило рога. На Петровича вышел безрогий, пересек линию без выстрела. Виктор объяснял: «Понимаешь, он близко подошел, даже показалось, что вижу округлое место от сброшенного рога. Уверенности не было — не хотел тебя подвести, я же твой гость! Не мог». Милый, ответственный мой друг, он не догадывался, что ошибкой все были бы довольны, — так сложились обстоятельства и всё тут.

После охоты нам нужно было попасть к поезду на станцию Тосно. Отдохнули в Охотничьем дворце. Транспорта никакого не оказалось, надо пешочком двадцать километров. Уезжали мы из города в большой мороз в валенках. А тут с утра пошла резкая оттепель, подуло с юга как из печки, и снег на глазах стал оседать и таять. В лесу это не представило большого неудобства, но когда мы вышли из дворца на шоссе, ахнули и переглянулись: все полотно дороги — снежно-водяная каша. Валенки мгновенно промокли. Усталые еще на охоте, с превеликим трудом мы передвигали пудовые замерзшие ноги — и так двадцать километров! Это запомнилось…

Измученные, холодные, мы ввалились в маленький станционный буфет. Спасибо буфетчице: она по нашему заказу налила нам по стакану черносмородиновой наливки — в жизни ничего не пил вкуснее — и слова не сказала, когда мы разулись, в углу над ведром отжали портянки, валенки прислонили к горячей печке и в сменных шерстяных носках, сидя за столиком, ожидали поезда. Блаженство! И это запомнилось.

Переменив квалификацию, из воздухоплавателя став летчиком, Виктор Петрович уехал в часть в Кречевицы (под Новгород). Закончил академию и за образцовую службу был переведен в Москву. Там он быстро пошел в гору по служебной линии. Защитил диссертацию, преподавал в Академии имени Жуковского, позже — получил кафедру тактики ВВС в Академии Генштаба. Я жил в Ленинграде, виделись мы редко, охотиться вместе не приходилось. Один только раз он угостил меня охотой на глухарином току под Москвой в угодьях Военно-охотничьего общества.

Вышел и спокойно перешел линию стрелков.

В угодьях Военно-охотничьего общества.

Перед самой войной Конокотины жили хорошо. Я никогда не спрашивал Виктора о его служебных делах, в те годы это было совсем не принято. По некоторым сведениям (за достоверность их не ручаюсь), по приказу Сталина нескольких крупных военачальников-педагогов жестко уединили на три месяца где-то

под Москвой: они писали Устав Красной Армии. В их числе был и Конокотин. За эту работу он получил порядочную сумму денег.

Когда мне приходилось бывать в командировках в Москве, я останавливался у Конокотиных, жил как дома, любовался ладом и достатком семьи. Хорошо помнятся совсем для меня новые обильные застолицы. У Конокотиных умели угостить своедельным, а тут еще хороший паек: икорка, севрюжка и ставшая популярной, даже рекламируемая, водка.

Маша, жена Петровича, много работала: преподавала английский язык курсантам — в частности, группе испанцев (только что кончилась война в Испании). Ее ближайшей подругой была Любовь Ефимовна Левина-Аржанухина, крупный партийный работник и интереснейший человек. Когда бы я ни приехал, Любаша всегда там, у Конокотиных. Однажды я приехал к Конокотиным, был какой-то праздник. Мы сидели за большим столом, между мной и Виктором было свободное место, явно для кого-то оставленное. Спросил — Петрович сказал: «Это для Феди, он на приеме». Муж Любаши, летчик Федор Константинович Аржанухин, отлично воевал в Испании; когда вернулся — поднялся, взлетел по служебной лестнице: был назначен начальником штаба Военно-Воздушных Сил Советского Союза. В этот памятный день — вернее, вечер, потому что Федор приехал в первом часу ночи, — он весело присел к столу, выпил и рассказал, что только что на банкете Сталин дважды поднимал бокал «за нашего Федора Константиновича Аржанухина», а ему было очень неловко: надо было встать и у всех на глазах подойти и чокаться с Иосифом Виссарионовичем. Петрович ухмыльнулся невесело: «Гляди, Федя, два-то раза, может быть, и лишнее».

Все это дело кончилось печально. Вскоре Аржанухин был смещен и переведен начальником Монинской академии, а в начале сорок первого года арестован и расстрелян. Любовь Ефимовну сослали в лагерь в Среднюю Азию. Там она пробыла много лет. За это время геройски погиб ее сын, заброшенный в тыл врага. Много позже конца войны я присутствовал при разговоре Маши с Любашей, тогда она уже была реабилитирована, вернулась в Москву, получила квартиру и довольно большие деньги, как бы в компенсацию. Говорила Маше: «Знаешь, мне не хотелось эти деньги брать, точно я Федю предала».

Тогда же осторожный и сдержанный Петрович сказал мне: «Все, что случилось с Федей, не удивительно для того тяжелого времени и характерно для Сталина; впрочем, есть еще и другая причина. Федор — летчик-ас, к тому же отчаянно храбрый, — его надо было повысить, скажем, на одну-две ступени, но не до начальника штаба ВВС».

Генерал-майор

Виктор Петрович и Мария Леонидовна на озере Городно.

Я еще раз вспомнил слова Виктора, когда читал «Живые и мертвые» К. Симонова и смотрел фильм, поставленный по этому роману, — помните трагедию и смерть крупного командира, которого сбили в первые дни войны?

Во время войны Виктор Петрович продолжал работать в Академии, иногда выезжал на фронт, довольно длительное время был под Москвой, где в особом лагере «приводил в порядок» офицеров из разбитых частей, испуганных, деморализованных.

В 1946 году Виктор Петрович получил звание генерал-майора и еще через некоторое время вышел в отставку. Жил в Москве. Каждое лето они с Машей надолго, с весны до первого снега, уезжали в те же самые Домовичи, что и многие мои друзья и родственники, где жил и живу я сам. Конокотины оба увлекались рыбной ловлей. Петрович и тут делал все основательно: каждый окунь был взвешен, зарегистрирован в особом журнале, озерные глубины были промерены и нанесены на карту.

Он умер спокойно в своей квартире в Москве. Маша умерла немного раньше.

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Николай Николаевич Семенов — мой отчим. Мама ушла к нему. Я его невзлюбил — и это понятно. Подростку было трудно пережить такое: как она могла бросить моего отца? Мы, дети, его очень любили.

Хочешь не хочешь — встречаться приходилось. Постепенно выяснилось: Николай Николаевич — человек добрый, приветливый, любит маму, ласков с уехавшей вместе с ней младшей сестренкой, с отцом ведет длительные дружеские разговоры, везде говорит, что Алексей Васильевич — умнейший человек и замечательный — прямо кудесник! — врач.

После смерти матери сестра вернулась к нам в дом, а с Николаем Николаевичем у меня сохранились отличные, даже дружеские отношения, вскоре укрепленные совместными охотами. О них я и буду рассказывать.

Оказалось, что Николай Николаевич охотник. Но — боже мой! — какой: утятник, пострелявший немного на полусухих саратовских прудиках и озеришках лысух и кряковых. Ни малейшего представления о гончих, об охоте с легавой со стойкой (у них там легавые только уток из воды таскают). И что совсем плохо — трудно даже представить! — никогда не бывал на глухарином току. Я почувствовал неизмеримое превосходство и в вопросах охоты принял менторский тон.

Николай Николаевич в те годы работал невероятно много и самозабвенно. Я был студентом университета, занимал конурку на третьем этаже дворца Меншикова на Васильевском острове, ходил на лекции, варил себе гречневую кашу в голландской печке. Это была основная пища, ибо обед в студенческой столовой не насыщал, а на два обеда не хватало денег.

Николай Николаевич жил в районе Лесного, в профессорском доме при Политехническом институте. Частенько приезжал в центр города, прокручивая городские дела; вечером ухаживал за моими двоюродными сестрами Ниной и Наташей одновременно и оставался у меня ночевать. С удовольствием ел кашу, спал на моей кровати (я на приставных стульях), рассказывал о своих делах. Говорил с подъемом, страстно о невероятно, фантастически интересных и перспективных достижениях физики. И была у него в те годы — может быть, и позже, не знаю — миссионерская манера всех перекрещивать в свою научную веру: признак, характерный для увлекающихся своим делом людей. Я имел неосторожность рассказать, что занял первое место на конкурсе физического кружка, и с тех пор он удвоил напор вербовочных разговоров. Правда, пока дело сводилось к моему переходу с биологического факультета на физико-математический. Он говорил: «Разве можно сравнивать!» Кто мог подумать, что уже зрелым, сложившимся ученым он так увлечется биологией.

Разговаривали мы по русско-интеллигентскому обычаю долго, куда как за полночь. После научно-физического раунда начинался разговор об охоте, о планах на будущее; он, неутомимый и прирожденный организатор, решил — как можно скорее, ни в коем случае не откладывая, начинать прямо завтра! — организовать небольшую базу на Ладожском озере (остаток его утятничества), где будут рульмоторы, швертботы, подъездные челны, собаки, подсадные утки. Третий раунд — осторожное выспрашивание у меня о Нине и Наташе. Здесь уже организовывалась его собственная жизнь и конкретные предложения не высказывались, скорее ожидался совет от меня. А что я мог сказать? Только воспользоваться чужим, вспомнить французскую песенку:

Les amours sont fragiles,
Helas, el les sont vides,
Comme des joujous des petits enfants.
It ne faut pas regarder ce qui
est dedans.
[5]

Памятна мне первая совместная охота. Охота — слово здесь весьма условное: в зимние каникулы мы больше недели прожили на даче моего отца неподалеку от Петрограда, на берегу Финского залива. Мы — это Николай Николаевич, зачинщик и организатор; два его ученика: крупный, молчаливый Виктор Кондратьев, спокойно поглядывающий глазами, увеличенными очками, и маленький, солнечно-веселый Люся Харитон, каждую минуту готовый в ответ на удачную шутку залиться смехом или подойти к пианино и, не присаживаясь, загреметь фокстротом; две мои двоюродные сестры: худощавая, высокая блондинка Наташа Бурцева, студентка университета, обладательница прекрасного голоса, к тому же великолепно играющая на рояле, и Нина Седельницкая, темноволосая красивая девушка, молодой филолог, отличная лыжница; мой брат Юрий, дипломант Сельскохозяйственного института, поэт и единственный из нас женатик, и я, первокурсник университета.

Лебяжье — чудесное место! — небольшая рыбацкая деревушка у мелководного берега, стоящая, если не считать маленького клочка обрабатываемой земли, в огромном сосново-еловом лесу. Дом моего отца-одноэтажный, четырехкомнатный, на берегу речки, рядом с яблоневым садом. Что касается нашего времяпрепровождения, можно привести сочиненную нами тогда частушку:

В Лебяжьем жизнь веселая,
Привольное житье,
Там лыжное катание
И крепкое питье.

Встаем не очень рано мы —
Часочка в два иль три,
Наташино сопрано
Нас будит до зари.

В окрестностях Лебяжьего. Черная Речка. 1910 г.

Здесь все достоверно, кроме фигурального крепкого питья. В те годы вино не очень употребляли и доставали с трудом. Скорее всего, дело шло о двух бутылках портвейна за все время.

Плохо было с охотой, но это никого не удручало. Мы жили в теплом доме весело, дружно. Короткие зимние дни проводили на лыжах. Лыжи в те годы были невероятно длинные, палки толщенные, бамбуковые. Вечером, как это водится, без конца спорили на самые различные темы, очень много — все наперебой — декламировали стихи: Блок, Ахматова, Кузмин, Шершеневич, Бальмонт, Брюсов. Отдыхая, слушали музыку — отлично играла и пела Наташа.

Как хорошо, как тепло вспоминаются зимние уютные вечера в лебяженском доме!

После серьезной музыки и настоящих стихов публика требует частушек. Частушки немудрящие. Нам они нравились, сочинялись тут же. Сегодня днем катались на крутом лесистом склоне в сторону старого кирпичного завода; горка крутая, снег рыхлый, лыжники так себе, а кое-кто и вовсе не мастер… Наташа у пианино, запевает с Юрием:

Глава приезжих физиков —
Пропеллер-человек,
Зимою ищет рыжиков,
Зарывшись носом в снег.

«Пропеллер-человек… зарывшись носом в снег» — не очень-то уважительно!

А Харитон наш маленький —
Турист он хоть куда:
Надел по горло валенки
И падает всегда.

И верно, невероятного размера валенки достал где-то для этой поездки Юлий Борисович Харитон.

А Виктор Николаевич
С душою удалой

Летает ясным соколом
Над елкой молодой.

Непростой характер у Виктора Николаевича Кондратьева. Сейчас в Лебяжьем — на лыжах, может быть, и впервые — усваивает это дело практически и бесстрашно, не глядя вниз: все скатываются, почему же ему мерзнуть наверху — а там что будет, то будет.

Устав от стихов, вскакивал Харитон, неистово гремел на пианино фокстрот:

Мы только негры, мы только негры —
Мы вам волнуем кровь.
Дайте нам кольца, дайте ожерелья —
Мы вам дадим любовь.

Танцевали все с увлечением и всяческие танцы.

Конечно, в компании, где две прелестные девушки и пятеро молодых мужчин, витал — неярко выраженный, но все же несомненный — мальчик с луком и стрелами. Правда, из его мишеней двое исключались: женатый Юрий и я. Тетушки наши озабоченно и лукаво говорили: «Кузинаж данжере вуазинаж»,

[6] — они почти не ошиблись: я был влюблен в третью кузину.

Мы все двоились понемногу…
Какая странная картина: —
Пол-Харитона пляшет с Ниной,
А половина не тужит —
Наташе голову кружит.
……
Увы! Сердца волшебниц сих,
Как пироги, обманут их.

Пироги, действительно, девочки так и не собрались спечь, хоть обещали…

Боже, как давно это было и как памятно!

На охоту было мало надежды. Зайцы поблизости водились, но у нас не было гончей. Морозы стояли крепкие. Снег *а*в тот год были богатые и без осадки, везде сугробы, молодые ельники и березняки — белые стены.

Мы отправились в первую же порошу, оставив дома девочек готовить обед и неохотника Люсю Харитона, который и на отдыхе выкраивал время для работы над каким-то теоретическим вопросом физики: листочки, испещренные формулами, встречались даже на подоконниках.

Руководил охотой, как это ни странно, я, самый младший.

Зеленая морозная зорька — градусов не меньше двадцати — перешла в ясный день. Невысокое солнце сумело ослепительно зажечь снега. Поскрипывали лыжные ремни, индевели брови и шарфы. Вошли в лес. Он старый, высокоствольный, еловый, с небольшой примесью вековечных сосен. Им много за сто: чешуя в нижней части ствола овальная, розовая. Красивый лес, дремучий, и стволы деревьев — как колонны неведомых древних зданий. Все притихли.

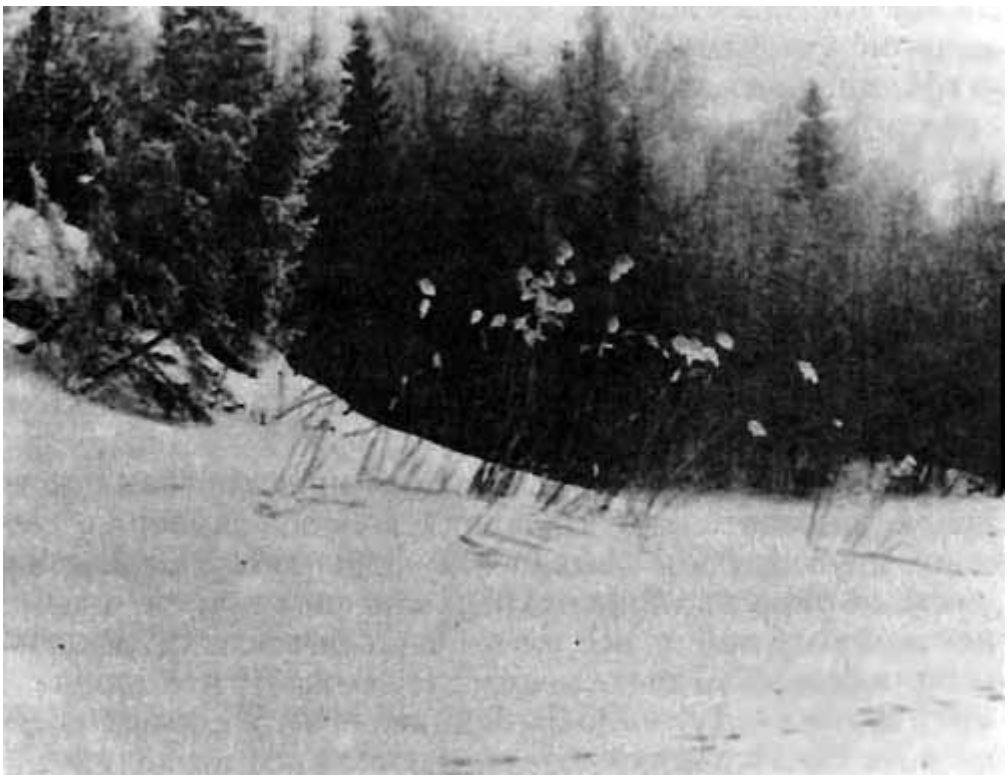
Мне не до красот природы. Знаю, что в таком лесу заяц держаться не любит, веду на Ванькино поле — небольшой покос вдоль Казанцева ручья. Только подошли туда — малик, четкий, свежий, ночной, — жиры. Попросил обождать, обошел большим кругом — выхода нет. Расставил людей вдоль просеки, что

поперек ручья, и сам стал. Юрия послал пошуметь, поднять. Не надеялся на успех. Так и оказалось: беляк прошел между Николаем Николаевичем и мной без выстрела, мелькнув черными кончиками ушей над сугробами.

Вышел на просеку Юрий как в белом халате — столько снега нахватал на куртку. Решили взять зайца гоном. Я вместо гончей. Стрелки расположились полукругом у лежки, а я, подняв воротник и затянув капюшон, прикрыв карманы, пошел следом, изредка вскрикивая, и, чтобы было совсем похоже на гон, взлаивал: «Ау! Ау! Ау!» Расчет был, что беляк, хоть не так точно, как это водится у русаков, все же на лежку выйдет. След был четкий, я надеялся его не потерять, даже если по пути встретится малик другого косого.

Первый круг заяц сделал совсем маленький, вокруг Ванькина поля, и — вот незадача! — подшумели его у самой лежки: кто-то не успел еще угомониться на лазу, шевелился, отаптываясь, или просто еще ходил, выбирал место. Как ни прост косой, но затревожился и кинулся назад почти своим следом. Я шел по спокойным прыжкам в сторону лежки, не понимая, почему нет выстрела, заметил встречный гонный след — сообразил, в чем дело, досадливо чертыхнулся и повернул вдогон: «Ау! Ау! Ау!»

Кажется, такое простое дело идти по следу, если пороша четкая, чуть не печатная, — на деле не так. Подшумленный беляк ушел напрямую не меньше чем на километр, спустился в тальниковую низинку и попал на жиры другого зайца; он уже не мчался длинными тонными прыжками, а шел обычно, и различить на рыхлом снегу его след от следа другого зайца было не так-то просто: везде двойки, скидки, даже тропы. Попробуй разберись! К тому же пригнутые снегом ветки ивняка как белые дуги-шлагбаумы преграждают путь. Зайцу в самый раз, а мне — ползком. Жарко! Лыжи закапываются глубоко, прямо проваливаются в какую-то бездну, ноги вырываются из креплений. Долго, долго я возился в проклятой низине и, наконец, с торжеством, уверенный, что не сменил след и гоню своего зверя, выбрался в высокоствольный лес. Малик потянулся приблизительно в сторону лежки. Тут только сообразил, что мои стрелки, недвижные на номерах, наверно, замерзли, — но что поделать? Бросить нельзя. Вдруг кто-нибудь упрямый, надежный мерзнет, а я брошу? Не может такого быть — позор! «Ау! Ау! Ау!» И опять скрипят лыжи, и тянется, тянется след… Чтоб он пропал, этот зайчишка, — в какую задутую гущару опять правит!



След был четкий, я надеялся его не потерять.

Гнал я этого беляка, наверно, еще час полный. Солнце село. На спине у меня ледяная корка, самому еще жарко, а пальцы в мокрых рукавицах подмерзают… и совершенно потерял ориентировку. Где Ванькино поле? Да что там — не представляю, где север. Молчаливая лесная чаща, ниточка следа — и больше ничего.

И надо же так случиться: рядом, совсем рядом грянул выстрел. Я окликнул, кто-то ответил. Через минуту подошел к Виктору Николаевичу и поздравил: в руке он держал большого беляка. Лицо у охотника радостное — губы синие. Все же выговорил, что будто Юрий уговорил Николая Николаевича уходить: «Раз гона давно не слышно — Лешка, конечно, бросил, только обошелся и не может нас найти». Виктор Николаевич решил стоять: он человек упрямый, настоящий охотник и в меня верил.

Вечером в рассказах о наших приключениях этот вопрос окончательно затуманился — оба беглеца упрекали друг друга в нетерпении. Николай Николаевич, узнав об упорстве Виктора Николаевича и моем, о дальнейшем ходе зайца, все же вышедшем на лежку, сказал свое любимое: «Знаете — это здорово!» Потом добавил: «Это не охота. Тут надо быть индейцем». Я его оправдывал: он единственный был в сапогах, все остальные — в валенках.

Зайца разделывать пришлось мне. Жарили сообща наши дамы. Хвостик — белая пуховочка для пудры — по жребию достался Нине.

Юрий уехал сдавать экзамен. В его отсутствие возвратился к нам бог охоты.

Перед самым отъездом мы, трое охотников, по хорошей перенове довольно рано вышли из дома. Идея — поохотиться на русаков. Виктор Николаевич, имевший некоторый опыт тропления в приволжских краях, отделился и пошел по лебяженским полям. Я повел Николая Николаевича на риголовские поля. Не доходя до деревни, заметил на краю дороги яркую, как снежная звезда, скидку крупного русака. Сговорились — я троплю, строго придерживаясь малика, Николай Николаевич пойдет сбоку, зорко

поглядывая вперед, только вперед.

По прежним охотам я знал, что тамошние русаки ложатся либо в широких зарослях можжевельника, начиная от дачи Лавровых, либо на море в торосах. Наш русак явно выбрал второе. Недолго покрутился в полях у Новой Красной Горки, пересек шоссе и вышел на берег залива. Николай Николаевич удивился: «Заяц пошел в море?» Я только ухмыльнулся — знал эту повадку и был несколько озабочен: ходить по торосам трудно, и легко прозевать соскочившего. След протянулся по открытому склону берега и скрылся во льдах.

Жаркие, потные, скинув рукавицами снег, мы присели передохнуть на киль опрокинутой лодки, огляделись. Вид изумительный. Широкий простор: противоположный финский берег — сине-черная полоска. Далеко направо в дымке нечеткий силуэт Кронштадта. Прямо перед нами на горизонте из белизны торчит светлый столбик Толбухина маяка. Слева над кручей берега — серые кубики Старой Красной Горки. Вблизи — хаос заторосившегося льда. Его глыбы покрыты шапками снега, по бокам они гладкие, зеленовато-голубые, блестят на солнце.

Николай Николаевич сказал любимое: «Знаете, это здорово!»

Отдохнули, сняли скрипучие, громкие лыжи, осторожно пошли. По-прежнему я разбирал малик, мой спутник шел сбоку, глядя вперед.

Повезло. Морозный день безветрен, поземки, почти неизбежной на открытых местах, не было, четкий след прямо сверкал на неглубокой пороше.

Заяц услышал наши осторожные скрипучие шаги издалека. Услышал, немного повременил и соскочил на выстреле, однако довольно дальнем. В стороне и чуть позади нас свечой выбросился русак и, прижав уши, заструился рыжей спиной между льдин.

Николай Николаевич сдернул зубами рукавицу, в горячке заложил в скобу оба пальца, бахнул из двух стволов разом, изрядно обзадив. Роем огненных пчел вспыхнули на солнце осколочки льда.

У меня задумано было стрелять вторым — из хозяйской вежливости или при надобности подкрепить. Поворачиваясь, поскользнулся, упал на колени, безнадежно выстрелил, привстал, спокойно нахватил зайца и с досадой услышал звонкий щелчок осечки. В те годы беда с этим была: пистоны жевело еще не появились, жесткий латунный центробой подводил частенько.

Русак разом отдалел. Мы стояли молча, провожали взглядами. Он катил по открытому, весело сдваивал, подкидывая куцый зад, иногда столбиком присаживался, оглядывался. Перескочил дорогу между двумя санными подводами, и возчики показывали на него кнутами.

— Пойдемте догоним, — еще не остыв, предложил Николай Николаевич.

— Безнадежно.

— После выстрелов не ляжет?

— Нет, почему? Ляжет, не так скоро, но ляжет. Я даже примерно знаю где — в можжевельниках у Риголова.

— Почему безнадежно?

— Не подойти: морозно, тихо, и потревоженный — соскочит и не увидишь.

Холодно было моему спутнику в кожаных сапогах. Решили на сегодня охоту закончить. От моря к дороге шли полем. На ребристых надувах лыжи деревянно скрипели и стучали, не оставляя следа, у кустов и канав разом глубоко проваливались, выворачивая толстые сахарные пластины. На дороге мы взяли лыжи на плечи.

По накатанному большаку бойко тащили узкие сани невысокие лошаденки — темно-рыжие шведки с белесыми гривами и хвостами. На возах заиндевелые мужики. Туго подпоясаны овчинные шубы, кожаные наушники финских шапок опущены, шеи обмотаны пестрыми толстыми шарфами так высоко, что видны только глаза и трубки. На спуске от Красной Горы возчики соскакивают с передков, неуклюже перебирая валенками в галошах, догоняют, ставят ноги на концы полозьев, хватают руками продолженные назад обводья, не давая саням завалиться на разъезженных ухабах, — мчатся под гору.

Мы пропускаем их, отойдя в глубокий снег на обочине. Лошади, как маленькие змеи-горынычи, выбрасывают из ноздрей пар. В колком воздухе резко чувствуются запахи: рыбы, сена и конского пота. Разноголосо повизгивают полозья. Уже внизу, на ровном, возчик приостановил лошадь, попросил спичку. Я щегольнул знанием финского, точнее, чухонского языка, знакомого всем прибрежным мальчишкам:

— Терве! Откуда, отец?

— Гарколово, корюшка.

— Рамбов?

— Рямо Питер.

По дороге Николай Николаевич заставил меня во всех подробностях рассказать, что за люди эти приморские чухны, как они выезжают на санях ловить подо льдом корюшку и салаку, как рассыпают рыбу по снегу на полях у деревень, мороженую собирают в мешки и везут на продажу за сотню километров, какой у них интересный, чистый, правильный быт, огневые лошадки и тягучие, очень ритмичные песни.

Трудно было жить в те годы моему бывшему отчиму — он хотел, страстно хотел одновременно: разрешить несколько важных проблем физики, охотиться вот так, как сегодня, на гуменников-русаков и непременно завести такую чудесную лошадку-шведку.

Когда мы, оскальзываясь мерзлой обувью, прогремели в прихожей дома лыжами и палками, перед входной дверью Николай Николаевич задержался, обернулся ко мне:

— Леша! Знаете, никогда не думал, что зимние русаки такие красивые. Он показался мне ярким, пестрым.

Так кончилась наша первая совместная зимняя охота.

Вскоре Николай Николаевич женился на Наташе Бурцевой, моей двоюродной сестре.

Море, лес и яблоки. Так странно вспоминаются мне осенние охоты с Николаем Николаевичем в Лебяжьем в 1927 году.

Продутая ветром липовая аллея над речкой, деревянный гулкий мост. Он кажется низеньким — подогнал к нему воду западный ветер. У берега залива постоянный прибой, то сердитый, белогривый, то потише, — и копится, копится вал выброшенной на берег зеленой тины. Тина сохнет, и из нее проступают ребра ломаных кронштадтских корзин. В таких носят на корабли уголь, отслужившие бросают в море — далеко ли до нас плыть. Чист прибрежный рифленый песок, задуты, присыпаны следы летнего дачничества.

Обран яблоневый сад. Если очень настойчиво поискать, можно найти среди прозрачных уже вершин последние яблоки. Они ст
*о*ят того, чтобы вскарабкаться высоко-высоко, потянуться и достать, — сладкие, налитые.

Безлюдны улицы, много домов с заколоченными на зиму окнами. В отцовском доме пусто, должно бы нежилым пахнуть, но стоит сильный приятный запах: в средней комнате гора яблок и укрытая клеенкой

медогонка. Куда бы мы ни шли, берем полные карманы чудесных яблок: штрифель, антоновка, полосатое…

Мы приезжаем из Ленинграда с вечера, ночуем и до света выходим на охоту.

Кто это «мы»? Николай Николаевич, брат его жены Саша Бурцев и я. У нас две лайки. Ружья разные. У меня бескурковка 12-го калибра «Веблей и Скотт», у Николая Николаевича курковая бельгийка с дамасковыми стволами — видимо, побывавшая, как тогда выражались, в «земельном банке», — настолько сверху поржавевшая, что на планке фирму прочесть невозможно. У Саши берданка 20-го калибра.

Лайки отличные. Мой черно-белый сердитый Ошкуй и Юрия Хессу, волчьей масти, чуть желтей. Брат в экспедиции, обе собаки — у меня.

Сегодня трудно представить, как мы были экипированы. Обычная поношенная одежда, фуражка и — мало подходящие для леса старые, изношенные ботинки, по-петербургски называемые сапогами. Привычные, они никогда не натирали ноги, но даже и не пытались сопротивляться влаге лесов, ручьев, болот.

Мы пришли на Риголовские покосы (небольшие полянки в лесу, недалеко от деревни Риголово) на первом свету. Белый полог тумана. Собаки шныряли совершенно самостоятельно и, по-видимому, далеко, когда я услыхал рябчика. Невидимый, он пел близко. Чистый, протяжный свист с переливистым окончанием повторял раз за разом.

Я вытащил пищики: покупной медный, с грубоватым и сильным голосом (это для ветреной погоды), и заветный, не раз проверенный — изделие и подарок моего дядюшки Фрейберга, — сделанный из лисьей косточки. Оба висели на сыромятных ремешках за пазухой, чтобы всегда были теплыми.

После некоторого раздумья поднес к губам костяной и подал голос самки. Через немного времени, не торопясь, слушая настойчивого петушка, повторил призыв. Зашумели крылья, и прямо перед нами на голом березовом суку оказался рябчик. Огромный, с глухаря — так всегда кажется в тумане, — он, подняв хохолок и вытянув шею, слушал. Николай Николаевич выстрелил мгновенно, — мне показалось, даже не дотянув приклад до плеча. Рябчик исчез, слышался удаляющийся шорох крыльев.

— Как я мог промазать! Рядом был, в руках!

— Именно потому и промахнулись, *ом*; и хорошо — если бы точно выцелили, ничего бы от птицы не осталось.

— Верно! Значит, все хорошо, только досадно.

Медленно расходился туман и, уходя, цеплялся за вершины деревьев, особенно хвойных. Вставало солнце. Далеко-далеко послышался лай собак. На одном месте, звонко, будто льдинки сталкивались. Мы переглянулись. По лаю определил, что собаки посадили глухаря.

Подходили осторожно, с разных сторон. Я беспокоился, что мои спутники не разглядят сквозь хвою петуха, — хоть и большой, а уж так умеет сесть, укрыться. Оказалось, опасения ни к чему и случай безнадежный. Мошник был на вырубке, сидел на верхушке одинокой семенной сосны, как флюгер на шпиле. Он то высоко задирал голову, осторожно озираясь, то, согнув шею, разглядывал собак, изредка скиркая. Хеска и Ошка, задрав морды, напрягая и опуская уши, азартно лаяли и бегали вокруг дерева. Легкий парок вырывался из их пастей, эхо перекатывалось по лиственным опушкам.

Прячась за стволами, неподалеку друг от друга мы любовались на чудесную картину. Подойти по открытому невозможно. Николай Николаевич вопросительно поднял ружье в сторону глухаря. Я покачал рукой, он кивнул: понял. Долго мы так стояли, любовались, вдруг мошник — то ли ему надоело, то ли заметил неладное — сорвался и потянул через выруб.

К вечеру мы, ничего не добыв, вышли к станции. Дождались поезда. Он подошел — пыхтящий, маленький: два товарных, два пассажирских вагона. Подкинув на высокие, крутые ступеньки собак, мы забрались в темный вагон четвертого класса. Перед отправлением поезда появился кондуктор, поставил и зажег свечу — одну на два отсека вагона — и ушел. Тусклый огонек высветил пустые скамейки — мы одни. Поезд загрохотал, рванулся, скрипя и стуча всеми суставами, потащил нас со скоростью двадцати верст в час до станции Спасательная, где предстояла пересадка на ленинградский поезд.

Николай Николаевич на охоте был неразговорчив — очень увлечен, на таборе — спал, а в поезде разговорился…

Мои дневниковые записи весьма подробны, но касаются больше вопросов охотничьих: компании, времени, места, собак, результатов охоты и в меньшей степени любых отвлеченностей. Однако, напрягая память с помощью небольших намеков, зная, чем жил собеседник, его характер и привычки, я могу с той или иной точностью восстановить и темы разговоров.

Николай Николаевич, конечно, начал с того, что хорошо бы ему завести лайку, ходить по глухарям и — страшно интересно (это он с моих слов) за медведем и рысью, не по белке и мелкому пушняку (скажем, кунице или норке), — это уже не спорт, а промысел и постоянное неприятное шкуродерство. Дальше разговор шел о недавно опубликованном известии об экспедиции Обручева. «Удивительная страна! — восхищался и радовался Николай Николаевич. — Это надо же, в наше время обнаружить, найти целый хребет! В длину и ширину больше Кавказа, высоты три тысячи». И тут свое излюбленное: «Знаете, это здорово!»

Дальше все, что он говорил, можно было подвести под рубрику этого восклицания. Он взволнованно рассказывал, как строился и строится Физико-технический институт, как разоренная, по существу нищая, страна невероятно щедро откликается на призыв Абрама Федоровича Иоффе, дает даже валюту.

Николай Николаевич хорошо это знал: он несколько лет, продолжая заниматься наукой, был вроде заместителя директора по хозяйственной части института, с невероятной энергией и весьма удачно доставал откуда только мог приборы, оборудование, всяческие материалы — от электрокабеля до царской мебели из Зимнего дворца.

В те годы отношение ученых к новой власти колебалось от полного приятия до скрытой враждебности среди меньшинства при неопределенной позиции большинства. Последнее я бы назвал настороженным выжиданием.

А Николай Николаевич? Преодолев несколько жизненных барьеров, он еще молодым человеком решительно и бесповоротно перешел на сторону Советской власти, шел по этому пути без колебаний, что вполне логично привело его в партию. Все это несмотря на то, что семья, офицерская среда (во время войны с Германией его как студента мобилизовали в военное училище), казалось, могли бы привести в ряды противоборствующих.

Прекрасные осенние деньки 1927 года. У нас в Ленинграде образовалась большая охотничья компания. Основа — мы с братом Юрием и наши собаки: лайки Хессу и Ошка, русские гончие Доннер и Султан, позже — осенистый уже арлекин Попка. Ездили из города в разные места, чаще всего доезжали поездом до Лебяжьего, а там пешком четырнадцать километров по очень грязной дороге до Тентелева, маленькой чухонской деревнюшки на самом берегу прозрачного и быстрого Коваша.

Хорошо запомнилась одна охота в середине октября, когда произошел любопытный случай. Шли с поезда Юрий, Николай Николаевич, Щербинский (муж моей двоюродной сестры) и я. На поводках лайки и пара русских гончих, купленных задешево у деревенского охотника далеко от города. Отец мой называл их

прогончими. Ирония приставки заключалась в том, что они, подняв зайца, очень скоро теряли его и возвращались назад. С такими собаками нам иногда удавалось добыть прибылого беляка на подъеме или на первом кругу, старые же благополучно отделывались от наших гонцов, уходя напрямую или в крепкие места, русаки и вовсе были несбыточной мечтой.

Уже в сумерках на вырубке из молодого частого осинника выбежала к нам на дорогу гончая собака и приветливо замахала гоном-хвостом. Все попытки прогнать ее ни к чему не привели, даже выломанный на обочине грозный прут. Пес упорно плелся позади, соблюдая безопасную дистанцию. В дом мы его не пустили, надеясь, что ночью уйдет.

Утром, когда мы кормили на крыльце собак, из-под стога, потягиваясь и радостно приветствуя всех, вылез крупный, ладный выжлец: пестрая мраморная рубашка, один глаз карий, другой мутно-голубой — арлекин. В те годы их было немало.

— Дайте ему поесть, — сказал Щербинский, — мы делали все, что полагается: гнали, ругали, били, но голодом морить — свинство. Поди сюда, песик. Как тебя? Арлекин? Арля! Арля.

Хитрость прозрачная — Щербинский трезво оценивал наших собак, ему хотелось попробовать новую: вдруг она лучше?

Охота шла по нешироким полям вдоль Коваша. Гончие рыскали в опушке.

Не подпустив на выстрел, из клочка некоей у камня выскочил русак. Подкидывая куцый зад, он мчался так, будто под лапами у него была не вязкая глина, а твердая дорога. Собаки помкнули по зрячему. Гон пошел кустами вниз по реке.

— Ну и русачище, — сказал брат, — как осел, и ушами поводит. Такого не вернуть.

Собаки сошли со слуха, а через полчаса наши «прогончие» уже вывалили из кустов.

— А где Арлекин?

— Как попал, так и пропал, — рассмеялся брат, — нас не боялся, а гона не перенес.

Мы с Юрием сидели на камне, от которого выскочил русак. Рядом улеглись гончие. Султан недовольно выкусывал присохшую между пальцами грязь. Николай Николаевич пошел к речке, Щербинский покуривал у края кустов.

Доннер резко поднял голову и уши, прислушался.

— Что это? — удивился брат. — Слыхал?

— Слышал, но понять не могу: гон не гон, звон не звон. Будто собака пролаяла далеко и коротко.

Через несколько минут в кустах перед полем раздался короткий гон — обрывок какой-то, прозвучал и сразу смолк.

— Гонит! Арля, — тихо сказал брат и схватился за ружье.

— Сиди, не шевелись! Прямо на нас.

На пашню шаром выкатился русак. Прижав уши, он резво мчался, легко выкидывая длинные ноги. За ним в каких-нибудь ста — полутораста метрах молча гнался Арля!

Стрелять вначале было далековато, и тотчас зайца заслонили наши гончие. Свистнула рядом с нами дробь от дикого, через все поле, выстрела Щербинского. Брат погрозил ему кулаком. Николай Николаевич, перебирая длинными ногами в высоких заколенниках, бежал вверх по реке — видимо, рассчитывая где-нибудь перерезать путь русаку. Гон передвинулся за деревню и опять сошел со слуха. Мы все вместе медленно двигались в ту же сторону.

— Вернет, — сказал брат, — я в него поверил — ей-богу, вернет. Он…

— Тише! Слушайте! — Николай Николаевич остановился и поднял руку.

Мне показалось, что далеко за деревней кто-то пролаял: «Ау-ау-ау!» И все.

Мы прошли почти всю деревню, как вдруг в дальнем конце дружно залаяли дворовые собаки и пронзительный детский голосок заверещал:

— Заяц! Заяц!

Русак бежал нам навстречу по обочине грязной дороги, у колодца вздыбился, покрутил ушами и скинулся в проулок.

Появился Арля, добежал до скидки, выдал знакомую уже нам короткую очередь: «Ау-ау-ау!» — и, не задерживаясь, промчался.

— Дяденька! Вон они, вон они!

Мы бежали вовсю. Далеко у речки, на вытоптанной скотом луговине виднелись фигурки зайца и собаки. Русак бежал быстро, но далеко не так, как в начале гона. И что это? Навстречу из кустов парочка наших гонцов. Видимо, давно отстали и оказались сбоку.

— Порвут! На куски растащат…

Нет, когда я подбежал, то убедился, что заяц останется цел: на нем передними лапами владычно стоял Арля и выразительно скалил молодые белые зубы. На меня он даже не уркнул. Я поднял русака за ноги — он не гнулся, застыл, стал как палка.

— Смотрите, — сказал я подбежавшему Николаю Николаевичу, — окаменел. Еще немного, и он был бы согнан — не пойман, а именно согнан — по всем правилам настоящего гончего искусства.

Через час из-под Арли Николай Николаевич взял еще одного русака, поверив в гончака и удачно выбрав лаз на опушке.

Мы все влюбились в приблудного арлекина. Правда, Щербинский укорял его за редкоскалость, однако брат возражал:

— Пустяки, надо только верить: стой и жди.

— Надо непременно найти хозяина и купить, — возбужденно говорил Николай Николаевич, — для меня, вот деньги, у вас уже есть собаки.

Наши спутники, взяв Султана и Доннера, ушли на поезд. Мы с братом на другой день шли до станции охотой. По дороге взяли двух беляков по той же системе: обрывки гона, бешено мчащийся заяц — сразу за ним Арля.

— Заячья смерть! Не гончая, а заячья смерть! — кричал Юрий, потрясая мокрым после часового гона беляком. — От него ни один не уйдет.

Про эту охоту, изменив только имена, я написал рассказ «Соловей безголосый». В рассказе Арля, когда мы уже подходили к станции, «исчез, как лесной дух, так же неожиданно, как появился». На самом деле Арля исчез, но я все-таки его нашел и купил для Николая Николаевича. Он назвал его Джеком, и эта приятная в общежитии и талантливая собака некоторое время жила у Семеновых в Лесном и на охотах прекрасно, только по-своему, работала. К сожалению, выжлец пропал или был украден. Николаю Николаевичу часто было некогда его выводить, стареньким маме и домработнице трудно — они его просто выпускали. Умный пес сам приходил домой и… в конце концов пропал. И — как говорится у меня в рассказе — так и остался у нас в памяти безумно паратый и верный гонец, «соловей безголосый» Арля.

На майские дни 1928 года мы собрались на глухариные тока. Николай Николаевич давно мечтал об этой охоте. Поехал с нами и Виктор Николаевич Кондратьев.

Со станции шли вечером. Захватили немножко тяги — постояли не очень удачно на Риголовских покосах. Вальдшнепы плохо тянули: погода солнечная, ясная, однако холодноватая. Ночью тяжело было идти по лесной тропке, — хорошо, что нигде, даже на отрогах Сюрьевского болота, дно еще не вышло. Пришли в Гентелево усталые, когда начало светать, и сразу легли спать на полу на соломе, покрытой брезентом.

Тентелево — деревнюшка в глубине прибрежья Финского залива. Места тихие в те годы и особые. Тихие потому, что от железнодорожной ветки и от сыпуче-песчанистого шоссе, идущих вдоль берега залива, вглубь отходили только малопроездные проселки. Среди необозримых нерубленых охотничьих лесов на полях-полянах ютились малые деревеньки, русские и чухонские вперемежку. Породненные тяжким трудом на скупой земле, жили дружно, ограничивая национальную рознь незлобным подшучиванием. Места особые потому, что над ними как бы навис, притаившись в сосновом прибрежном лесу, морской форт с его орудиями-чудовищами и многочисленным гарнизоном. После февральской революции открылись ворота форта и в окружающие леса хлынул поток солдат в серых шинелях, с крестами на папахах из поддельного барашка — гарнизон форта, ратники ополчения. У каждого боевая трехлинейка, брезентовый пояс с кучей патронов и сколько угодно свободного времени. Ими владело острое желание добыть свежатинки, уйти от надоедных казарменных харчей. Они окружали лесные кварталы, шли цепями тысяча на тысячу человек и гнали зверье. За два-три месяца накорень уничтожили лосей и диких коз.

Ко времени моего рассказа в этих лесах стало опять тихо. Форт, как ему и положено, притаился, жизнь в деревеньках шла понемногу, лоси и козы нас не интересовали, а мелкой дичи было предостаточно.

Стоит Тентелево на реке Коваш. Почин его — при слиянии двух речек у деревни Усть-Рудица, где в глухом месте стоял ломоносовский завод цветной смальты, а конец — в море, у деревни Устье. Славная речка, — по осени богато ловится в берестяные бутылочки минога, дружно идет лосось. Первый раз я вышел на крутой берег Коваша много-много лет тому назад и на всю жизнь запомнил, как в совершенно прозрачной воде — кажется, в воздухе — качаются длинные петли водорослей, как рожь на ветру.

На этой речке вблизи берега, на краю деревни, стоял домик лесника чухонца Абрама и его жены Ириши, где мы всегда имели теплый приют. За рекой был глухариный ток, который и привел нас сюда. Нашел я его давно, неожиданно и просто, с помощью Абрама. Он не охотник, ничего не понимает в этом деле, как-то сказал мне:

— Спрашиваете, есть ли глухари? Редко вижу — она осторожный. Прошлый весной шел рано утром, остановился покурить с другим лесником на просеке у столба, она говорит: «Мотри!» Верно, ходит по снегу глухарь, ходит, и хвост вот так, — с этими словами Абрам двумя руками изобразил веер.

Я не стал расспрашивать — дело было ясное, — только небрежно осведомился:

— На столбе какой квартал написан? — Абрам ответил точно, это его обход.

На следующую весну я пришел к этому столбу на подслух и услышал прилеты. Богатый оказался ток — около двадцати глухарей. Для маскировки мы этот ток назвали Киви-Лава (Плоские Камни) — местечко подальше.

Проснулись мы, когда солнце светило в окна, казалось, со всех сторон. На столе самовар, молоко. Ириша сказала: «Наша пошла в Шишкино просить лодку. Близко, полтора верст. Там она будет ждать». «Наша» — это Абрам.

Ой как хорошо, весело было идти по дороге вдоль берега к лодке. Чибисы пищат, кувыркаются, жаворонки не умолкают. Жвякая и сверкая на солнце зеленой грудью, протянул селезень. Склон придорожной канавы вызолочен мать-и-мачехой. Высоко, почти до самой дороги, выброшены половодьем льдины — на черной земле как белые больничные шкафы. Они тают, от каждой глыбы бежит к реке ручеек. Над трубами Шишкина недвижные столбы дымов. По всему простору вперекличку, близко и далеко, разлито страстное воркование тетеревиных песен.

Шишкинский лесник проводил нас к… меньше всего к этой посудине подходило название лодки. Хозяин смастерил из толстых досок это корыто, но пользоваться им до конца весеннего паводка не решался. Отказался перевозить и нас. Вмещались двое: один стоял в высоких резиновых сапогах на коленях на дне лодки, другой в той же позиции гнал — нет, с трудом двигал лодку обломком печной лопаты. Неприятная была переправа. Я перевез Николая Николаевича, вернулся за Виктором Николаевичем, а он — опытный утятник — сплавал за нашими мешками.

И до тока было непросто добраться. Два раза пришлось делать переправы через гремящие глубокие ручьи, осторожничая переходить по древесным стволам с тяжелыми рюкзаками и ружьями.

Мы затаборились на краю светлой вырубки в полукилометре от тока.

Мне кажется, что для Николая Николаевича тогда глухариная охота была чем-то умозрительным, нереальным. Когда мы после переправы шли к току, в его мыслях что-то переменилось и он, как всегда дотошно, на ходу и при каждой остановке заставлял меня рассказывать о технике этой совершенно особой охоты. С охотничьей литературой он был знаком, иногда спорил со мной, младшим, но самоуверенным, воспринявшим эту науку по наследству и с ранних лет.

С табором торопились, солнце клонилось к дальним вершинам. Правда, повезло: у большого камня, где обычно ночевали, совсем рядом ветер свалил большую сухоподстойную сосну — лучше ничего и не надо! — и дрова, и ухоронка есть. Сложили все вещи у камня, укрыли на всякий случай — вдруг дождь — и пошли на подслух. Мы с Николаем Николаевичем (вдвоем и поближе) остановились на краю вырубки, Виктор Николаевич (один и подальше) — по просеке еще метров пятьсот. Мы подстелили на корни вековой хонги — так по-местному называются очень старые сосны с розовой овальной корой — пустые заплечные мешки и сели рядом, вплотную.

Пришли вовремя, без большого запаса. Все равно, когда чего-нибудь ждешь страстно, — время тянется.

Последние красноватые лучи солнца оставались еще на вершинах. Я шепотом — в лесу так всегда лучше — пояснял Николаю Николаевичу непонятные ему, степняку, голоса и шорохи засыпающего леса. Он показывает мне на вершину ели, где, как живая палочка, певец:

— Такая малышка — голос, свист на весь лес. Кто?

— Певчий дрозд. Верно, как флейта. Подальше чуть, слышите, тоже посвист, только щебетанье в конце, смешная короткая трелька, — это белобровик, дрозд-белобровик.

— Кукушка! Слышите, кукушка? У нас в Саратовской есть, только мало, — в лесных колках. Ой! Что это? Как трубы… красиво.

— Журавли на соседнем болоте. Кто-то потревожил.

Ветер чуть шевелил хвою в вершинах, затихал, притих. Воцарилась на нашем сосновом болоте стеклянная, настороженная тишина. Постепенно примолкали и мелкие птахи…

— Леша, слышите? Да, похоже — смех!

— Белая куропатка, петушок токует.

С цвирканьем и хорканьем протянул ранний вальдшнеп. Близко. Мы проводили его глазами, и Николай Николаевич радостно кивнул: дескать, узнал, знаю, понимаю.

Глухарь прилетел со стороны вырубки. Мы его заметили издалека, потеряли в хвойных вершинах и тут же услышали грохот посадки и прилетный голос. Объяснять не надо было, хотя мой спутник слышал прилет первый раз в жизни. Обоим радость: Николаю Николаевичу — новость, открытие, мне — от удачи и мыслей о завтрашней заре.

Прилеты слышались то ближе, то дальше, сначала редкие, потом частые и опять редкие. Последний мошник налетел уже на первой звезде — сел совсем рядом коротко и резко, как удар пустой корзины по сучьям.

На табор мы ушли в полной темноте, рассчитывая, что глухари уснули. Глухо, неуютно было у погасшего костра. Когда я поджег приготовленную бересту и сухие веточки, огонь взялся разом. Подвесил над огнем котелок с налитой тоже еще с вечера водой. Со всех сторон хлынул к нам непроглядный мрак, костер вступил с ним в борьбу, и на нашем малом светлом пятне в ночном лесу стало тепло и уютно. Николай Николаевич был возбужден виденным и услышанным, озяб до дрожи, протянул руки к огню. Виктор Николаевич пришел уже к полному костру.

Пили чай. Разговоров, кроме «дайте, пожалуйста», «спасибо», «когда встаем?», не было. Я повторил для Николая Николаевича инструкцию: «Услышу глухаря — поведу за руку, сожму — два шага, сожму — два шага. Освоите, хорошо будете слышать — кивните мне и скачите к глухарю самостоятельно».

Сон не сон. Протрубили полночные журавли. Кружка подогретого чая — и пора на ток.

Виктор Николаевич — ему подальше — ушел первый. На нашем пути была небольшая мшаринка, я с удовольствием отметил, что Николай Николаевич идет за мной так, как я учил: сначала потихоньку поднимает пятку, потом всю ступню — чтобы не чавкало. Мы пришли на место, где сидели на подслухе, рано, в полной темноте, конечно, но она мне показалась особенно темной: на небе ни звездочки — видимо, затучило.

Шквал обрушился на лес разом, застонали, заскрипели, закачались сосны. Ледяная крупа хлестко застучала по не одетой еще земле, а чуть ветер притих, сменилась снегом. Крупнейшие снежины обвально сыпались на головы и плечи. Такие большие снежины мой брат называл «тарелками» и обычно говорил: «Ну, тарелки посыпались — пора уходить».

Уходить не хотелось, уж очень обидно — приехали, шли издалека, мы тут и глухари тут. Я спросил:

— Не холодно? Подождем?

— Конечно.

Мы привалились плотнее к стволу дерева, прижались друг к другу плечами и ждали, не твердо определив, чего ждем. И очень скоро так тоскливо и зябко стало — хуже некуда, и мысли хмурые: черт нас занес в эту глушь, в эту ночь, в эту непогоду; хорошо бы сейчас очутиться дома — тепло, светло, с книжечкой бы полежал, раз уж пришлось бодрствовать, полуночничать. Так ведь не убежишь…

Самое удивительное — хотя весна ведь! — что через какой-нибудь час среди вершин пробились звезды, а чуть позже ветер стих, будто его и не было. Может быть, запоют?

Мы ждали, лес молчал. Холодно было, очень холодно, и… так хорошо, что голосисто и неожиданно протрубили журавли. Я почувствовал через прижатое плечо, что Николай Николаевич даже вздрогнул.

Пискнул пухляк, еще раз протрубили журавли. Щелкнул тот самый, близкий глухарь — значит, не под-

шумели, уходя. Щелкал, но в песню не переходил. Я прислушивался напряженно-выжидательно, а чуть отвлекся — услышал, что за ним, близким, поют сразу несколько петухов. Что же делать? Встанешь — сорвется наш глухарь, скиркая, полетит вдоль тока, и тогда прощай охота на все утро. Одна надежда — сам запоет. А он пощелкает и смолкнет, пощелкает и смолкнет — и так раз за разом. Оказались мы в ловушке, выход один — ждать.

Лес гремит: соперничая в звонкости, поют зяблики, поблизости и вдалеке пересвистываются певчие дрозды, барабанит дятел. Ровно гудит где-то не так далеко тетеревиный ток. Один за другим тянут вальдшнепы, а мы… сидим недвижно. Ждем — и холодно нам, и неуютно, и досадно. И вдруг — ничего не предугадаешь в сложном таинстве тока! — наш глухарь спокойно слетел, как нырнул с вершины, и потянул туда, где слышались песни соперников. Мы разом встали, расправляя ноги и борясь с ознобом.

Шагов сто — а может быть, и больше — я вел Николая Николаевича за собой, шагал, не подскакивал, затем взял за руку. Песню выбрал близкую, хорошо слышную и немного в стороне от центра тока, где точение сливалось в сплошной шип и громко хлопали крылья.

Теке-теке-теке… трррыч — тут я нажимаю на руку, и под глухую песню — чи-чи-ши, чи-чи-ши — мы делаем два шага, твердо ставя ноги. Получается! Получается! Я чувствую, что Николай Николаевич взволнован, у него подрагивает рука. Однако понимаю по темпу его движения, что он не слышит песни. Он ее, конечно, слышит, но не может связать с глухарем.

Рассвело, я решил перейти на другой сигнал: поднятие и опускание руки. Тоже получается: опущу руку — делает два-три шага, подниму — останавливается как вкопанный. Хорошо. Певун все ближе, и тут… Как неладно получилось!

Подскакивали по лосиной тропе, залитой водой. Николай Николаевич, когда я поднял руку, на последнем шаге оступился, неловко упал на вытянутые руки, оперся на них, вися грудью над водой. Я услышал очередную песню мошника, опустил руку и, не почувствовав движения за спиной, обернулся, заметил, что Николай Николаевич в неудобном положении дожидается следующей глухой песни. Я протянул руку с открытой ладонью и энергично — как нажал — показательно опустил… Боже мой! он перепутал жест-сигнал и лег грудью в воду, весеннюю, холодную. Мне бы подойти к нему, поднять, — черт с ним, с глухарем, что сразу слетит. Нет, оба мы были молоды, азартны. Счастье, что глухарь яростно точил песню за песней. Я дождался очередной и уже обеими руками показал — подымайтесь! Да он и сам, видимо, уже понял свою ошибку, встал и даже шагнул два шага. Не обращая внимания на случившееся, я придержал Николая Николаевича, под песню спросил:

— Слышите?

— Слышу хорошо.

— Поняли?

— Понял.

— Идите сами.

Я остался на месте. Слушал. Заметно светало. Мошник точил яро. Шагов охотника не было слышно. До сих пор мы скакали по мшаге, сосновому редколесью. Глухарь пел дальше — в вековом ельнике на склоне к болоту. По расчету времени должен быть выстрел. Его нет. Тихонечко поскакал в ту сторону: может быть, помочь надо? Грохнул, как обвал в тишину, гулкий выстрел, за ним, чуть погодя, другой. Довольно далеко — явно Виктор Николаевич. Наш певун только пропустил две песни и продолжал точить.

Скачу — песня близко — приглядываюсь понизу, в коричневом сумраке вижу две черные трубы — сапоги Николая Николаевича. Передвигаются точно под песню. Ясно — глухарь над ним. Подскакиваю

ближе — над сапогами-трубами высокая фигура в защитной куртке, ружье приподнято, медленно покачивает головой — разглядывает. Заметил меня, остановился, замер, под песню мне:

— Не вижу! Не вижу! Где-то здесь.

Так я и думал: без привычки не разглядеть. Я прижался к нему вплотную, прицелился своим ружьем, нагнул его голову к планке, чтобы смотрел вдоль нее. Он опять шепчет: «Все равно не вижу, стреляйте, улетит».

Что делать? Ладно, думаю, убью и отдам. Привычно выцелил под песню. Щелкнули две осечки. Проклятый латунный центробой! Наконец выстрел, но чахлый, как плевок. Глухарь с грохотом улетел.

Николай Николаевич дрожащими губами, то ли от волнения, то ли в знобкую зорьку не согрелся еще на подходе, продолжал шептать:

— Черт побери! Досадно! Это я… он совсем улетел… больше не будет?

— Вряд ли. Может, где-нибудь далеко, на окраине тока. Не огорчайтесь, еще ни одному охотнику не удалось убить своего первого глухаря. Давайте послушаем других.

Гремит птичья мелочь: зяблики, певчие дрозды, барабанит дятел, кукушка запела — все мешают слушать. Ток молчит. Видимо, наш подход и выстрелы подшумели.

Солнце поднялось высоко. Деловито бабакая, потянула с тока на вырубку копалуха. За ней ближе к нам петух, черный, бородатый, мимо летит. Николай Николаевич скинул с плеча ружье, я удержал за руку.

— Что вы? Что вы? Нельзя. Летящего на току? Только под песню.

Это было старое правило наших отцов, нашей компании, и я передал его неофиту со всей строгостью, а он, как и все мы, принял — как потом оказалось — на всю жизнь и так учил других.

Медленно, продолжая слушать, пошли к табору. Глухари молчали, только невдалеке от просеки в еловой куртине время от времени подавал голос крёхатень. Николай Николаевич загорелся, хотел подходить. Я сказал, что это безнадежно, раз не поет.

Вдалеке на просеке показался Виктор Николаевич. Ни в руках, ни за плечами не было видно добычи — пустой. Шел медленно, устало, поравнялся с крёхатнем, услышал и пошел скрадывать.

— Вот видите, — упрекнул меня Николай Николаевич, — он сейчас возьмет глухаря.

— Пустой номер — никому никогда не удавалось.

— Подождем?

— Не стоит; пока придет, мы уже чай вскипятим.

Мы подошли к костру, стали собирать головешки, отряхивая с них легкий холодный пепел. Гулкий выстрел — шумное, грузное падение. «Ну вот», — сказал Николай Николаевич и посмотрел на меня весело, не осуждающе. Он, как и я, верил в теорию любого дела, даже если она не подтверждается практикой. Я был сконфужен.

Виктор Николаевич принес небольшого глухаря. Николай Николаевич взвешивал его на руках, рассматривал, приговаривая: «Покажите-покажите, первый раз так близко вижу — красивый — какой большой — клюв, как у орла, — а брови…»

Виктор Николаевич рассказывал:

— Я старался идти как под песню, но он так редко подавал голос, что я шел просто осторожно, там тропинка — мягко. Сидел почти открыто, на сосне, — я из-за елки.

— По кому стреляли раньше?

— По глухарю под песню, два раза. Мне показалось: хорошо вижу — в ветках, в полдерева; а он слетел с вершины после второго выстрела. Жалко.

И ему я повторил, что никому из охотников не удавалось взять своего первого глухаря.

Спать больше не хотелось. Разделись, разулись. Развешивая портянки на вешалах у костра, Николай Николаевич, ни к кому в отдельности не обращаясь, сказал:

— С тех пор, как сели на подслух и до сих пор, я ни разу не вспомнил о городских делах. Знаете, это здорово! Удивительная, какая-то мистическая охота.

Откликнулся Виктор Николаевич:

— И я тоже. Загадочная штука. Если упростить, снизить, — получится: здоровые мужики глухой ночью гоняются, забыв все на свете, взяв стреляющие палки, за курами. Мужики сытые… зачем вы вешаете у костра? Еще свалятся или обгорят. Смотрите какое солнце, если еще ветерок пойдет, — скорее, чем у костра… только это не мистика, а чистейший атавизм, разгулялось что-то от пращуров. Поди и они за глухарем умели…

— Это песня виновата, — возразил я, — русалки песней сманивали с кораблей моряков, глухари зачаровывают лесовиков.

— Удивительная песня, — согласился Виктор, — а чем удивительная? Ведь простая, не звонкая соловьиная, не гремящая косачиная — тихая, шип и пощелкивание, а как услышишь — затрясет, все забудешь.

Я высказал давно обдуманное:

— Дело не в песне — ее почти точно на спичечном коробке изобразить можно, — дело в исполнителе. Подойдите ближе да на свету: он весь дрожит, напрягаясь от страсти, — ну и тебя затрясет, это законно.

Н. Н. Семенов с глухарем.

Поспела картошка, мы набросились на нее, как овцы на первую траву. Еще приятней был умело и щедро заваренный чай. А когда мы кончили с этим делом, надо было бы поспать, но не было никакой возможности — так развернулся и воссиял тот весенний денек, и мы были молодые, здоровые люди.

Солнце, ослепительное солнце — смотреть на него даже секунду нельзя — лилось к нам и играло где только возможно: зайчиками в голубых лужах, искрами на булькающем водоскате ручья, в каплях, нависших на голых дугах веток, превращая их в разноцветное ожерелье. Ночной снег растаял еще до рассвета. На глазах просыпался, оживал лесной ручей, позванивал тонко, ломая прозрачный ночной припай, нес с собой древесный мусор и крупные ледяные следы лосей. Лес, особенно опушка и урема ручья, гремел птичьими голосами и песнями. Хотя утро уже позднее, рябчики из потаенных гущарок со всех сторон пронизывали вырубку стеклянными ниточками призывных свистов. Высоко в синеве проходили крикливые караваны гусей. Голоса приближались, усиливались и удалялись, звали за собой: «К нам, к нам, к нам!» — чуть гнусовато и тоскливо, разрывали покой, будили тревогу. Самому хотелось лететь за ними. Казалось, и прилетные птицы примолкали ненадолго, услышав призыв, — может быть, они зря здесь остановились, может быть, надо дальше лететь?

Стало жарко; раздевшись почти догола, мы босиком бродили по вырубке. Много нового для моих спутников. Я учил их узнавать следы и знаки. Подводил к поющим пичугам совсем вплотную — певец не боялся, продолжал звенеть, раздувая горлышко, я называл его имя: зяблик, весничка, теньковка, дрозд-белобровик.

Николай Николаевич поражался, Виктор Николаевич слушал молча.

Мы остановились рядом с благоухающим, усыпанным розовыми цветами кустом, таким удивительным среди безжизненности голых берез и осин, бурой прошлогодней травы и палых листьев.

— Смотрите! Что это такое, похоже на сирень? А как пахнет! — Николай Николаевич попытался сорвать веточку дафны — волчьего лыка и убедился, что это не так просто.

Я сказал:

— Только ножом, и лучше отложить до завтра, когда пойдем домой; впрочем, и тогда вряд ли довезем в полной красоте.

На вырубку быстро и безоглядно выскочили два зайца и принялись, играя, бегать. Костюмы их были забавные: у одного, почти белого, рыжеватая голова; другой, с облезлой шерстью, весь пегий. Мы невольно рассмеялись.

— Арлекин и Пьеро, — сказал Николай Николаевич.

Над бугром в зыбких струях воздуха порхала траурница, устала, приникла к белоствольной березке, удивляя роскошью развернутых крыльев, наверно гордясь нарядом — удачей светлой оторочки темно-бархатного платья.

Согревалась земля. Вылезли из норок округлые мохнатые шмели, гудя, спешили на гроздья волчьего лыка. Коротко у самых ног шуршали проворные ящерицы. На старом пне кольцом свернулась, радуясь солнцу, гадюка. В те годы доблестью считалось захлестнуть прутом змею. Не тронули ее — невозможно убивать в такое торжественно-светлое утро.

Мы забыли зябкие тоскливые ночные часы и уверились, надолго в душе уверились, что нет ничего лучше охоты на глухарином току.

На теневой опушке сохранился толсто надутый зимой вал снега. Крупитчатый, замусоренный хвоинками и обрывками коры, он доживал, источая вялые струйки воды. И тут, рядом со снегом, мы нашли грибы. Коричневые, причудливо скрученные шапочки во множестве торчали на совершенно открытом месте.

— Сморчки, — сказал Николай Николаевич.

— Строчки, — поправил Виктор, — они ядовитые.

Я всегда путался в этих названиях, но знал уже по большому домашнему опыту, что они вкусные и не ядовитые, если отварить. Собрали их порядочно.

На высоком уже солнце, подстелив куртки и под голову рюкзаки со сменным бельем, мы разом мертво уснули. Нет крепче и покойнее сна, чем на солнце после глухариной ночи у таборного костра. Спали долго, почти до конца дня. Едва успели приготовить обед и поесть.

На второй вечер мы не пошли на подслух. Ток был знаком, разведан, лишняя ходьба — шум — ни к чему. Мы постояли на тяге у ручья, что полноводно и весело змеился вдоль лесной пожни. Тяга отличная, вальдшнепы один за другим появлялись над кромкой старого ельника, шли высоко и, казалось, медленно. Выстрелов было много, результата никакого. Никто не огорчился — всяко бывает. Мне немножко было досадно: не так взять хотелось, как покрасоваться перед спутниками меткостью. Не вышло.

Мы подошли к холодному кострищу уже в сумерках, я шел первым и вздрогнул, когда прямо из-под ног выкатился беловатый ком и быстро исчез из глаз. Что было нужно зайцу на нашем таборе?

— Видели? Заяц.

— Он у нас ничего не съел? — пошутил Виктор.

Удивительное это дело: когда разжигаешь костер, — светом вызываешь тьму. Только что было светло, как разом стеной придвинулась ночь, и, подтверждая это, там, за световым кругом, заухал филин и долго подавал жуткий голос, не отлетая далеко.

Все ужины у глухариного костра роскошны, но этот, право, заслужил такое название. Я зажарил на крышке котелка сморчки, мы ели их с холодной вареной картошкой и — моим любимым с голодного времени — льняным маслом. Виктор привез фляжку спирта-сырца. Мы разбавляли его снегом из найденного сугроба, чтобы он поскорее остывал, закусывали бутербродами с красной икрой, которая в те годы была обыденкой. Лакомством — редкая у нас вобла. Мои волгари лупили ее, взяв за хвост, о камень, обдирали чешую и с наслаждением жевали. После чая блаженно отдыхали на роскошных ложах из елового лапника. Мы с Николаем Николаевичем покуривали, некурящий Виктор, лежа на спине, наблюдал, как быстрые огневые червячки гасли среди звезд, мерцающих сквозь дым.

Ой как трудно писать сейчас о том, что было так давно! Казалось бы, можно: память есть, дневники — вот они, на столе. Все равно трудно. У глухариного костра трое молодых людей, двое совсем без прошлого, один чуть постарше, с небольшим прошлым. Мы хорошо знакомы, и, попроси меня тогда рассказать все, что я знаю о каждом из них, — рассказ был бы короткий.

А теперь… Я сижу за машинкой в кабинете своей тесной квартиры в доме, окруженном столетним парком. Ночь, тихо, не слышно автомашин, легко уйти, перенестись мыслями на шестьдесят лет назад. Переношусь, вижу, слышу совершенно ясно — я там, но… трудно не взять с собой в прошлое, отрешиться от того, что знаю сейчас: один из моих спутников умер, второй предельно стар и очень, очень болен, оба прошли большую достойную жизнь. Николай Николаевич — академик, трижды Герой Социалистического Труда, кавалер девяти орденов Ленина, лауреат многих премий, в том числе Нобелевской, носитель бесчисленного количества почетных зарубежных членств и званий, основатель целого теоретического и прикладного раздела физики. Виктор Николаевич — академик, и хоть не так взыскан наградами и званиями, но и он высоко поднялся и оставил заметный след в советской физике.

…И вот я у костра вместе с ними, молодыми, тогда еще неизвестными учеными. Николай Николаевич снова рассказывает о большой заботливости и невероятной щедрости новой власти по отношению к молодой физической науке… А я теперешний, старый, много видевший, раздумывая, удивляюсь: почему так было? Ведь в те годы никто не мог знать об атомной бомбе — вообще о возможности использования ядерной энергии. Тогда только теоретически определили наличие этой энергии и ее мощь, а даже много позже появились работы, доказывающие невозможность ее использовать практически. Почему же так щедро одаривали физику, обыкновенную физику, а не какую-нибудь другую научную дисциплину? Мне кажется, здесь заслуга Абрама Федоровича Иоффе и его молодой «могучей кучки», страстно пропагандировавших идею технической физики — науки, могущей кардинально решать вопросы промышленности. А ее именно в то время нужно было — совершенно необходимо! — восстанавливать и поднимать. И это был верный путь. Пусть не сразу получалось. Тогда я мог только с уважением и радостью слушать, что в лаборатории Иоффе заканчиваются опыты, которые позволят производить аккумулятор величиной с портсигар, а он сможет питать двигатель обычного автомобиля. Теперь знаю — это не получилось, но знаю и другое — видел, присутствовал при победном шествии молодой науки во всех областях знания и технологии. И это привело к труднообозримым и очень важным для государства результатам.

Говорил, рассказывал Николай Николаевич горячо, охотно. А Виктор Николаевич больше молчал, изредка добавлял что-нибудь или уточнял. Перед тем как сказать, он как-то забавно прищелкивал не то языком, не то губами. А лицо простое, широкое, очень приветливое, особенно глаза. Костер, то разгораясь,

то притухая, освещает лица моих спутников. У Николая Николаевича оно приметное, выразительное, немного цыганского типа — темные волосы над высоким покатым лбом, обильные брови, нависшие над глубоко посаженными умными глазами, прямой, чуть с горбинкой нос и небольшие короткие черные усы. Когда говорит о чем-нибудь смешном — а он не чуждается находить курьезы даже в самых серьезных вещах, — вспыхивают его чудесные белые зубы и раздается смех, не громкий, не раскатистый, а какой-то интимный, чуть шипящий.

Н. Н. Семенов и В. Н. Кондратьев под Рыбинском. 1937 г.

Ток на Киви-Лава был большой, мне подумалось, что можно без вреда для него взять еще одного глухаря, и хотелось, чтобы Николай Николаевич привез домой такую редкую дичину. Мы остались на зорю, чтобы утром, не отдыхая, идти прямо на станцию. Так все и получилось. С табора к дому мы пошли усталые, небритые, закопченные, каждый с грузным рюкзаком на плечах.

Вышли к речке. Николаю Николаевичу, как и всем нам, не понравился челнок лесника. Виктор, лихо махнув рукой, все же пошел на Шишкино к перевозу, а я заметил ниже по реке, против Тентелева, завал бревен и решил перебраться там. Пошли вдоль реки. Впереди с полевой лужи поднялась пара чирков и потянула на нас. Николай Николаевич сбросил с плеч мешок и стал прицеливаться. Я крикнул: «В заднего — первая утка!»

Кому удалось добыть весной селезня чирка-свистунка, запомнит на всю жизнь яркие и разнообразные краски его оперения: серо-голубое и белое, ржаво-красное и зеленое четко и красиво распределены по всему телу этой уточки.

Николай Николаевич, осторожно перебирая и оглаживая чуть помятые при падении перья, сказал:

— Какие цвета! И самые разные, где, как нашел их чирок в своем болоте?

Я ответил, что этот вопрос меня давно занимает и мучает. Однажды перед брошенной шахтой — по существу, прямо на черной бесплодной площадке — нашел два ярких цветка: мак и колокольчик. Как это удивительно: понадобился маку красный цвет — он нашел его у себя под ногами в случайном месте,

понадобился колокольчику синий — и он нашел его тут же.

— Да, это, Леша, в самом деле удивительно. В нашей науке лезем глубоко, в микромир, в атом — и, знаете, кое-что начинаем понимать, а здесь — хоть этот вопрос и лежит на поверхности, и найдется услужливое, тоже поверхностное, объяснение, — знаем мало. Живая природа пока туман.

Николай Николаевич задумался, а я ждал, вот он скажет, что и «в это дело, когда вмешается физика»… но он промолчал.

Большой завал бревен на реке поднял за собой высоко воду. Из него понизу, бурля и пенясь, вырывалось несколько потоков. Я решил попробовать перейти сначала налегке; рюкзак оставил, повесил на грудь поперек ружье и пошел. Николай Николаевич остался сидеть на обрыве берега.

Вспоминая теперь, не могу понять, как могла прийти в голову такая глупость! Правда, у нас обоих опыта по сплавным делам не было. Выбрал толстое, лежащее на воде бревно, смело пошел и… рухнул в воду. Николай Николаевич потом рассказывал, что он на минуту отвернулся, а когда посмотрел, — между бревнами виднелись только моя голова и лежащее поперек на двух бревнах ружье. Плохо помню, как удалось выскочить. Знаю — торопился: холодна майская вода в Коваше. Пулей вылетел на берег. Николай Николаевич помог стянуть сапоги. Я разделся догола, мы начали выжимать мои брюки — вдруг завал простонал человеческим голосом, только в сотню раз сильнее. Потом он стронулся — и был уже не стон, а грохот и рев воды. Бревна дыбились, ломались, одно-два выскочили на воздух, как арбузные косточки, зажатые между пальцев. Я от неожиданности и страха выпустил из рук брюки, а Николай Николаевич продолжал держать, говорил негромко: «Черт те что… знаете… могло бы…»

Пришлось идти вверх по реке в Шишкино к такому надежному, как теперь казалось, челноку.

В 1930 году я работал на кафедре органической химии Лесотехнической академии у профессора Крестинского. Тема: выделение камфена из пихтового масла. Требовался надежный вакуум. Всякие перемычки оказались недостаточны, мне нужно было паять стекло. Шеф сказал с некоторой укоризной:

— Я работал в Мюнхенской лаборатории, там любой сотрудник умеет обращаться со стеклом.

Упрек справедливый, но где поучиться? Вспомнил, что как-то на охоте Николай Николаевич говорил мне с гордостью: «Физик должен уметь сверлить и пилить». Следовательно — наверно, и паять стекло. Позвонил к нему, услышал:

— Приходите.

Встретил меня в вестибюле института, сказал:

— Конечно, надо самому уметь, наши стеклодувы — великие мастера. Пойдемте, представлю вас Николаю Гавриловичу Михайлову. Между прочим, он заядлый охотник.

Мы спустились в нижний этаж института. В стеклодувной мастерской тепло, даже жарко, светло и шумно от газовых горелок. Мы подошли к столику, за которым работал крупный, широкоплечий, седоватый человек в синем халате, наглухо застегнутом у горла. Он явно был рад приходу Николая Николаевича, вежливо отложил что-то на асбестовую крышку стола, пригасил голубое пламя горелки и поднял на лоб очки. Поздоровались. Николай Николаевич представил меня как близкого человека и… охотника.

— Охотник? — переспросил Николай Гаврилович чрезвычайно высоким, неожиданным для такого мощного тела голосом. — Значит, хороший человек.

Николай Николаевич ушел. Я принялся рассказывать о своем деле. Николай Гаврилович, слушая,

довел пламя горелки до шумящего голубого язычка, взял обрезок стеклянной трубочки, дул в него и покручивал в ловких, с виду неуклюжих пальцах. Я заметил, что мягкое стекло превращается в какую-то фигурку. Непостижимым образом в руках у мастера оказался маленький белый заяц. Еще немного колдовства — и появились черные кончики ушей и помпончик-хвост. Дав зайцу остыть, он подарил его мне:

— Для знакомства. Работать приходите. А как на охоту?

— Поедем обязательно.

По дороге на выход я зашел к Николаю Николаевичу. Он поводил меня по институту. В одной из лабораторий мы застали Виктора Николаевича. Он, так же как стеклодув, в синем халате, сосредоточенный, серьезный, возился у большой и сложной вакуум-установки. Совсем не похож на веселого студента, который не так уж давно на моих глазах после защиты диплома тут же в коридоре в знак окончания студенчества сорвал с форменной фуражки значок политехника и покружился, как в танце. Сговорились все трое об охоте на субботу.

В маленьком кабинетике за столом застали Юлия Борисовича Харитона. [7]Он, без халата, очень скромно одетый, увлеченно что-то подсчитывал и писал в школьной тетрадке. Не знаю почему, но так всегда бывало: когда мы встречались с Люсей Харитоном, мы над чем-то смеялись. Видимо, в те годы были порознь склонны к юмору, а при встрече взаимно индуцировались. И сейчас я услышал его чудесный, абсолютно искренний, открытый, на очень высокой ноте и чуть в нос смех.

Николай Николаевич позвал меня к себе домой обедать. По дороге спросил, как мне понравился Николай Гаврилович.

Я был в восторге от искусства мастера; в ответ на это выслушал, можно сказать, гимн физтеховским стеклодувам:

— Замечательные мастера — и делают удивительные вещи. Мы в лаборатории своими руками кое-что лепим, но без стеклодувов… как без рук. Они выдувают ртутные вакуум-насосы, ловушки к ним, манометры, рентгентрубки — и все высочайшего класса. Талантливый народ, пьют только сильно. Все, кроме Николая Гавриловича. А он — это уже целое явление: великий стеклодув! Создал стеклодувное производство на первом русском заводе рентгеновских трубок, перешел в Рентгеновский институт, а затем к нам. Это кудесник. Хорошо, что познакомились, и обязательно пойдем вместе на охоту, у него и собака есть.

Мы подошли к дому среди соснового парка. Темноватая квартира. Пообедали, а потом недолго посидели, покурили в кабинете.

Николай Николаевич подробно расспрашивал о моей работе у профессора Крестинского и тут же попытался перекрестить меня в свою веру. Основой была идея, что современная химия, особенно органическая, находится в тупике.

— Да-да, я не спорю, вы много хорошего делаете, но сегодня нельзя останавливаться на молекулярном уровне. Это только поверхность; век препаративной химии, как бы ни был блестящ ее путь, миновал.

Было приятно слышать: «Вы много хорошего делаете», — хотя я еще ничего в жизни не сделал и находился под обаянием работ наших корифеев-органиков. Не совсем понимал, о какой глубине толкует Николай Николаевич, прикинул только, что, с моей точки зрения, точные измерения, которые нам приходится делать, физики сделали бы лучше, и потому содружество желательно. Разговор, как всегда, окончился вербовкой, предложением переходить к ним, — «нам химики очень нужны».

В следующий же выходной, а затем это стало обыденкой, мы пошли на охоту втроем, с Николаем Гавриловичем. Дело было в начале осени — по зайцам и с лайками рано, — а тут пролет болотной, и есть легавая.

Выходили мы из квартиры Семеновых в парке Политехнического института в Лесном и охотились в районе перекрестка проспектов Науки и Гражданского, места очень населенного, бойкого, — там, где метро и большой универсам. Я шучу, тогда там были довольно сырые поля до самых Бугров, в двух местах перерезанные сильно извилистой речушкой. По низинам и полям водился, а около Натальина дня (то есть 8 сентября) — довольно густо шел дупель. В болотцах находили бекаса, а ближе к Юккам постоянно держалась серая куропатка. В кустах у склона Кузьмоловской террасы — один-два выводка тетеревов.

Аза, сеттер-гордон хороших кровей, работала на ровном галопе, несколько бесстрастно, но совершенно четко, без ошибок. Вежливая собачка влюбленно поглядывала, ожидая указаний, на высокую фигуру хозяина: битую птицу приносила — что в те годы становилось уже редкостью, брала мягким прикусом и, кто бы ни стрелял, отдавала в руки хозяина.

Николай Гаврилович стрелял с поводком, очень хорошо, однако редко — уступал гостям. Николай Николаевич горячился и частенько мазал — впрочем, не огорчался, тут же забывал эти мелкие неудачи. У меня к тому времени была большая практика в стрельбе, я «геройствовал». Однако жадности ни у кого из нас не было, и, взяв по паре птиц — редко больше — на каждого, мы кончали охоту и шли в уютную квартиру Гаврилыча.

Обед был простой, чисто русский, по-крестьянски обильный и очень вкусный — мастерица в этом деле была жена Николая Гавриловича. А он традиционно угощал нас из малюсеньких серебряных рюмочек ароматнейшей наливкой собственного производства, называемой им — так я и не узнал почему — синтифарисом.

После обеда мы отдыхали в маленькой, аптечно чистой комнатке. Просили Николая Гавриловича спеть. Он пел замечательно, прямо сказать талантливо, чистейшим высоким голосом. Пел песни по-теперешнему уже старинные: «Как со вечера пороша выпадала хороша», «Не белы снеги», «Окрасился месяц багрянцем» и многие другие. На наши похвалы отзывался так: «Все стеклодувы певучие, дуют, дуют — легкие-то и раздуют. Это спокон веку».

Примерно через год я вспомнил его слова.

Пришлось быть в командировке на стекольном заводе в Малой Вишере. В солнечный летний день меня провели в гуту — главный корпус. Подходя, я услышал пение; когда вошел — увидел и запомнил на всю жизнь. Под высоким, похожим на цирковой, куполом круглая печь с пылающими окошками. Вокруг нее на помосте стеклодувы. Они просовывают длинные трубки в окошки, поворачивают несколько раз, навивают яркий ком, идут на край помоста, покачивая трубку, раздувают постепенно «баночку», опустив ее вниз и покачивая, в большую продолговатую бутылку-халяву. Когда она готова, подручный — там, внизу, — отрезает ее от трубки и на столе разворачивает в лист оконного стекла.

Работают ладно, спорко и поют. Запевают, когда освободятся временно губы, примолкают, раздувая «баночку», и вновь запевают. Незаметно — когда замолкает певец, хорошо слышно, когда он вновь вступает в хор. Прекрасные, сильные голоса, то высокие, как всплеск неземной радости, то низкие, как земная печаль. Не замолкая, звучит протяжная песня, и кажется, что она светло и округло плавает под высоким куполом.

Рассказал про эту поездку Гаврилычу. Он чуть не прослезился, вспоминая молодость.

Мы еще не раз ходили за Политехнический к Буграм и Девяткину с Николаем Николаевичем, Николаем Гавриловичем и его чудесной собачонкой Азой. Но наши выходы становились все реже и реже,

Николай Николаевич вообще почти перестал охотиться. Тогда, в начале 30-х годов, он был перегружен хлопотами по воплощению своей мечты — организации Института химической физики. Дисциплина «физическая химия» давно была известна, а «химическая физика» — придумана Семеновым. Он воплотил ее не только в виде нового института, но и нового отдела науки. Название звучало странно и непривычно. У Семенова в этом институте его ученики Кондратьев и Харитон; по-прежнему, как когда-то в Лебяжьем, про него и про них шуточные стихи поэта нашей компании — моего брата Юрия:

Он из провинции туманной
Привез учености плоды,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь,
Способность дело быстро печь.
Растил в тиши лабораторий
На водороде и на хлоре,
Эйнштейна вслух для них читал
И слабым током щекотал.
Они росли, цвели, полнели —
Математический режим,
Как видно, был на пользу им.
И ныне там, где стонут ели,
Как утопийский храм в Лесном
Стоит научный детский дом.

Война. Перемена жизни, всем свои заботы, всякое общение, помимо служебного, сведено на нет.

Я на своей кафедре в Лесотехнической академии. По телефону голос Николая Николаевича:

— Мы тут организовали Ленинградский комитет ученых в помощь фронту. Считайте, что вы член нашего комитета. Я председатель. К вам просьба: организовать для Абрама Федоровича проверку одной идеи его лаборатории, он скоро у вас будет.

Я встретил Абрама Федоровича Иоффе у почты в парке нашей академии. С ним знаком довольно давно. По дороге он рассказал, что его сотрудница предложила пропитывать особой жидкостью землю перед нашими окопами: как только танк по ней двинется — вспыхнет огонь, земля буквально будет гореть под ногами врага. Надо провести испытания; препарат привезут. Меня Абрам Федорович попросил выбрать и подготовить в парке место, «трактор, наверно, у вас есть учебный, по вывозке леса».

Мне надо было обдумать, прикинуть, как выполнить просьбу. Мы повернули вдоль фасада главного здания академии, у входа задержались. Был дивный летний день, теплый, тихий, ослепительно сияющий. Прямо против главного входа разбит цветник. Никогда еще такого не бывало: из года в год работники парка улучшали и вот… довели. Огромная поляна светилась ярчайшими цветами, бесчисленными, хорошо ухоженными и умело подобранными. Абрам Федорович стоял, не мог глаз оторвать. Молчал долго, повернулся ко мне и негромко, с такой грустью, почти отчаянием:

— И вся эта красота может достаться немцам…

Странными мне показались эти слова. Немцы еще были далеко, и мы думать не могли, что дойдут до Ленинграда. А он допускал такую возможность, считался с ней… После его ухода, сидя у себя в кабинете, я подумал, что Абрам Федорович не раз бывал за рубежом, знает силу немецкой машины, а мы-то жили с убеждением в нашем подавляющем преимуществе: «вес залпа нашей артиллерии больше…», «с малой кровью на чужой территории…»

Мы прошли с Абрамом Федоровичем ко мне в лабораторию и обсуждали предстоящее дело. Я

спросил его о хотя бы приблизительном составе предложенной жидкости. Он ответил, что подробно не знает, но в состав входит… и назвал одно соединение. Меня это удивило, вызвало протест: я знал, что это вещество легко гидролизуется, — а как же дождь? Абрам Федорович сразу поня л мою озабоченность и весомость аргумента, взя л трубку, позвонил к себе в институт. Опасения подтвердились — препарат неустойчив по отношению к влаге. И хотя стояла чудесная погода, было понятно, что никакой гарантии дать нельзя. Подготовленная «горючая земля» не выдержит даже небольшого дождя. Опыты были отставлены.

Николай Николаевич периодически звонил мне по телефону, спрашивал про наши дела. Помнится, заинтересовался предложением нашего профессора Михаила Николаевича Римского-Корсакова о защитном покрытии и приехал в академию узнать подробности. А дело было такое. При рытье окопов, особенно в поля х, где трава, выброшенная земля демаскирует окопы, — с воздуха хорошо видны полосы другого цвета. Профессор предложил сразу после земля ных работ сеять какое-то быстрорастущее зеленое растение. Чем дело кончилось, не знаю.

Другой раз Николай Николаевич поддержал меня в споре с директором академии Михаилом Федоровичем Малюковым. К тому времени я собрал всех химиков академии в спецхимцех и был назначен его начальником. Среди разных оборонных работ мы начали заниматься зажигательными снарядами. Директор требовал от меня, чтобы все сотрудники занимались сбором и наполнением бутылок горючей жидкостью — попросту бензином. Я возражал, утверждал, что в Ленинграде мощные пищевые и другие заводы, где и надо сосредоточить все бутылки и там их наполня ть. Наша же группа — капля в море. Гораздо важнее выполнение порученной нам работы военным отделом Обкома, которая начата и проводится. Уже определилось, что чистый бензин легко вспыхивает на танке, но быстро скатывается, не остается на металле. Мы работали над повышением вязкости и липкости бензина с помощью присадок. На совещании по этому вопросу Николай Николаевич меня твердо поддержал, и нам удалось кое-что сделать.

Немцы стремительно подходили к Ленинграду. Комитет ученых был эвакуирован в Казань. Я уехать с ним отказался.

Не буду описывать блокадные дни и ночи — о них много писано, и это выпадает из темы моего рассказа о Н. Н. Семенове. Кратко скажу, что моя лаборатория продолжала заниматься зажигательными снарядами, обслуживая АНИМИ и АОНАПО.

[8]Прошла тяжелая зима, весна, лето. Стало легче жить; как я понимаю, нам стало лучше, чем многим в так называемом тылу. В это время я получил правительственное предписание выехать в Казань в Институт химической физики для передачи опыта по зажигательным снарядам и вскоре выехал.

В Казани жизнь трудная. В институте несытые, а чаще просто голодные сотрудники и рабочие трудя тся совестливо, все время думая о фронте, при отчая нном дефиците приборов, оборудования, реактивов, частенько даже воды и электроэнергии. Холодно, трудно, тревожно.

Летом стало полегче, к осени того больше, даже радости приходили: Сталинградская победа, переход в наступление «от моря и до моря». И все же, и все же… легко сейчас писать про это, когда знаешь, что и как было во всех аспектах и подробностя х. А тогда психологически мы только немного выскользнули от чего-то страшного, жестокого, нависшего над жизнью, как черная скала, и у всех на памя ти был неожиданный кинжальный выход немцев на Кавказ, когда так поверилось в прочность фронта. Но радость появилась и жила с нами.

К моему удивлению, в Татарии оказалась разрешена охота и не сданы ружья. Николай Николаевич и Петр Леонидович Капица сумели сохранить свои и привезти сюда. Они собирались-собирались на охоту и наконец поехали. Пригласили меня, я достал себе полуавтомат винчестер двадцатого калибра.

Петр Леонидович Капица с сыном Андреем.

Разузнав в городе про охотничьи места, мы помчались на институтском газогенераторном опытном грузовичке по невероятно пыльной дороге в сторону устья Камы. Остановились в местечке Татарские Сарали. Оставив шофера и машину, мы втроем пошли на озеро. Оно оказалось большим, по краю широко и густо покрытым водяными растениями. Уже при подходе заметили, что над камышами то поднимаются, то опускаются стаи уток. Николай Николаевич, кинув в ружье патроны, бросился прямо в тростники, с первых же шагов увязая в липкой грязи, и по кому-то стрелял. Я раздумывал, что делать. Заметил, что Петр Леонидович, не торопясь, пошел вдоль берега, притаился, не сходя в воду, у какого-то укрытия и стал ждать налета. Я подумал, что так бы и мне надо, но не хотел бросать Николая Николаевича и побрел за ним, пока добирался, — услышал несколько его выстрелов.

В этом углу озера практически не было чистой воды — только круглые окнища. Среди тростниковых зарослей чистинки, где всплыли целые острова грязи, сверху уже с почти сухой коркой. Я застал Николая Николаевича на одной из таких полянок в камышах. Он стоял в грязи выше колен и, пригнувшись, рассматривал сквозь ряд высоких камышей реющих над открытым плесом уток. Стоял тихо, вокруг него, видимо, успокоившись, по грязи беззаботно бегало много каких-то куличков. Я пригляделся и с великим удивлением — первый раз такое вижу! — определил, что все это бекасы. Не стрелять же их было, сидячих, рядом шныряющих.

— По кому стреляли?

— Утки.

— Ну и как?

— Ничего, близко не налетают.

В это время над краем тростников пролетел кряковый селезень. Николай Николаевич стреляет два раза, я тоже — птица падает рядом, за нашими спинами, на сухую грязь. Красивый, сам голубой, зеленая шея с белым кольцом.

— С полем!

— И вас тоже!

Оба довольны. Отхожу немного в сторону, и мы до конца короткого дня не очень удачно поджидаем и стреляем уток. Устали, кончились папиросы. Я предложил Николаю Николаевичу свернуть в газету филичевый табак, который нам, простым сотрудникам, выдали, я курил его в трубке. Выбрались на берег с тремя утками. Подошли к Петру Леонидовичу. У него дело было лучше.

Покуривая, говорили о завтрашнем дне. Очень хотелось остаться, да уж больно много дел. В конце концов, можно было бы на рассвете прийти, часок поохотиться — и домой. Колебания пресек господин Случай. Раздался шум моторов, на другом конце озера — не так уж оно велико: прилетели две компании охотников-летчиков (неподалеку было военное летное училище). Это решило дело — к ночи мы были в Казани. Доволен был не только я, но и оба мои спутника. Хоть и старался Татсовнархоз кормить столичных гостей, не густо получалось. Чаще всего гороховая каша — по выражению Петра Леонидовича, музыкальная пища.

Это была моя первая совместная охота с Петром Леонидовичем Капицей, блестящим ученым, умнейшим и обаятельным человеком. Знакомы мы были давно, еще через моего отца и отца его жены Ани, знаменитого корабела и математика А. Н. Крылова, они были друзья.

Первая охота и предпоследняя. В тот же год и в той же компании мы были еще на одной охоте, но столь неудачной, что я не занес ее в охотничий дневник. В памяти же осталось возвращение в город. Вечером мы проезжали мимо большого цыганского табора, остановились у костра. Цыгане нас приняли приветливо: охотно, без просьб, как бы для себя, играли, пели, мальчонка даже танцевал. Мы сидели на поваленном дереве недалеко у дороги и, покоренные обстановкой, неожиданным мастерством исполнителей, задержались до середины ночи.

Правительственный декрет среди войны переводит Ленинградский институт Семенова в Москву. Я же вскоре возвратился из Москвы в Ленинград.

Долгие годы наша дружба с Николаем Николаевичем проходила без совместных охот — не до того, да и жили в разных городах. Однако при каждой командировке в Москву (что бывало довольно часто) я непременно заходил к Семеновым.

Жизнь налаживалась. Знаю, что Николай Николаевич редко выбирается на охоту, а когда удается, ездит с Виктором Николаевичем и механиком Женей Русианом.

Я завожу собаку. Чемпион Искра — ирландка высоких кровей, дочь моей Яны. Диковатая дома (жила на веранде даже зимой), — она была фанатиком охоты и обладала невероятным чутьем. В результате весьма скоро получила все возможные дипломы и за охотничьи качества, и за красоту; стала многократным чемпионом, сначала Ленинграда и области, затем на матче трех городов — Москва — Ленинград — Тула, а затем чемпионом СССР.

У Николая Николаевича тоже заводились легавые собаки, но неважные. Натаска легавых и последующая охота с ними требуют спокойствия и выдержки — качества не очень свойственные моему высокопоставленному другу. При каждом свидании я хвастал своей собакой, и у него разгорелись глаза.

Летом 1964 года я на два месяца отпуска устроился жить в Новгородской области, в деревне Владыкино, на тихой, красивой речке Увери.

В Новгородчине я был частым гостем и живал подолгу, только в другой, более северной части области. Как-то проездом через Боровичи встретился с моим другом писателем и охотником Виталием Всеволодовичем Гарновским. Разговорились об охоте; я упомянул бекасов, он сказал, что около его

родной деревни их, этих бекасов, пруд пруди. Я удивился, но, зная, что Виталий Всеволодович на ложь не способен, попросил его показать, повез на своей машине на Уверь.

По дороге он рассказал, что по приказу царя Петра в том месте, где Уверь впадает в Мету, построили плотину-бейшлот. Река залила большую долину, образовался запас воды, ее сбрасывали, когда надо, во Мету для подъема уровня на порогах, расположенных ниже, около Опеченского посада… Когда этот водный путь потерял значение, плотину открыли, и вместо водохранилища образовалась огромная — два километра на двенадцать — покосная площадь, по-местному Ширь. Посередине Шири остались речушка и небольшое озеро. По их берегам и водились в изобилии бекасы и дупели.

Между Ширью и Уверью расположилась деревня Владыкино — родина братьев Гарновских. Я поселился в этой деревне в июле вместе со своим родственником и товарищем по охоте Борисом Васильевичем Ермоловым. У него ирландец Тролль, брат моей Искры. Мы тренировали собак к предстоящим полевым состязаниям. В августе, за два дня до открытия сезона, к моей избе подкатили три машины из Москвы и Ленинграда. Приехали Николай Николаевич с Наташей и дочерью Милой. Из Ленинграда — супруги Урванцевы и мой дядюшка Евгений Николаевич Фрейберг.

Я развел их по избам, устроил у приветливых владыкинцев. Мы с Николаем Николаевичем побродили по деревне, знакомились с жителями. Он был в восторге от увиденного — и было от чего. Крестьяне жили хорошо. Строились дома. Много молодежи — правда, больше приезжих: школьники на каникулах и студенты. Все работают на полях и каждый день — так организовано дело — получают заработанное. По утрам на пятачок на середине деревни подавалось несколько подвод, запряженных сытыми, бойкими лошадьми. Все усаживались и ехали косить на пойменные луга Увери или на Ширь. Председатель колхоза Добряков, по ласковому прозвищу — Добряк, отказался сдать лошадей на колбасу, как тогда требовалось. Отбивался от начальства: «Что, мне народ в поле на тракторах возить? И солярку да всякую мелочь какую-нибудь тоже? Корма? Травы в нашей шири на тысячу коней — коси не хочу, прокормить легко».

Николай Николаевич, расспросив людей, поговорив с председателем, возбужденно, в своей обычной несколько экзальтированной манере, говорил мне: «Знаете, это здорово! Как люди живут! Значит, можно, можно. Теперь прямо модно шептать: колхозы, колхозы — пустые трудодни, работа за палочки. Сюда надо людей возить, показывать, что можно — и отлично!»

На открытие охоты мы с Николаем Николаевичем и моей ирландкой пошли на Ширь. Подходя к ней, увидели вдалеке на лугах два стада: поближе пегое, подальше серое. Пригляделись, дальнее стадо — журавли. Я рассказал, что каждый год в это время на Шири появляются журавли, постепенно скапливаются в огромный табун, делают регулярные облеты и в надлежащий день, поднявшись под облака, уходят на юго-запад. Мы полюбовались на дивную просторную и милую сердцу картину и уже Ширью пошли к речке на известный нам брод. Сняв брюки и сапоги, по пояс в воде, перебрались через речушку, что течет посередине Шири, — дно плотное, только вода выше сапог. Искра стала рядом с тропинкой прежде, чем мы оделись. Николай Николаевич, схватив с травы двустволку, босиком поспешил к собаке.

На открытии охоты.

Перебираясь, я подмочил табак, попросил у Николая Николаевича папиросу, получил — и мы вместе рассмеялись. Всю жизнь, и довольно часто, он бросал курить, убежденно и резко. Решив, — тут же дарил кому-нибудь свой портсигар. Отвыкнуть не удавалось, и вновь в карманах появлялись папиросные коробки. Кто-то преподносил новый портсигар — что дарить обеспеченному курящему мужчине к праздникам? — и тот жил недолго. И на этот раз, у ручья на Шири, он протянул мне коробку «Казбека», где, кроме целых папирос, были ломаные и желтая табачная пыль.

Так началась охота в тот памятный день.

Синее, чуть осеннее небо. Теплый ветерок гонит по небу и над самой травой светлые паутинки. Чуть поблекла, и потому золотится, осока. Идти легко: луга не мшистые, ноги не вязнут — мягко и бесшумно идем по невысокой отаве. А дышится… чист влажный воздух, пахнет приятно, памятно: свежим сеном и прибрежной мятой.

Перед нами сумасшедшим ходом челночит Искра, то и дело с полного скока застывая в абсолютно точной и недвижной стойке. Много красивого в охоте с легавой по перу, но есть ли что-либо более эффектное и впечатляющее, чем ирландец, скачущий по зеленому полю, — блики солнца отсвечивают, играют на его красноватой шерсти!

Дичь — почти половина на половину — бекасы и дупели. Их много, очень много. Искра слегка горячится. Я веду ее с ружьем за плечами. Николай Николаевич стреляет часто, еле успевая перезарядить ружье от стойки до стойки. Волнуется, мчится к вставшей ирландке бегом, мажет постоянно и — боже мой! — при малейшем перерыве жалуется, что мало птицы. Я только улыбаюсь и, пожалуй, радуюсь, что у Николая Николаевича очень плохие патроны: они туго вынимались, даже проваливались под экстрактор — и приходилось ковырять ножом, или у гильзы обрывалась головка — мы останавливались, шли на кромку луга, вырезали березовую палку-шомпол и, размяв картон, выбивали. Радовался я потому, что при таком темпе у стрелка назавтра не осталось бы ни одного патрона.

Припекало солнце, летнее, жаркое. Тренированная Искра не сбавляла хода, хотя и превратилась от воды и грязи из шелковой ирландки в черного пойнтера. Подавала одну птицу за другой, но мы устали и ужарели. Расположились на берегу ручья, впадающего в Кармановскую речку, в тени большой ракиты. Запылал огонек. Мокрую до кожи Искру я положил на кочку у костра, она улеглась благодарно, обсыхала, постанывала во сне. Вкусно почаевничали и сразу — встали-то до рассвета, — уснули. На солнце было незябко, спали крепко.

Я проснулся от близкого выстрела — за речкой были наши товарищи. Николай Николаевич говорил, будто не было перерыва:

— Все дело в людях, в них одних. Попался настоящий человек-хозяин — всё получилось.

Я понял, что он говорит о Добрякове, и рассказал, как тому тяжко — едва ли усидит на председательстве. Попало за оставленных лошадей, за категорический отказ сажать кукурузу. Правда — редкий случай, — приехали снимать, с новым председателем приехали, а колхозники, сколько бы раз ни переголосовывали, единогласно были против нового человека — точнее, против снятия Добрякова. И теперь у него сложное положение — хотят укрупнить и придают два отсталых колхоза. А там, как он людям говорил, не те работники, — «лодырь на лодыре, сбаловались накорень, их не перекроить».

На вечернюю зорьку ушли с дупелиных лугов. Провели ее ближе к опушке Шири, разыскивая тетеревиные выводки, — получалось удачно. Искра работала как часы, анонсируя, если мы теряли ее из виду в кустах. Николай Николаевич приустал, успокоился и четырьмя удачными выстрелами взял трех крупных начинающих мешаться пером молодых тетеревов. Возвращались во Владыкино триумфально: несколько пар болотной дичи и тетерева. Николай Николаевич всем рассказывал о нашей охоте, говорил, что у него никогда так еще не было. Я был, как говорится, по уши доволен и за себя, что не зря позвал, и за Искру, что так славно работала.

Искра застыла в неподвижной стойке. (Н. Н. Семенов во Владыкине. 1964 г.).

Нам принесли сома.

Надо сказать, что с болотной дичью, бекасами и дупелями, Николаю Николаевичу решительно не везло. На следующий день его пригласил на охоту Борис Ермолов. Они охотились в дальнем углу Шири. Птицы было много, Тролль работал отлично, а Николай Николаевич опять горячился и промахивался. В конце концов, раздосадованный, предложил свое прекрасное «Перде» Борису: «У меня не получается, стреляйте вы».

Приезжие москвичи и ленинградцы уже освоились в занятых ими избах. Дамы сходили неподалеку в лес на прогулку, принесли с фермы ведро молока, достали у соседей овощи, творог, сметану и от Петра Голубева мед. Даже рыбу кто-то из деревенских принес — большого, толстого сома. Обедали по своим домам, но вскоре сошлись в большой избе посередине деревни и замечательно провели вечер.

Засиделись до поздней ночи, — так весело, так хорошо, уютно было нам вместе, близким по духу людям, почти случайно оказавшимся вместе в далекой деревне на берегу тихой красавицы Увери.

Помню, хорошо помню, как Наташа Семенова с Милой отлично, художественно профессионально, пели дуэт «Ночи безумные», как все пели хором старые, милые с детства песни. Как Мила под гитару спела модную тогда песню — «Подари мне билет, мне билет на поезд куда-нибудь, а мне все равно, куда и зачем, лишь бы отправиться в путь». Запомнил потому, что тогда эта песня была близка моему сердцу, а почему — сейчас вспомнить не могу.

Мы проводили машины до самого парома через Уверь, помогали тянуть канат, и автомобили один за другим скрылись на лесной дороге к деревне Болонье.

Я пишу эти строки в домике на берегу теплого и ласкового моря. Вчера купил в киоске газету. На второй странице — награждение академика Н. Н. Семенова орденом Октябрьской Революции за заслуги и в связи с девяностолетием. Николай Николаевич — в Москве, тяжко болен. Я давно его не видал, тем более не был с ним на охоте. Предыдущие годы бывал у Семеновых все больше по делам или навещал, попав проездом в Москву. Правда, был один приезд, как-то связанный, пусть косвенно, с охотой.

Я нажал кнопку звонка у хорошо знакомой двери в торце большого, протяженного здания Института химфизики. Там квартира Семеновых. Было часов девять вечера; я пришел, чтобы провести его остаток, короткий после служебных дел, и переночевать. Дверь открыл и заслонил собой незнакомый мужчина:

— Вы к кому?

— К Семеновым, — не понимаю, что за человек, здороваюсь, хочу пройти мимо.

Незнакомец недвижен, пристально смотрит мне в лицо:

— Ливеровский?

— Да, — ничего не понимаю, начинаю раздражаться.

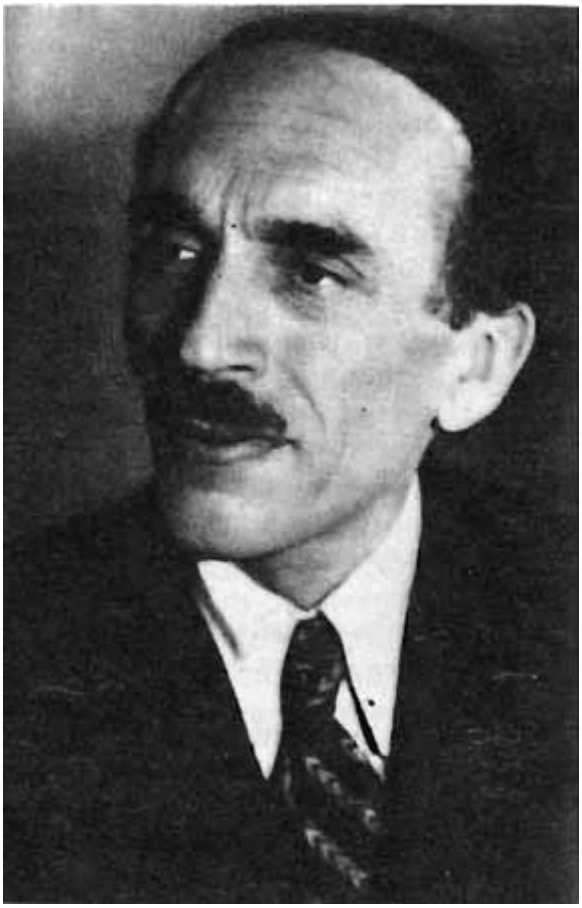
— Алексей Алексеевич?

Из-за спины мужчины появляется лицо Наташи:

— Леша! Проходи, it's a shadow.
[9]

Тут я понял, в чем дело, и удивился, что он меня узнал. Решил, что, вероятно, лица родственников он запоминал по фотокарточкам.

Было у меня к Николаю Николаевичу дело. За поздним ужином мы сидели вдвоем — в доме это можно, — я рассказывал про свою лабораторию. В свое время он нам решительно помог в ее организации. У троих ученых-химиков Лесотехнической академии возникла мысль о перспективности глубокой переработки древесных пирогенных смол. В один из приездов я рассказал Николаю Николаевичу об этом. Видимо, убедительно. Он заинтересовался, внимательно прочитал план-программу, много расспрашивал, загорелся, советовал. В результате нас троих вызвали из Ленинграда в ЦК КПСС, обо всем расспросили, и после этого Проблемная лаборатория была создана быстро и масштабно. И вот теперь я докладывал, что наша Проблемная уже принесла первые научные и промышленные плоды.



Николай Николаевич Семенов.

Николай Николаевич был доволен, радостен, хотя наши работы были далеки от круга его деятельности.

Я решил использовать свой приезд, чтобы пригласить Николая Николаевича на охоту. Прежде всего спросил, ездит ли он теперь? Николай Николаевич совершенно беззлобно, с юмором, но и с некоторым огорчением сказал, что теперь, при новых условиях, для него это довольно затруднительно. Разок ездил на уток, сидел в скрадке — его сопровождающий скучал и шебаршил в самые ответственные моменты, — «понимаете, Леша, а если бы на глухарином току? Вдвоем… не подойти». Улыбнулся своей мягкой очаровательной улыбкой.

Вспомнился нам ток на Киви-Лава — далекие чудесные дни. «И вообще охота на глухарином току — знаете, это здорово!» Я ответил, что да, удивительная охота. Брат Юрий написал о ней стихи, мне они так нравились, что я тут же прочел их наизусть:

Рассвет слегка отбеливает ночь,
На золото костра ложится пепел грубый.
Тревожный сон помогут превозмочь
За лесом журавлей торжественные трубы.

Пора на ток. Чуть видимой тропой
В разлив воды, по коридорам просек,
Где вехи звезд стоят над головой
И панцирь льда в ручьях ломают лоси.

Прижмись к сосне, сливаясь с темнотой,—
Ведь скоро долгожданное мгновенье,
Как в старой сказке, сбывшейся мечтой
Начнет глухарь таинственное пенье.

Вот вальдшнеп медленно проплыл над головой,
Сгорает ночь все ярче и чудесней.
По мягкому ковру опушки моховой —
Вперед в железном ритме песни!

Николаю Николаевичу стихи тоже понравились, особенно «железный ритм песни», он позвал Наташу, и она своим четким почерком записала стихи с голоса.

Ширь до мелиорации.

Спрашивал Николай Николаевич про Владыкино, как там люди живут. Хорошую память оставил у него этот богатый ладный колхоз. Я не хотел ни врать, ни огорчать, ответил односложно: «Живут». На самом деле к этому времени во Владыкине было уже плохо: укрупнили, председатель ушел, народ побежал…

Тогда я умолчал, а если бы разговор о владыкинских делах зашел теперь, рисковал бы огорчить еще больше. Пришлось бы сказать, что нет больше Ширi. Несколько лет назад пришла туда могучая техника и много людей. Работали на совесть, но по ущербному проекту. Перехлестнули мелиораторы всю Ширь магистральными глубочайшими канавами, перекопали щедро отводящими. Закончили, отпраздновали, рванув в одной куче остаток взрывчатки так, что во Владыкине кое-где печки потрескались и полетели стекла, — уехали навсегда. Надо было сдать новые земли колхозу, чтобы он принял, косить начал, обихаживать луга, мостики через канавы строить. А колхоз к тому времени развалился, работать некому… В первую же весну пошла вода из Увери в Ширь в непредусмотренном направлении. Обвалились, заболотились канавы, пошел от них ивняк на чистые карты — ни проехать, ни пройти, ни косить, ни даже скот выпустить — непролазный кустарник, вода, черт ногу сломит, одни лоси бродят, много их.

Не стало Ширi, великого крестьянского богатства. Ушли местные жители, остались во Владыкине три

приезжих пенсионера — и все.

В каждый мой приезд я докладывал Николаю Николаевичу о работе нашей лаборатории, он был как бы крестным отцом ее. Два раза он помог мне решить некоторые организационные вопросы в министерстве. Со своей стороны, я немного помог Николаю Николаевичу, когда он отстаивал Байкал. Я преподавал на химико-технологическом факультете Лесотехнической академии и через своих коллег-профессоров и учеников, работающих на целлюлозно-бумажных заводах страны, получал надежные сведения о возможностях и фактическом состоянии очистных сооружений и посылал их Николаю Николаевичу.

Очень запомнился мне один вечер в квартире Семеновых на Воробьевых горах. Пришли Юра Семенов, мой брат Юрий и я. Николай Николаевич в это время был председателем комиссии Академии наук СССР по рассмотрению деятельности академика Т. Д. Лысенко. Рассказывал нам. Впечатление было удручающее, прямо страшное. Нам, слушавшим, показалось, что комиссия вынесла слишком мягкое решение. Высказывались эмоционально, напали на Николая Николаевича. Он отбивался и в конце концов довольно резко ответил: «Вы что же хотите, чтобы мы с ним боролись теми же методами?»

Светлым летним утром Николай Николаевич провожал меня к проходной института. Перед зданием главного корпуса был цветник, по существу розарий. Красота и аромат удивительные. Довольный моим любованием, Николай Николаевич сказал:

— Розы — это очень важно. Когда перевели наш институт сюда, в Москву, люди жили плохо. Голодновато, неустроенно, тесно — по пятнадцать и больше человек в квартире. А тут еще скучает народ по родному городу, ведь все ленинградцы. Работа не шла как бы хотелось. Поздно было, все равно рискнул — заказал в Ростове пять тысяч роз. Прислали уже по первому снежку — такие маленькие коряжистые обрубочки. С весны они мучились, мучились — думаем, пропали! — и вдруг как пыхнут! Расцвели. Сотрудники ходят, сидят вокруг, любуются. Я позволял, особенно в награду и по торжественным дням, рвать эти розы. Их везли по Москве всем на удивление. Время тяжелое — и розы. А у нас пошла работа. Розы — это важно!

Я повторил:

— Розы — это важно.

«САМ» ЧЕРКАСОВ

Нина открыла мне дверь парадной, сказала:

— Здравствуй, проходи скорее, у меня один мальчик, это чудо, он сейчас работает.

На языке начинающей артистки это значило — играет, представляет.

Через темный длиннющий петербургский коммунальный коридор я спешно прошел в ее комнату. Между длинными тяжелыми портьерами высилась человеческая спина, и ее кто-то обнимал, невидимый в глубине оконной ниши. Слышалось ласковое бормотанье, длинные руки нежно поглаживали эту спину, иногда приостанавливались, как бы протестуя или недоумевая, раскрывали широкую длиннопалую кисть, иногда резко укорачивались, уходили в рукава и как бы смущенно прятались.

Нина захлопала в ладоши:

— Браво, Коля! Браво! Это великолепно!

Портьеры раздвинулись. К нам обернулся высоченный молодой человек со смеющимся приветливым лицом. У окна он был один.

— Знакомьтесь! Артист ТЮЗа Коля Черкасов. А это мой братишка, двоюродный, Леша.

Так я, прежде чем с самим Николаем Константиновичем Черкасовым, познакомился с его руками, ставшими впоследствии столь известными. С тех пор я все чаще встречался с Колей Черкасовым и, естественно, обращал внимание на упоминания его имени в газетах и театральных афишах.

Приходилось видеть его и на сцене. Помню, как искренне смеялся над Патом и Паташоном, поддаваясь радостной, талантливой игре артистов и обаянию новой для меня хлесткой синкопированной музыки. Неприемлем, даже неприятен мне оказался тюзовский Дон Кихот Черкасова. У нас дома этот герой Сервантеса был серьезно и трогательно любим, а тут гротеск, издевка — противные внешний облик и реквизит — кочерга вместо копья и противень — щит.

Общеизвестно, что трудно воспринимать и оценивать игру артиста, если его близко знаешь вне театра. Просто невозможно отрешиться от ощущения, что это не персонаж пьесы, а Петя или Коля в гриме. Так получилось и у меня с Черкасовым. Только много, много позже, когда я смотрел фильм «Депутат Балтики», я забыл, кто профессор Полежаев. Позвонил Коле и сказал ему об этом со смущенным смехом. Он добро посмеялся вместе со мной, добавил:

— Забавно, что эту роль мне не хотели давать, прямо вырвал и наших стариков обидел — жалко.

С Колей Черкасовым, не артистом, сблизила меня охота. Рыболов с детских лет, он довольно поздно

увлекся охотой, и, пожалуй, под моим косвенным влиянием. Его втянул в постоянную охоту свояк — адвокат Владимир Владимирович Щербинский, страстный охотник и мой ученик по этому делу.

Сначала я даже не поверил слухам, что Николай стал охотиться, зная его страшную занятость и увлечение работой. Поэтому удивился, когда он позвонил мне и попросил съездить с ним за город по, как он выразился, «охотничье-собачьему делу».

Осенним вечером в одном маленьком деревенско-дачном доме состоялся такой разговор:

— А скажите, пожалуйста, если перед собакой выскочит сразу два зайца, которого она погонит: правого или левого?

Я ответил без улыбки:

— Это очень опасный случай. Если зайцы поднялись одновременно и на одинаковом расстоянии, горячая гончая может разорваться пополам!

Коля, заметив, что я начинаю раздражаться, сладко потянулся и сквозь не очень натуральный зевок пробасил:

— Спать пора, народы. Завтра до света поднимемся. Пойдем-ка, Леша, посмотрим на погоду.

Под фонарем, крутясь, поблескивала мельчайшая изморось. Влажный воздух был насыщен грибным запахом палых листьев.

— Не сердись, Леша, что тебе такой вопрос учинили. Я сказал, что купить хочу, привезу друга, сведущего человека, пусть послушает собак, как скажет, так и будет. Вот и щупали, что, мол, за эксперт!

— Не люблю собачьих барышников.

— Почему барышники? Охотники неплохие, заядлые. Одному понадобилось крышу крыть, расход большой, а у меня так подошло: отпуск и премия.

— Я не против, что собак покупаешь. Сколько тебя в охоту втягивал? Не получалось. Теперь Нина говорит: «Коля каждый выходной в лесу». Хорошо. А торговлю собаками не люблю — в жизни ни одну не продал. Какая ни на есть — пусть живет. Если плохая — чаще всего сам охотник виноват. А вопросами допекали — ну и пусть. Этот, что уши лопухами…

— Петр Васильевич…

— Больше всего меня шпилил. И все свое: «У нас так принято. И это не по-нашему!» Вроде намека: не суйся в чужие дела.

На охоту вышли рано. Петр Васильевич не преминул заметить:

— У нас так принято — до света в лесу. Городские егеря до полдня спят.

Через час посветлело. Я разглядел собак. Выжлец ладный, с хорошей костью, бочковатый, одет нарядно, только морда седая и глаза поголубели: наверно, и зубов уже мало. Выжловка молодая. Прекрасная голова в хорошем русском типе. Чистые ноги. Жидковата. Ничего, после щенков раздастся.

Набросили в болотистой низине у бывших хуторов. Смычок пошел в полаз веселыми ногами и через десяток минут поднял и помкнул. Заяц с подъема пошел на цепь охотников. Я видел, что Коля приметил зайца, приготовился и недвижно стоял, выжидая. Научился, значит, что, чуть пошевелись, кинется беляк в сторону, в кусты, — и все.

Гулко хлопнул выстрел.

— Лешка! Слышал, какие голоса у собак? И заяц не долго жил.

— Да, гона, к сожалению, не послушали. Ладно, кричи: «Дошел!»

— Не так. Надо протяжно. Издалека не разобрать: «дошел», «пошел». Если называешь, то резко, отрывисто, а «дошел» кричи протяжно: «Доше-ел! До-ше-ел!»

Солнце перевалило за полдень, когда в заболоченном березняке гончие столкнули второго зайца и горячо погнали. Я поднялся на бугор старого хутора. Слушал. Дунай отдавал басистый голос, почти башур, скуповато, но мерно, Висла лила и лила взахлеб, как высокую непрерывную ноту, примолкая только на довольно редких сколах. Гон шел небольшими правильными кругами в низине, под хутором, где остались охотники. Смычок скололся. Белоштанный зайчишка бойко выскочил из кустов на чистое, пробежал полем, сдвоил, скинулся и скрылся в тальниковой чаще. Я внимательно наблюдал. Вот показалась и бежит вдоль кромки Висла. Пересекла выход и вход зайца и молча побежала дальше. Что такое? След парной, а она не задержалась и голоса не отдала. Может быть, заяц мне показался? Скачет Дунай… не дошел до следа шагов пять и заревел полным голосом. Ай да старик! Тотчас в стороне залилась и пошла наперерез Висла. Так вот в чем дело! Похоже, что у нее совсем нет чутья, — бывает такое после чумы. Теперь гонит на веру, по голосу Дуная. Какой же это смычок? И что будет, когда Дунай сядет на ноги?

Я пошел вниз на удаляющийся гон. На узенькой тропинке в заразистом хламном леске шел, повернув голову в сторону недалекого гона, и сошелся грудь в грудь с Петром Васильевичем. Спросил его без всякого вступления:

— Висла давно чумилась?

— Давно.

— Тяжелая была чума?

— Очень.

Николай стал охотиться. Строит шалаш на тетеревином току.

Ближе, ближе, не доходя нескольких шагов, сел.

Мы разошлись, я вернулся на хуторскую высотку, встал на дорожке и угадал. Гон приблизился, беляк показался на соседнем холме и спустился по дороге в овражек. Ясно, что сейчас прискачет прямо в ноги. Ага! Устрою маленькое представление. Рискованно, конечно. Сорвется — засмеют… Ткнул предохранитель и поднял ружье к плечу. Показались заячьи уши, потом и он сам. Ближе и ближе — не доходя нескольких шагов, сел. Поводит ушами, слушает гон. Я закричал громко и протяжно:

— Доше-ел! Доше-ел!

Беляк прянул, как подброшенный пружиной, кинулся назад, частя длинными лапами, — набирает ход. Десять, двадцать, тридцать шагов… Не отрывая щеки от приклада, еще раз как можно спокойней кричу:

— Доше-ел! — и плавно нажимаю на спуск.

На бугор поднялись охотники, молча смотрят, как я потрошу заячью тушку, укрепив ее в развалине березки. Первым не выдерживает Петр Васильевич:

— Скажите, пожалуйста, как получилось, несколько раз крикнули «дошел», а выстрел потом. Мне показалось?

Я вытащил из рукава клеенчатый мешок, опустил туда тушку, ответил:

— Верно, сначала крикнул, потом стрелял. У нас так принято! Заяц шел по чистому, дело верное, я поторопился крикнуть, чтобы вы не стояли зря в болоте.

В электричке, по дороге в город, Коля сказал:

— Отказались продавать. Дескать, прикинули так и этак, — не подходят вам собаки. Вам на годы — Дунай староват, к Висле в пару другого подобрать трудно. Твоя работа? Не обиделись ли ребята? Они

хорошие.

Характерно это было для Коли. Из всей довольно неприглядной истории один вывод, одна забота: «Как бы людей не обидеть».

И все же Николай собаку купил — правда, не смычок, а русскую гончую Трефу, невысокую ни по крови, ни по полевому досугу. Покупал по его поручению свояк и устроил за городом. Жена Коли, Нина Николаевна, в своей книге «Рядом с Черкасовым» вспоминает не совсем точно: «Собаки — гончие русские, польские, еще какие-то, уж я не помню, толпились в нашей жизни. Были собаки законные, жившие с нами в Комарове, щенившиеся массой шумных, суетливых щенков, и были собаки тайные, о которых я не должна была знать». На самом деле в домах Черкасова безраздельно господствовали собаки типа жесткошерстого фокса Мули или дворняжки Комика. Охотничьи собаки, почти без исключения, жили «в людях», за городом и, когда их количество сильно увеличивалось, вызывая изрядные расходы, становились «тайными».

Охота сблизила нас с Колей, несмотря на большую разницу профессий. Мы встречались у общих родных, и уж конечно, если дело касалось приобретения собак, ружей или выбора мест охоты, контакт возникал немедленно… Коля был не хвастлив, но как не поделиться радостью получения таких подарков, как безынерционный спиннинг от Фредерика Жолио-Кюри или двустволки от маршала Чойбалсана. В последнем случае Николай даже немного обиделся на меня, когда я не к месту и не подумав сказал, что «Зауер три кольца» — отличная машина, хороший подарок, однако в мире есть марки и повыше.

При всех встречах мы очень мало говорили о театре и о том, что с ним связано. Коле, видимо, хотелось отдохнуть от этих дел, а я считал себя недостаточно сведущим. Я стал пристальнее приглядываться к Николаю и раздумывать об этом незаурядном человеке. Многое в нем было примечательным, начиная с внешности. Над своим высоченным ростом он сам любил подшучивать, но с удовольствием вспоминал, что именно это обстоятельство привело к счастливой, на всю жизнь запомнившейся случайности. Будучи статистом в спектакле «Дон Кихот» Массне, он выезжал на лошади, загримированный под Шаляпина — дублировал великого артиста. Голос Николая Черкасова, прекрасный, низкого тембра, ярко индивидуально окрашенный, легко узнавался из тысячи голосов в передачах по радио или в кино, с первых же слов.

Черкасов был прекрасным примером для подтверждения общеизвестного правила, что если человек талантлив, то чаще всего не в одном, а во многом. Он был очень музыкален, обладал редкостным слухом, отлично играл на рояле и любил петь. Его близкий с самой ранней молодости друг, знаменитый дирижер Евгений Александрович Мравинский чрезвычайно высоко ценил музыкальную одаренность Николая и уговаривал его идти совместно по этому пути. Так не получилось, но долгие годы, собираясь вместе, они любили поиграть на рояле в четыре руки и напевать. Добавлю, что и рисовал Коля очень и очень неплохо. И самое главное — это любовь к театру и желание играть самому, присущие Черкасову, можно сказать, с детства. Эти данные и высокая ответственность Николая по отношению к избранной профессии привели к тому, что он стал быстро приобретать известность как актер в театральном мире и у зрителей.

Голос в телефонной трубке я узнал сразу:

— Мне надоели наши собаки! Один шум и никакого толка: прогонят — и бросят. Так каждый раз: зайца в глаза не увидишь. Как дела? Володька говорит, что у тебя выжлец — чудо, гонит до победного. Кличка что-то вроде Лешего…

— Чудик. Работает прилично.

— Поедем? У меня местечко освоено, полигон. Посторонних никого, зайца навалом.

— Снегу многовато… впрочем, поедем. Много, говоришь, зайца?

Машина идет по Кировскому мосту. Еще темно — Николай заехал за мной рано. Погода отличная — в свете фар редкие, крупные, как бабочки, снежинки, мороз небольшой.

— Устал, Алеша, вставать не хотелось. Тяжелая у нас, артистов, жизнь. Вечером спектакль, после него ужин до позднего, да еще с горячительным, спим, верно, долго, да не очень — надо на репетицию. И так каждый день. Бывает частенько, что и в воскресенье работа. Устал, вялость какая-то… Коньячку бы с собой? Нинка денег не даст. Ой! Франя [10]выручит, золотой человек.

Е. А. Мравинский, Н. К. Черкасов, В. В. Щербинский на даче у озера Пюхи-Ярве.

Подъезжаем к его дому. Я остаюсь в машине. Николай возвращается довольный, подмигивает мне: дескать, все в порядке.

До полигона около ста километров, недалеко, и все же, по тогдашним дорогам, это часа четыре. Есть время поговорить. Коля — собеседник своеобразный, потому что он внутренне неспокоен, всегда если не кипит, то бурлит. Или роль повторяет, прикидывает, как лучше, иногда даже на слух. В разговоре часто примолкает, продолжая его мысленно про себя, потом говорит опять уже дальнейшее. К такому диалогу привыкнуть трудно, но можно.

Полигон, куда мы едем, хозяйство одного майора, давно знакомого Коле.

— Замечательный охотник и умница. Знаешь, что он выдумал? Там на старых хуторах стайки две или три серых. Снегу много, мешает кормиться. Русаки перевелись, помочь не могут. Так он, майор-то, распорядился прямо по полям верхами ездить. Коням проминка, куропаткам — лунки от копыт, кормиться легче. Здорово! А? Немного таких уголков осталось, теснит человек природу, даже если жалеет, само по себе получается…

Коля замолкает, и я понимаю, что думает про Комарово, где у него дача, и он рассчитывал, что будет и охота; но поселилась масса народу, и об охоте не приходится и думать, вот и едем…

— Первые годы всего было довольно: беляк, серая, белая, тетерева. Даже глухариные тока искали. Теперь только зайчишка, и то не богато, и везде так…

Коля примолкает, и я знаю, что думает о втором своем доме — около станции Суходольской и озера Пюхи-Ярве. Там получше, но тоже уже бедно с дичью.

— Придется нам, как за границей, фазанов разводить…

— Ну и что? Будем и фазанов, и серую, и русаков, и утку…

— Я видел в Чехословакии. Богато, но как-то не по-нашему.

К шлагбауму подъехали уже близко к полудню. Нас явно ждут, знают и номер машины, и кто едет. Останавливаемся у проходной. Дежурный докладывает кому-то по телефону, потом протягивает трубку Черкасову: «Майор».

Слышу:

— Спасибо! Большое спасибо! Если разрешите, не сейчас, после охоты — припозднились, день короткий. После непременно, а как же…

Машину, чтоб не замерзла, оставили у проходной под надзор дневального (антифриза тогда не было). Дальше пошли пешком: Коля, я и Чудик. Тяжеловато брести, пожалели, что лыж не захватили. Через поле в лес, и там на просеке я набросил выжлеца. Мелькнув пестрыми боками, он, несмотря на снег, галопом скрылся в лесу и через несколько минут (и верно, богато здесь зайца!) без добора, ярко помкнул. Коля сорвал с плеча заряженное еще на поле ружье и побежал в сторону гона.

— Коля! Стой! Погоди! Куда ты?

Оборачивается ко мне, не понимая, с досадой:

— Ты что? Не слышишь? Гонит же, гонит! Чудик.

— Слышу отлично. Теперь посмотрим, как будет ходить заяц, а пока позавтракаем, с утра не ели. Поглядывай вдоль просеки, где перейдут.

Я скинул снег с ветровальной березы, разместил на ней термос с горячим чаем и бутерброды с ветчиной. Николай неохотно вернулся. Внове была ему такая охота — привык торопиться, успевать к гончим, пока не бросили. Я был уверен в Чудике и форсил, конечно: неторопливо, со смаком закусывал, посмеивался над горячностью друга. Куда там! Коля то обжигался горячим колпачком термоса, рывком ставил его на «стол», то хватался за ружье, отбегал несколько шагов в сторону, посматривая на меня, возвращался, отрывал кусок бутерброда, роняя половину в снег. Не по его характеру был такой стиль охоты, не стояли на месте ноги, трепетала душа. К счастью, уже на первом круге мы оба заметили, как через просеку мелькнул заяц и вскоре за ним с полным голосом Чудик. Уже ничего не спрашивая, Николай бросился туда, прокалывая снег длиннющими ногами, добежал до перехода и стал. Я, не торопясь, собирал в рюкзак остатки завтрака.

Мелькнул заяц, вскоре за ним с полным голосом Чудик.

Сразу дело не получилось, но на третьем, довольно большом, круге раздался в снежной нависи глухой выстрел и крик: «Дошел!» Чудик своим высоким, некобелиным голосом бойко доганивал уже взятого зайца. Коля вышел на просеку, заметил меня, поднял за уши невеликого белячишку, прибылого, с голубым ремнем на спине и рыжей кокардой, и с подъемом стал декламировать какой-то монолог… Забыл, не могу вспомнить, что это было, скорее всего что-то из фильма «Дон Кихот».

Я был рад за друга; как положено, пожал руку, поздравил с полем, внутренне посмеиваясь над его горячностью и забавляясь странной ситуацией, когда я оказался единственным зрителем выступления замечательного артиста. А Николай прямо влюбился в Чудика.

Слава Черкасова росла стремительно и широко. Был ли он ей рад? Конечно, был. Ценил неподдельно теплые встречи со зрителями в театре и на выездах, — на знаменитых ленинградских заводах, в частях Красной Армии, на кораблях Балтфлота и за рубежом: в Монголии, Чехословакии, Германии, Швейцарии, Франции, Китае, Польше, Америке, Бразилии, Англии, Испании, Италии, Индии. Его, естественно, радовали и знаки признания: Народный артист СССР, лауреат многочисленных премий, ордена и, наконец, депутат Верховного Совета СССР. Известность мировая, добрая и… все же утомительная.

Помню, я шел по Невскому от Литейного к Дому книги, по краю тротуара. Притормозило такси, вышел Коля:

— Хорошо, заметил тебя — дозвониться не мог. Надо поговорить о субботе. Пройдемся? Пожалуйста, за нами тихонько, — это таксеру.

Шли не торопясь, разговор длинный, давно не виделись. Через некоторое время я заметил, что продвигаться стало трудно. Ряд встречных становился все плотнее, и позади грудилась и росла толпа мальчишек и взрослых. Раздавались голоса: «Черкасов! Черкасов! Капитан! Капитан, капитан, улыбнитесь…» Идти и разговаривать стало невозможно. Досадно было. Пришлось забраться в то же такси, уехать от толпы и разговаривать, сидя в машине. Кому такое может нравиться! А ведь назойливое, праздное любопытство сопровождало его все последние годы. Уставал он от этого и, главное, от невероятной физической и моральной перегрузки. Помимо театра — кино, колоссальная разнообразная общественная работа, при его-то чувстве ответственности! Представить надо! Депутат Черкасов пишет в

отчете: «Мною было принято официально 2565 человек. Жалоб и вопросов рассмотрено 2220».

На охоте за границей.

За городом машина пошла ровнее. У Николая вид усталый, даже нездоровый. Жалуется:

— Устал, смертельно устал.

Улыбается:

— И все потому, что на охоту не езжу, не отдыхаю по-настоящему…

— Лень или некогда?

— Некогда, так все сошлось, и, знаешь, самое тяжелое — это кино. В театре отзвонил — и все, на съемках сутками, и условия… Знаешь, когда работали над Невским, я почти — а может быть, и в самом деле — в обморок упал. На мне латы, подкладки; софиты, свет со всех сторон и в морду, дубль за дублем, не минуты — часы, вот и сомлел, проклятое дело…

Мы опять на заброшенных хуторах, там, где когда-то пробовали смычок. Только пора другая.

Синее, синее холодное небо. На березах иней. Ей-богу, ледяные пластинки гуще осыпали кроны, чем свежая листва в перволетье. Хрестоматийно и волнующе на ослепительно белых вершинах и плакучих ветвях висят черные груши косачей. Тетерева пытаются кормиться, им не просто — один оступился и рушится до полдерева в холодном водопаде инея.

— Видел? — спросил Николай. — И березы, как фонтаны в голубое. Хорошо! Воздух, воздух! Не

надышаться. Голова с непривычки кружится…

В лесу под горой послышался высокий заливистый голос Чудика. Мы подошли по открытому до крутого склона к опушке. Что делать? Спускаться вниз, лезть в эту белую плотную стену? Через пять минут даже в карманах будет ледяной песок. Решили подождать, постоять на чистом — авось выжлец сюда выгонит. Николай вскарабкался на груду валунов у старой яблони. Я поднялся на широкую поверху каменно-бетонную ограду над обрывом. Гон то приближался, то уходил к пределам слуха. Несмотря на мороз и рыхлый снег, Чудик держал беляка надежно, с небольшими перемолчками. Ждем, начинаем подмерзать…

Легкий шорох, — по ограде прямо на меня неторопливыми прыжками идет чисто белый зайчишка. Подбегает ко мне, недвижному — я ему мешаю пройти, — садится рядом. У меня на руках рукавицы. Надо снять правую, незаметно, бесшумно. Подтянуть к зубам и стащить. Заяц сидит спокойно, поводит ушами, слушает, как внизу, неподалеку, его гонит Чудик. Краем глаза вижу Колю, он — весь возбуждение, — видит зайца и думает, что я не замечаю. Свистеть, кричать нельзя, осторожно показывает пальцем, поднимает руку, поводит двумя пальцами — это уже уши. Я тихонько, миллиметр за миллиметром тяну рукавицу ко рту. Как дать знать, что вижу? Коля не может успокоиться, убежден, видимо, что должен мне показать, должен и… превращается в зайца. Готов поклясться, что на груде валунов образовался заяц — фигура, лапы, голова, уши… Не понимаю, как это он сделал! Не выдерживаю, фыркаю и хохочу в голос. Заяц мощным прыжком скинулся с забора под обрыв.

Коля подошел, тоже смеясь:

— Ну и парочка была! Не придумаешь! Ведь рядом, рядом! Вот бы фотоаппарат.

— Коля, кого легче было играть, Грозного или зайца?

Ответил серьезно:

— Труднее всего царевича Алексея.

Много позже я увидел замечательный снимок «Поиски зерна». Там на навозной куче снят был Черкасов в позе петуха — блестяще у него получилось. Подумалось: комик, царь, князь-полководец, испанский гидальго, веселый монах, старый профессор, мрачный трагический генерал Хлудов, петух, заяц — вот какова была способность этого замечательного артиста к перевоплощению.

Николай Константинович с сыном Андреем.

Началось с того, что Коля стал избегать высоких лестниц, а на охоте: «Ребята, куда вы торопитесь? Давайте потише». При встрече со мной Нина сказала: «Мне не нравится, как Коля дышит, к врачам не идет». Это было самое начало. Болезнь быстро прогрессировала — тяжелая эмфизема легких.

Досадно нам, друзьям-охотникам, было и тревожно, что Николай Константинович все реже и реже выезжал на охоту, а затем и вовсе бросил. И пусть часто совпадало, что в самый сезон охоты он где-то в Лондоне или Праге, тут уж ничего не поделаешь, — нет, узнавали: он дома и… не едет. Нездоровье — это, конечно, серьезно, но, путая причину со следствием, мы наивно полагали, что стоит только ему возобновить охоту, как болезнь отступит. Звали Николая.

В те годы мы небольшой компанией держали в Лисинском лесничестве Лесотехнической академии смычок гончих, англо-русских. Шугай и Волга работали вполне прилично и голосами могли порадовать. Приглашали мы Колю туда постоянно и все более настойчиво, а время шло. И вот заехали мы к Черкасовым незадолго до выходного дня целой компанией. Опять уговаривали. А он:

— Братцы, спасибо! Да куда мне, полквартала не пройду. Вот поправлюсь…

Мы в ответ:

— И не надо ходить, подвезем, ха! ха! прямо к заячьей лежке. Будешь у машины стоять.

Уговорили. Только ружья не взял: «Куда уж мне, послушаю и ладно, лесом подышу».

Вел машину наш общий друг профессор Ленинградского Политехнического института Померанцев. Остановились у заправочной станции. Из окошка высунулась миловидная девица:

— Нет бензина.

— А у меня в машине Черкасов.

— Артист Черкасов?

— Он самый, Николай Константинович.

— Ой! Покажите. Можно мне с вами проехаться, ну чуть-чуть, до шоссе? Можно?

Машина была заправлена.

«Победа» свернула с Кастенского шоссе на небольшую поляну у поворота на Машино. Прокатилась немного по мягкому и стала на крестовине большой чищеной просеки и глинистого проселка. Замолчал мотор. Разом открылись все четыре дверцы, люди вышли и окунулись в прохладу и тишину осеннего денька. С правого переднего места поднялся Николай Константинович Черкасов. Потянулся устало, не резко. Повел головой, словно приглядываясь или принюхиваясь. Сказал: «Хорошо!» И все наперебой поддержали, что действительно хорошо и следовало ожидать, что будет хорошо. Потому, что воздух был напоен печальным, но приятным ароматом палой листвы, среди хмурой белесости небосвода обещающе светились оконца по-осеннему кроткой просини. Потому, что кто-то почти: разу услышал голоса пролетных гусей. И еще потому, это самое главное, всем хотелось думать, что Коле будет лучше, если не совсем уйдет, так отступит проклятая болезнь.

Как мне помнится эта охота! Будто вчера она была. Ведь тогда я верил, что он выздоровеет.

Мы достали из машины и расчехлили ружья. На покатом капоте «Победы» расположили завтрак — два термоса и прочее. Собаки попискивали и рвались от нетерпения на поводках. Борис Ермолов махнул рукой на еду, отвел смычок неподалеку, потрубил в рог, порскнул и набросил. И надо же, как удачно получилось, — в самом деле к заячьей лежке подкатили; не успели по чашечке чая выпить, как совсем рядом два раза вскрикнула в доборе Волга и помкнула. Тут же на подъеме неистово, с заревом загремел и подвалил Шугай. Митя Тищенко схватил ружье и побежал по просеке. Померанцев, не торопясь, соображая, куда ведут собаки, пошел по обочине дороги. Я зарядил тройкой «Лебо» и протянул Коле:

— Держи, я уже в этом году настрелялся. Тут и останемся, хорошо видно: перекресток и лаз не хуже других — вполне может заяц выйти.

Коля взял ружье, согласно кивнул и стал слушать.

Гон пошел на прямую. Голоса собак все тише и тише, и вот я уже не слышу. Скололись? Потеряли? Сошли со слуха? Спросил Колю, говорит: «Гонят, слышу, очень далеко». У него всегда был слух лучше моего. Через пять минут и он отказался:

— То ли есть, то ли нет, где-то на грани слуха. Или это ветер? Самолет мешает. Обожди. Нет, точно, гон — и ближе: завернули.

Вскоре и я зацепился за шелестящий, будто ветер по вершинам деревьев, звук и уже не отпускал его.

Первый круг смычок вел без скола, однако зверь круга не завершил, свалил в сторону недалекого плотного молодого ельника и там принялся мастерить. Смычок часто примолкал, гнал неровно, толчками… Коля сказал: «Рахит!» Это в нашей компании был изобретен и привился такой термин для вялого, «рахитичного» гона.

Замолчали, скололись гончие. Митя пошел в ту сторону, где они последний раз отдавали голоса. В лесу после звонкой песни гона воцарилась тишина. Хорошо было помолчать и нам — мне, сидя на пеньке, Коле, стоя у радиатора машины. Уютно, не разрывая тишины, постукивал на сушине дятел. А вот и другая песня: и все громче, громче, приближаясь. Гуси летят! Хочешь не хочешь, поднимешь голову и будешь высматривать. И не для того, чтобы стрелять, — на огромной высоте летят птицы. И не только охотники, все люди непременно хотят увидеть. Зачем? Неизвестно, но обязательно надо, если услышал, то поглядеть. Колдовство какое-то! Что-то задевают в душе человека эти томные и тревожные голоса. Хочется высмотреть, убедиться, что это дикие гуси. Вот они! Вот они! Часть треугольника на белом, часть на голубом. Чуть левее облака, похожего на ступеньки лестницы.

Из лесу вылетел и потянул по просеке глухарь. Большой, темный, бородатый, он просвистел

крыльями над нашими головами. Стрелять нельзя — глухарь под запретом. А там, откуда он появился, вспыхнул и закипел яркий гон. Великолепный, доносчивый голос у Шугая — бухает не часто, зато как колокол. Волга льет флейтовый голос щедро, иногда — видимо, по-зрячему — взахлеб: музыка!

Коля схватил ружье, прислоненное к машине, взял его на изготовку. Гон все ярче. Слушаем, оба улыбаемся. Я говорю:

— Однопометчиков лай музыкальный…

Коля откликается:

— Понимал Некрасов… А ведь атавизм, от пращуров. Представь, у пещерного тоже собаки были, он слушал, волновался, нажидал… мамонта.

Голоса собак все ближе, совсем рядом. Мы оба смотрим вдоль просеки. И вот досада! Замелькали, перешли просеку пестрые рубашки смычка. Мы с Колей переглянулись, он развел руками, я согласно кивнул. Это значило: «Обидно, заяц прошел близко, а мы его не видели, судя по собакам, прошмыгнул лощинкой там, где стоял Тищенко. Ему еще обиднее, но не следовало уходить». Мой кивок: «Верно, именно там прошел беляк, и не стоит под гоном бегать».

С той минуты гон пошел ровней, смычок словно прилип к зайцу. Еще через полчаса в лесу резко грохнул выстрел. Мы услышали голос Бориса Ермолова:

— До-ше-ел! До-ше-ел!

Виктор Померанцев разводил костерок. Я вырезал рогульки. Пришел Борис, протянул Черкасову голубоватого беляка. Николай взвесил его на руке, решил:

— Прибылой, но из ранних, порядочный.

Притащили из лесу плахи вместо скамеек, стол-пень. Собрались кружком, пили чай, перебрали в подробностях весь гон. Решили: в следующую субботу поедем сюда же всей компанией, и Коля, конечно, и все будет отлично, еще лучше…

Не сбылось…

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Очень трудно писать про Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Жил он долго, не замкнуто, много людей его знали, работали с ним и дружили. Некоторые, не так их мало, поделились в печати воспоминаниями об этом замечательном писателе и большом интересном человеке. Знаменательно, что все, без исключения, писали о нем с любовью, с большой теплотой. Лучше-то мне и не сказать. Решил отказаться. Но изменил решение по одному, может быть и не существенному, поводу. Много лет я веду дневник — так, для себя. Записывал не много времени спустя, а сразу. Просматривая дневники, я нашел записи, касающиеся Ивана Сергеевича: детали встреч, его рассказы и отдельные мысли, записанные мною почти стенографически. Имею ли я право предать это забвению? Может быть, современники или будущие читатели найдут в моих записях что-то новое, дополняющее облик дорогого для многих, и для меня конечно, человека. А если и повторю, расскажу рассказанное, — велика ли беда!

Познакомился я с Иваном Сергеевичем в ЛОКСе — Ленинградском обществе кровного собаководства — в 1940 году. Тогда погибла у меня от чумы охотничья собака, и я подыскивал себе щенка. Будучи «англичанистом» — любителем английских сеттеров, — я выбирал производителей, от которых стоило бы вести породу. Как раз в это время среди английских сеттеров выделялась одна собака. В каталоге значилось: «Ирэн, блю-бельтон, рожд. 27/II — 37, от Джон-Грея И. И. Сухих и Флоренс Д. К. Рахманина, на испытательной станции первое место при дипломе 2-й степени». Эти сведения позволяли установить «линии» собаки, то есть способности и генетические признаки Ирэн, и, следовательно, составить некий прогноз качеств ее потомства. В каталоге значился и владелец: «И. С. Соколов-Микитов, канал Грибоедова, 9, кв. 131». Я договорился с Иваном Сергеевичем встретиться в ЛОКСе, в полуподвальном помещении общества во дворе дома на Литейном, известного всем ленинградцам по внушительному подъезду, воспетому Некрасовым.

Наружность Ивана Сергеевича показалась мне примечательной. Запомнился высокий рост, огромный, увеличенный залысинами лоб, резко сужающееся к маленькому подбородку лицо, чернявость, глубоко посаженные испытующие глаза. Одет он простовато, будто прямо с охоты, что было резким контрастом с одеждой локсовских завсегдатаев.

Говорили мы, естественно, про собак, про его любимицу Ирэн, про то, как обидно погибли у меня от чумы подряд два кровных щенка, что нет хорошей противочумной сыворотки, и о том, куда интересно поехать на охоту с легавой. Скоро я понял, что передо мной не спортсмен-собаковод, а охотник, ярый и знающий. Мне сказали, что Соколов-Микитов — писатель, но я ничего им написанного тогда еще не читал.

В те годы у легашатников было принято отдавать молодых собак в натаску специалистам-егерям. Иван Сергеевич натаскивал Ирэн сам. Эту работу-удовольствие он впоследствии любовно и точно опишет в рассказе «Малинка».

Виталий Бианки в 1938 году жил вместе с Иваном Сергеевичем в Мошенском районе, ныне Новгородской области, и был свидетелем становления Ирэн. В дневниковой записи от 4 июня он пишет:

«Вечером зашел Иван Сергеевич, посидел маленько. Я пошел с ним на Полуденное озеро показать бекасов».

6 августа уже такая запись:

«Вчера Ирэн, увидев, как кряка упала на воду, поплыла и принесла ее на берег (а не учена апортировать совсем), за что и была расцелована Ив. Сер-чем».

Вспомним рассказ «Малинка»:

«С незаметной глазу, заросшей лопушняком протоки неожиданно вырвался кряковый селезень; я выстрелил, и селезень упал в воду.

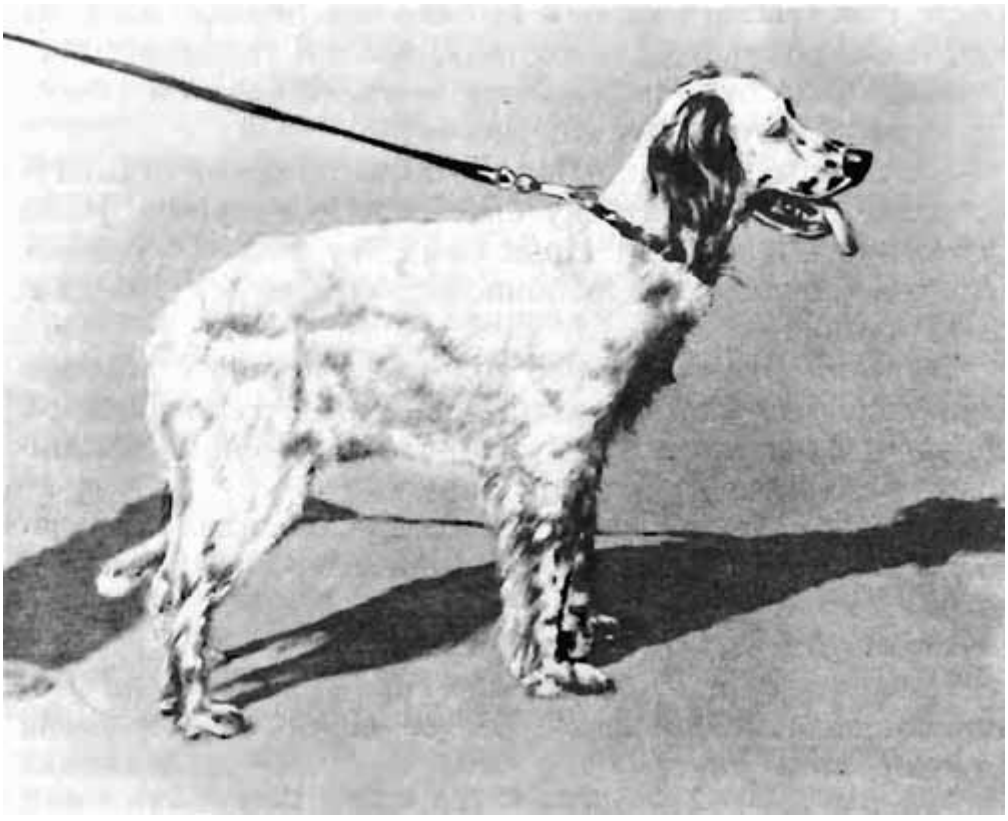
Берег озера был очень зыбкий, я не мог подойти и достать плавающего посреди озера убитого селезня.

Я подозвал Малинку, стал ее гладить, бросать в селезня палочки и просить:

— Ринушка-Малинушка, голубушка, принеси!

Собака поняла. Она вошла в воду, поплыла к селезню и вынесла его на берег».

Все точно, как было в действительности. Только поцелуй опущен.



Ринка-Малинка — героиня рассказов Соколова-Микитова. (Ирэн на выставке в 1938 г.).

Закончив обучение Ирэн, Иван Сергеевич, чтобы получить для нее классность, должен был поставить собаку на полевые испытания. Интересно, что по кинологическим документам 16 сентября 1940 года Ирэн испытывалась в районе станции Лахта по болотной птице, но вел ее не хозяин, а егерь Л. Н. Томашинский. Зная нравы того времени, полагаю, что Иван Сергеевич, не будучи полностью уверен в себе как в натасчике, за некоторое время до испытаний поручил профессионалу доработать Ирэн применительно ко всем требованиям полевых испытаний легавых собак.

Так я узнал Соколова-Микитова собаковода. С Соколовым-Микитовым писателем познакомился позже.

Вспоминаю завод, рабочий поселок на Северном Урале. Дело сделано, можно домой в Ленинград и… безнадежно. Кама еще плохо стала, директор сказал, что рискнет и даст машину, но не раньше, чем через два-три дня. Самолет не летит — пурга. Вечер, идти на улицу незачем и невозможно: не сообразил, что здесь уже может быть зима, приехал в осеннем пальто и ботиночках. Я один в комнате. Жарко, душно, заводская котельная близко, пара не жалеет, форточка открыта круглые сутки. Окно выходит на двор, в заветерье — изредка пучатся желтые шелковые занавески, подвешенные на «золотых» палках, и снежинки падают между окон, лишь самые смелые тают на подоконнике. Техничка сказала: «Отдыхайте, я пойду. Завтра утром согрею чай. Будить не буду, вам спешить некуда, видите — погода, спите на здоровье».

Сказала и ушла. Я один во всем доме. Что делать? Почитать бы! В прихожей на столике журналы, старые, с вырванными страницами, замурзанные, закапанные сладким чаем. В номере две кровати, аккуратно прямоугольничками застеленные. На спинках полотенца. На стене репродуктор. Еле пищит; чтобы услышать внятно, надо стать на стул и прижаться ухом. Развяжут или нет войну фашисты? Вряд ли. И бояться нечего. Правда, немцы, известно, отличные вояки, но наша армия неизмеримо сильнее, во всем преимущества.

У каждой кровати по тумбочке. Может быть, там поискать? В одной — кусок засохшего хлеба и разбитый стакан, в другой — полувыжатый тюбик зубной пасты и… книжка!

Разделся, приставил к кровати стул с настольной лампой, поднял повыше подушку и принялся читать.

Я ушел от окружающего, начисто ушел, не стало меня в заводском Доме приезжих, закутанном злой пургой. Я видел на берегу моря белый городок, точно из сахара, весь в густейшей зелени садов. Белую набережную, освещенную солнцем, по ней проходили женщины в черных шелковых покрывалах, похожих на большие раскрытые крылья. Я слышал, как, непрестанно звоня и крича, пробегают лоснящиеся потом скороходы, а за ними в открытых машинах следует богатая арабская свадьба, как плачет о чем-то несказанно древнем неведомо откуда исходящая музыка. Я чувствовал, как теплый береговой ветер доносит терпкие запахи земли, маслянисто-знойные, приторные… Я страдал вместе с маленьким, сухим матросом Танаки, таким строгим, бережливым, сдержанным и проигравшим в карты свою мечту. И больно мне было за выдуманную юношескую любовь молодого матроса, отвергнутую сказочно прекрасной заморской царевной — синеглазой турчанкой, торговкой мешками на константинопольском базаре.

В комнате стало светло — спохватился, что читал до утра. Посмотрел на первую страницу — И. С. Соколов-Микитов. Уж не владелец ли Ирэн, английского сеттера от Джон-Грея и Флоренс? Обязательно встречусь с ним, скорее всего на следующей выставке охотничьих собак.

На выставку я пришел преисполненный гордости, еще бы — привел показать смычок русских гончих Листопада и Порошу и английского сеттера Эрну. Выставка была на левом берегу Фонтанки, в саду. Устроив, привязав к колышкам под деревьями собак, пошел побродить, поискать знакомых охотников и собаководов. Совершенно оторопел, когда заметил необычайное, непонятное для первого часа выставки: густым потоком, вместе со своими собаками уходили в ворота люди. Война!

В войну люди — как корабли морского конвоя: движутся без позывных, с потушенными огнями, не аукаются и даже, проходя борт о борт, не ведают, кто рядом. После войны я узнал, что Виталий Бианки приезжал в блокированный Ленинград, рядом был, у самого моего дома проходил, не думал, что я там. Иначе непременно зашел, и я бы узнал, что Иван Сергеевич и не мог быть на выставке, — с весны 41-го года вместе с Виталием жил в Мошенском районе Новгородской области.

Летний отпуск в 1949 году я проводил в деревне Домовичи Любытинского района Новгородской области. Невеселый это был год. После счастья победы, волнующей радости редких возвращений — из нашей деревни ушло на войну двадцать два человека, вернулись трое, — тоскливые вдовьи будни, несбывающиеся надежды, бедность, запущенные без мужиковского присмотра избы и дворы, задичавшие нивы.

И по лесным и озерным делам год выдался смурый. Весна сильно запоздала: в полях к покосной поре трава только в низинах, на буграх косой не взять: редкая низенькая щеточка. Гриб пошел только в августе, а груздь и вовсе не появился. В лесу тетеревиные выводки и редки и малочисленны — хорошо, если матка сама третья. На берегах камыш и треста поднялись поздно, утка не загнездилась. И рыба, считай, что и не клюет. Плохой год, неродивый.

В июле (в дневниковой записи числа нет), ближе к середине, послышался шум мотора — в те годы редкость, — и рядом с моей избой остановился крытый брезентом «козелок». Из машины вышел Иван Сергеевич, увидел меня:

— Извините, не знал, что попаду в вашу епархию. Приехал в район, спросил, где красивые и охотничьи места, ответили — лучше нет как на Городне-озере. Дали машину.

Надо сказать, с моего бугра, где изба стоит, очень далеко видно, не на один километр, — широкое плесо, песчаные мысы, острова и высокий хвойный берег заозерья. Огляделся Иван Сергеевич, вздохнул глубоко, говорит:

— Красиво! Здорово хорошо, особенно после города-то.

С собакой на поводке вышла из машины женщина, простоволосая, в лыжных штанах. Отстегнула карабин. Кровный сине-крапчатый сеттер принялся карьером крестить низкорослую деревенскую травку, распугивая, но не трогая кур. Иван Сергеевич явно любовался собакой. Представил мне:

— Фомка, сын Ирэн, Фома Фомич.

— Почему Фомич?

— А это уж так.

— Поставлен?

— Работает, посмотрите сами. Птица-то есть? Как выводки?

— Мало и бедные.

Гости умылись на крыльце из хвостатого, звонкого умывальника, сели за стол. Поспел самовар. Приезжие вынимали из рюкзаков городские закуски. Иван Сергеевич поставил на стол поллитровку.

Сильно изменился Иван Сергеевич. Тяжелые прошли годы. (Фото 1943 г.).

С бугра, где изба стоит, далеко видно…

Здесь надо сказать, что Иван Сергеевич никогда помногу не пил, но, как русский человек, поговорить об этом любил. Его рассказы постоянно касались разнообразной выпивки или заканчивались упоминанием о водочке (слово «водка» он не любил). Пусть читатель не придаст этой обычной мужской браваде большого значения и на меня не посетует, что, рассказывая об Иване Сергеевиче, я частенько буду говорить об этом.

Иван Сергеевич оживился, повеселел — видно, любо ему в знакомой обстановке и рад, что доехал,

добрался до, кажется, неплохого места.

Сильно изменился Иван Сергеевич. Да и не удивительно, тяжелые прошли годы. Постарел, ссутулился, поседевшая бородка оттеняла черные насупленные брови.

Я устроил гостей в летней половине большой старой избы на берегу озера. Отдельно от хозяев, — так он просил. В тот же день подрядил и челнок, почти новый.

Жил Иван Сергеевич замкнуто, ни к кому не ходил, и к нему заходить, особенно первое время, стеснялись. На озере бывал мало, рыбу не ловил, утками не интересовался, да их почти не было.

В первый же день по приезде вытащил из длинного специально сколоченного ящика бортовой импортный мотор. Для челнока очень удобно: поперек бортов струбцина, на ней крепится сам мотор, а маленький двухлопастный винт выносится за борт, в воду, на длинном штоке.

Мотор поначалу капризничал, не заводился, но Иван Сергеевич его быстро и умело наладил. Я спросил, откуда он знает это дело. Он рассказал, что работал мотористом на самолете «Илья Муромец». В детские мои годы печатались в журнале «Огонек» фотографии «самого большого в мире, самого сильного аэроплана, русского, богатырского». И вот живой человек, который летал на нем. Стал для меня Иван Сергеевич человеком из легенды.

От нашей деревни ближайшая лавочка в пяти километрах. Работает в летнюю пору два раза: утром и вечером. Частенько рано поутру из Домовичей уходил в озеро челнок. Еле слышно урча слабеньким мотором, он плавно разваливал гладкую воду. На корме, не вынимая трубки изо рта, сидел Иван Сергеевич, на носу полулежала его спутница. Теперь, когда наше озеро с утра до вечера рычит металлом мощных подвесных моторов, я с нежностью вспоминаю уютный голос первого моторчика на озере Городно. В диковинку он тогда был, и каждый раз деревенские жители, прикрыв от солнца глаза, следили, как челнок бойко пересекает Большой плес и скрывается за Домовицким мысом. Через час-два челнок возвращался.

На охоту Иван Сергеевич ходил не часто и не надолго. Уже на большом солнце — «пусть тетерева след дадут» — выходил за деревню в ближайшие угодья: по краю озера, в лесистый островок в поле «Поляшный», на Домовицкий мыс (тогда его еще засевали). Возьмет из-под стойки одного-двух молодых тетеревов — и домой. Я с ним ходил редко — в это лето натаскивал свою молодую англичанку Эллу, и это требовало много времени. Про Фомку могу сказать, что работал он хорошо: чутье среднее, ход очень стильный и быстрый, стойка твердая, подводка свободная. Побрасывался после выстрела — обычный недостаток собак, с которыми охотятся, не очень заботясь о полевых дипломах. Стрелял Иван Сергеевич отлично, почти навскидку, с небольшим поводком.

Лодочный мотор капризничает. Д. Домовичи. 1949 г.).

Беседовали мы с Иваном Сергеевичем мало, только на охотничьи темы. Моя специальность инженера-химика была для него далека, а я в ту пору к литературе имел отношение весьма малое: печатал в газете «Вечерний Ленинград» фенологические заметки, о чем Иван Сергеевич мог и не знать.

Молчалив был в ту пору Иван Сергеевич, все больше слушал, изредка спрашивал. Много позже я узнал, какой он замечательный, блестящий рассказчик. А тут… почему так было — не знаю. Слушать он умел — вкусно, внимательно слушал.

Помнится, вернулся я из соседней деревни. Узнал там про забавный случай. На птичнике стали пропадать куры, породистые леггорны. Такая беда! В этой же деревне живет дачник, пожилой инженер, охотник. Шел он домой, на дорожку выскочила лисица с курицей в зубах. Дачник не растерялся, выстрелил. Лисица бросила курицу и скрылась в кустах. Инженер машинально поднял большого белого петуха и понес в деревню. На беду по той же дорожке шли домой женщины, среди них птичница. Увидела, закричала:

— Ой! Глико, бабоньки, вот кто наших курей химостит! Не отопрешься, все стрел слышали. Смотри, у петуна перья пулями посечены. Давай петьку! У-у-у! Бесстыжие глаза. Дать тебе по харе петуном-то!

— Да я, уважаемая, в лисицу стрелял…

Оправдания не помогли. Недоразумение разрешилось только на следующий день: ребята нашли в кустах у дороги мертвую лисицу и показали птичнице.

Иван Сергеевич посмеялся, сказал: «Напишите рассказ». Вдруг рассмеялся еще сильнее, добавил: «А могла и ударить».

Возвращалась через нашу деревню от дочки старуха, жена хуторянина Ефима Павловича. Попросила

меня перевезти на ту сторону озера, где она живет. Пришли на берег. Волна такая, что на челноке опасно, — может залить. В те годы на нашем озере больших дощатых лодок еще не было. Сидим у воды на бревнышках, ждем погоды, чтобы ветер хоть чуть стих. И не мы одни, целая компания собралась. Подошел и Иван Сергеевич, присел, трубочку запалил. Разговоры про всякое, и о том, что в Кончанском открывают Суворовский музей. Ольга Семеновна, тоже пожилая женщина из нашей деревни, подшучивает над Ефимихой:

— Сходила бы поглядела, ты на ногу легкая, от вас недалеко.

Ефимиха, старуха древняя, строгая, нахмурилась:

— Я в музей не пойду. Гостила у старшой в Слуцком. Свела она в музей. Зашли в первую хоромину, а там все статуи, все, как есть, голы мужики. Как есть голы — без исподних. Ну, ведь это озорство! Я плюнула, дальше не пошла, а там такая же хоромина с голыми бабами была. А ведь они в старо время сделаны, когда такого озорства не было.

Иван Сергеевич сидел рядом, чтобы не обидеть старуху, отвернулся от нее, смеется, повторяет: «Озорство, ей-богу, озорство».

Самая лучшая баня у нашего председателя Василия Фаддеевича. По-черному, конечно, но с высоким потолком и плотным, не щелястым предбанником. Каждую субботу Иван Сергеевич вместе с хозяином там парятся. Крепко они парятся. Василий Фаддеевич в этом толк знает — скажем, мог бы и по-белому баньку соорудить, но твердо уверен, что «пар не тот». Веники у него заготовлены в первую неделю после троицы — это «веселка», лист мягкий, не то что у «глушняка», нарезанного позже. У того лист большой и толстый, очень «ударяет в тело». После бани оба шли в председателеву избу. Выпивали под свежую рыбку, залитую яйцом, столь же успешно, как и парились.

И я на эти вечера другой раз заходил. Помнится, пожаловался Василий Фаддеевич, что водка плохая стала: «Сучок, как есть сучок, — из дров наладили фабрикацию». Я отрицал — дело мне по специальности близкое, — объяснил, что нет расчету гидролизный спирт пускать на пищевые цели, лучше на синтетический каучук. Председатель отмахивался — «знаем, что и как». Иван Сергеевич сказал:

— Сучок, Василий Фаддеевич, это полдела. В наших местах один старик здорово начал зашибать. Бабке горе. Посоветовала ей одна знающая старуха, как быть. Говорит, набери полную бутылку мух, побольше, плотно наторкай, залей водой, закупори — и в теплое место на месяц, не меньше. Пусть хорошо перепреет. Дай старику этим опохмелиться. Он выпьет, три дня будет блевать, а потом бросит пить, — окончательно, в рот не возьмет.

Все справила бабка, как сказано. Дождалась. Вышел дед поутру к столу и есть не может, до того ему тошно. Морщится, голова болит.

— Дед, поправиться хочешь?

— Припасла? Вот это дорого! Давай сюда.

Налила бабка стопку, сама отвернулась, боится. Дед выпил и просиял весь:

— Мух
*о*вочка!

Бывший председатель Василий Фаддеевич сейчас на пенсии, живет в той же деревне. Хорошо помнит Ивана Сергеевича и эти субботы. Отзывается так: «Хороший мужик был Никитов, простой».

Интересно, что много лет спустя, когда мы с Василием Фаддеевичем в очередной раз вспоминали Ивана Сергеевича, я услышал такой рассказ: «Приезжал к Ивану Сергеевичу артист Лемех

*о*в. И в бане с нами мылся. Очень хорошо пел!»

Не мог я через много лет, не сумел проверить, был ли в самом деле Лемешев в Домовичах. Едва ли — дороги у нас плохие, и не слышно было, чтобы Иван Сергеевич был коротко знаком с Лемешевым. Ладно, пусть живет эта легенда.

В один из совместных походов шли мы с Иваном Сергеевичем по лесу. Устали за охотничью зорю. Солнце высушило росу и начало хорошо пригревать. Фомка взят к ноге, и мы ищем удобное место. Хочется отдохнуть, посидеть, покурить, согреть и подсушить насквозь пробитые росой ноги. Выбрали сухую чистинку. Иван Сергеевич строго уложил Фомку, сбросил на большой замшелый валун куртку и патронташ, повесил на сухой сучок ружье и опустился на колени. Разом и трубочку курил, и землянику щипал. Много ее, сладкой, до темной красноты припеченной, в траве вокруг камня. Я снял лапти, лег в тень, а ноги босые, озябшие, выставил на солнце.

Иван Сергеевич встал, оглянулся вокруг, сказал:

— Лес высокий, а была пашня. Видите, каменный вал? Это мужик — царство ему небесное — пахал, боронил и камни на межу вытаскивал — на руках, тяжелые. Старопахотная земля! Основа. Вы лесник, сколько этому лесу?

— Не совсем лесник, приблизительно скажу, лет тридцать — сорок.

— Верно, с тех пор нива и запущена. Беда это! Русь-то отсюда пошла, не от Москвы, от Новгорода. Не помните, какая пятина?

— Знаю, Бежецкая.

Иван Сергеевич подложил под голову рюкзак с одним нашим единственным молодым чернышом — не повезло в то утро с охотой, — лег на траву и, показалось мне, задремал.

Мне не спалось. Лежал, думал о том, что пахать-то некому. Мужчин с войны мало вернулось, молодежь не удержать, уходит в город. Одни вдовы, и те на возрасте. Так ли страшно? Хлеб на юге лучше родится. Здесь никогда своего не хватало, каждую зиму мужики в отход: в лес, на сплав, мастеровыми по городам.

Словно в ответ на мои мысли Иван Сергеевич неожиданно поднял голову, снова закурил трубку, сказал:

— Председатель, Василий Фаддеевич, говорит, что, бывало, с их полустанка каждый день семь-восемь вагонов в город отправляли: рожь, овес, лен, мед, корье, клюква. Теперь не слышно. И опять-таки, сколько здесь скота было! В районе мне сказали, что с Украины приедут сюда за сеном, у них опять засуха. В наших местах всегда трава — хуже ли, лучше ли, а есть.

В первый раз я видел Ивана Сергеевича таким неспокойным, возбужденным. На ноги поднялся, отчаянно боролся с гаснущей поминутно трубкой, громко говорил:

— Сколько в вашей деревне детей? Нет маленьких? А в соседней, в Ерзовке? Пять и две учительницы, так…

— Слышно, закроют школу, за последнее время в нашем районе третью.

— Что делать, закроют. Глохнет край, гибнет накорень. А ведь это Россия. И не только в Новгородской так. Кто в войну немца остановил и выгнал?

Иван Сергеевич притих, вытащил ножик, срезал тонкий сучок, почистил трубку и сказал спокойно:

— Пошли к дому, все равно уже толку не будет: жарко, тетерева в кусты уйдут.

Из Никандрова, с почты, принес мальчик телеграмму. О чем она была, не знаю. 13 августа рано утром спешно на лошади увез Василий Фаддеевич домовицких гостей в район. Не близкий путь — тридцать пять километров.

Мы стали встречаться с Иваном Сергеевичем довольно часто, почти всегда в его доме. Не буду рассказывать про обстановку в его квартире — много раз она отлично описана разными авторами, и не было в ней ничего особо удивительного, хотя она и соответствовала хозяину и рассказывала про него. Удивителен был сам Иван Сергеевич.

Прежде всего это был человек теплый. Не горячий, как костер, не лучиной тлеющий, а такой, как вечером за день нагретый камень-валун, — прислониться к нему, припасть хочется. И было это удивительным: не всегда грело Ивана Сергеевича солнце, были и пасмурные дни, и морозы, и ветры холодные дули — а вот, поди же, сумел он собрать, аккумулировать тепло и щедро делился им со всеми до конца жизни.

Он любил и умел рассказывать. При этом лицо его оставалось спокойным. Помогала, волновалась его трубка. При паузах и в значительных местах она заново раскуривалась; если хозяин огорчался, она закупоривалась и сипела, — тут двойное огорчение получалось, и слушателю хотелось как-то помочь, а не надо было, потому что, если дело было совсем плохо, трубка поворачивалась, головка ее оказывалась в руке, а изжеванный чубук чертил горизонтальную отрицательную линию. В большой радости — прочищенная, набитая свежим табаком и раскуренная трубочка поднималась, взлетала выше плеча.

Он любил шутить и слушать смешное, но лицо его не смеялось, только глаза загорались, лучились подлинным и добрым смехом.

Рассказов у него было много. Речь Ивана Сергеевича была чиста и нетороплива, как лесной ручей. Никаких назойливых приговорочек или модных расхожих слов. И никаких помогающих иному запинок вроде «э-э-э» или «так сказать». Плавно текла его речь, ничем не замутненная и такая русская!

Стал я Ивана Сергеевича подбивать съездить на охоту. Отказывался сначала, говорил: «Хочу, замечательно бы это, да куда и как, и ноги не те. Давненько в лесу не был — пожалуй, года четыре». Я подумал: четыре — это, значит, после смерти дочки Аленушки, утонувшей в озере Пюхи-Ярве. Обещал я, что ходить почти не придется, тяга в четырехстах метрах от асфальта, привезу туда на своей машине. Согласился.

12 мая 1955 года я привез Ивану Сергеевичу ватник, сапоги, носки, портянки, патроны. Застал его за завтраком. Оживился старик, говорит:

— Четыре года ружье на гвозде, вот только это на гвоздь повесить еще не могу, — показал на графинчик с камушками.

Долго одевался, боялся что-нибудь забыть. Уговаривал меня выпить:

— Это ерунда, что шоферу нельзя. Я с пьяными летчиками на По-два летал. На земле на ногах не держатся, а в воздухе что выделывали…

Поехали мы в деревню Строение, Тосненского района, километров шестьдесят от Ленинграда. Там охотничье хозяйство, я им ведал на общественных началах.

Иван Сергеевич сидел рядом с моим водительским местом и, как только мы проехали мясокомбинат, начал рассказывать. На мой вопрос о Куприне ответил:

— Куприна я знал хорошо, он меня в литературу вводил. Был у него, когда он вернулся, в «Метрополе».

Ивана Сергеевича встретил «сухонький старичок с седой бородкой клинышком и обострившимся носом». Куприн впал в детство, почти ничего не помнил. Был в восторге от телеграммы балаклавских стариков по поводу его возвращения на родину. Ивана Сергеевича не узнал. Спросил: «Вы из Ленинграда? А как в Гатчине — трактир Веревкина существует? Нет? Жаль. Такое хорошее место было, и вывеска интересная: „Распивочно и раскурочно“. А этот… как его… мерзавец… как его? Ну, я повесть-то написал, как ее?» — «Яма», — подсказала жена. «Ну, вот вторую-то часть написал, — жив?»

Иван Сергеевич пояснил мне, что Куприн долго торговался с издательством о второй части «Ямы», предлагали ему кабальные условия. И в это время какой-то «Граф Амори», псевдоним, конечно, напечатал свою вторую часть «Ямы», как продолжение купринской, с тем же сюжетом и действующими лицами. Все это сильно подействовало на Куприна.

Иван Сергеевич, рассказывая, видимо переживал ту последнюю, как ему было ясно, прощальную встречу. Помолчал, добавил:

— Не много как человека от него осталось, даже физически, а какой был кряж! А тут? Больной, какой-то примиренный, кроткий и… беспамятный.

Надолго замолчал Иван Сергеевич, отвернулся, смотрел в окошко на убегающие назад несеяные пригородные поля.

Я остановил машину после подъема на Пулковскую возвышенность у поворота на Поповку — размять ноги и прогулять взятого с собой ирландского сеттера Яну. Покряхтывая, вышел на шоссе Иван Сергеевич. Дивный был день, весенний, ласковый, почти безоблачный. В голубизне вихлялась и повизгивала пара чибисов, подальше — еще пара, и еще. Кольцом вокруг бомбовой воронки распушились вербные зайчики, пух от них желтый, цыплячий, и сами нежные, свежерожденные. Поднимаясь из сухой некоей, затрепетал крыльями, залился песней жаворонок. Красивый день, а воздух…

Иван Сергеевич прислушался, спросил:

— А это еще что?

Я рассмеялся:

— Не узнаете?

— Постойте, постойте, — лягушки! Отвык. Верно, лягушки.

— Поют…

— Именно поют, и для них это самая красивая песня. Знаете, и для нас, охотников, прекрасная, без нее не весна. И еще примета: если в воде зашевелились лягушки — значит, вальдшнеп уже прилетел и тянет… Смотрите, какая трава — и не кошено.

— И нельзя косить — мины. Ищут их, ищут не первый год, и все еще есть. Здесь ведь передний край был.

— Что-то я места не узнаю; помнится, тут лес должен быть.

— Он и был, сосновый бор, только его так артиллерия и мины изуродовали, что весь посох.

— Да, война… Страшная она здесь была, и везде.

Машина покатилась дальше. Иван Сергеевич раскурил трубку и повторил задумчиво:

— Война… Худое дело. Вы, кажется, в блокаду здесь были? Хуже фронта.

— Был.

— А знаете, и в тылу тяжко приходилось людям, спасались кто как мог. Я жил в Молотовской области.

Неожиданно Иван Сергеевич усмехнулся, что-то вспомнил. Я молчал: шоссе было плохое, много ям. Иван Сергеевич повернулся ко мне, еще раз улыбнулся и начал:

— Стало мне плохо жить, очень плохо, дальше некуда. Эвакуация, писательство не кормит, о войне писать не умею. Посоветовали фотографировать. У меня два аппарата, пленку привез из Москвы, увеличитель у лесничего.

Дела мои поправились. Появилось все: и масло, и горох. В кладовой к приезду жены тысяча яиц оказалась. (Тут Иван Сергеевич на меня хитро покосился. Дескать, ведь это здорово — тысяча яиц в ту пору.) Снимались все девушки. Раз еще до света меня разбудили. Смотрю, у дома телега с гробом. Просят снять покойника, а я их до смерти боюсь. Отказывался, говорю: темно. Отвечают: «Солнышка подождем, двадцать километров по плохой дороге крюка сделали». Говорю, не могу покойников снимать, им не скажешь — встаньте так, повернитесь. Отвечают: «Повернем как надо, батюшка». Сдался. Топором гроб вскрыли. Старичок седенький, очень дряхлый. Окружили гроб, понимаю — надо, чтоб все на карточке поместились. Привздынули, чуть повернули. Снял. Как на грех, очень хорошо получилось (негатив и сейчас у меня лежит). Через неделю приезжают, всего навезли, завалили. С тех пор от покойников мне отбою не было, и все больше младенцы.

Проехали Саблино. Иван Сергеевич не долго молчал — видно, возбудила его необычная снова охотничья поездка, был в разговорчивом настроении:

— Сильная это страсть, охота, и, может быть, наследственная. Поступил мой отец управляющим к купцу Кутузову. Кутузов такое условие поставил: «Делай что хочешь, работай как тебе нравится, только не тронь мой дупелиный ток». Хороший был ток, замечательный. Два года служил отец купцу, оба довольны были. На третий год не вытерпел, сходил на дупелиный ток. А был в конторе писарь, злющий такой, чахоточный. Сразу донес, и купец сдержал свое слово — уволил отца.

В это время я сказал Ивану Сергеевичу, что скоро и наше учебно-опытное лесничество и охотхозяйство. Он спросил:

— А глухариные тока у вас есть? Город-то совсем рядом.

— Есть.

— Хорошие, большие?

— Разные; и битых порядочно, особенно по краям лесничества, и отличные есть, петухов десятка два, не меньше. Фамильные есть — им свыше ста лет. Стараемся сохранить.

— Это здорово. Правильно. Удивительная охота, интереснейшая, тонкая, и много еще в ней таинственного. Лучше всего ее описал Куприн. Помните?

— Помню, как же.

Открыто летят вальдшнепы, но высоковато.

— Куприн на глухариных токах был, но мало. Где-то его в Белоруссии водили на тока. А Пришвин — мы как-то сидим в пивной, он и признался: никогда на глухарином току не был. Верно ли? Я, Алексей Алексеевич, считаю, что эта охота таинственная, мистическая. Был у меня случай. Вы про «Березовый» ток слышали?

— Как же, и сам бывал. Удивительно, на березах поют.

— Так вот. На этом току в глуши была избушка. По моей просьбе Военно-охотничье общество ее подправило. Я там неделями жил. После зари сидел перед избушкой за столиком, пил чай. Кругом красота, тишина, только птички заливаются. В общем, не вам рассказывать, знаю, что вы глухаря тник подлинный, понимаете, что значит вернуться с глухарем с тока и отдыхать. Чай пью из эмалированной кружки. Почти допил, смотрю — по канавке-ручейку перышко плывет, за ним другое, третье. Перья глухарки. Пошел вверх по ручью разузнать. Метрах в ста, на бережку, масса перьев — видимо, глухарка затрепана. Но кем? Огля делся — хвост глухарки из воды торчит. Потя нул — вытащил всю птицу. Хоть и под водой лежала, теплая еще. Норка, наверно, затащила. Подивился, вернулся к домику. Кружка на столе стоит… полная до края холодной воды. Вот чертовщина!

Трубка сопит и фыркает, гаснут спички, Иван Сергеевич поглядывает на меня:

— Через год по пути на этот ток мы с приятелем остановились у лесничихи. Муж у нее погиб на войне, она работает за него. Я рассказываю приятелю про этот случай, а лесничиха смеется: она была в обходе в то утро, проходила мимо избушки и пошутила — черпнула в кружку чистую воду из ручья

Повернули с Московского шоссе на Лисино — Корпус. Поперек дороги ручей. Заметили всплеск крыльев. Я притормозил. Видим — кулик-черныш самочку топчет рядом, в двух шагах от нас. Иван Сергеевич говорит:

— Не признает кулик таинства любви, наплевать ему на весь мир, когда рядом ОНА. Ну вот и спугнули, — нехорошо.

У крайнего дома в Строении мы поставили машину и пошли на тягу. Она близко от дома — на просеке, где ее пересекает черноольховый ручей. Все было как весной на тяге бывает: певчие дрозды, и пеночка-весничка, и лягушки пели и бултыхались в массе своей же икры, и гуси летели, довольно низко.

Мы пришли на место рановато, надо было ждать. Я сидел неподалеку от Ивана Сергеевича на поваленной ветром березе. Ждал, и было мне хорошо, удивительно хорошо. И не только потому, что удалось выехать из города, что под ногами мягко и вокруг поют птицы, знакомые, лесные, что прохладный воздух напоен запахами открытой земли и молодого листа чуть задымившихся берез, и даже не потому, что вот-вот должен появиться вальдшнеп (я знаю, где покажется его такой знакомый силуэт, — скорее всего, над теми двумя вершинами) — и вспыхнет азарт выстрела. Нет, была в тот вечер и большая радость, знакомая каждому охотнику, — возможность поделиться, угостить собрата охотой. И какого человека! Он видел чуть не всю землю: знойную Африку, страшные льды Севера, пустыни и горы, тайгу и тундру, стриженую зелень Англии и осиротевшие наши послевоенные нивы. И я знал, был уверен, что Иван Сергеевич по складу души, по корню своему русскому, примет и этот не пышный уголок малой моей Родины.

Иван Сергеевич всю тягу простоял на ногах, не присел на пенек. Первый же вальдшнеп налетел на него — открыто, но высоковато, над вершинами больших ольх. Иван Сергеевич стрелял быстрым, нестарческим дуплетом и промахнулся. На меня в это время налетел другой, и я тоже промазал. Плохо мы стреляли оба, а тяга была неплохая — протянуло на выстреле штук семь-восемь. Уже изрядно смеркалось, когда вдоль просеки на меня натянул еще один вальдшнеп. После выстрела косо пошел вниз и упал где-то против Ивана Сергеевича. Он крикнул:

— Гоп! Упал. Идите сюда.

Я подошел к нему с собакой. Он был огорчен:

— Ну вот, вечная история на тяге, — попробуйте найти! Там, где свалился — вот прямо против меня, чуть левее, — такая дребь, и темно уже.

Забыл или не знал Иван Сергеевич, что Яна моя работает с анонсом, то есть не только делает стойку, а, если я ее не вижу, приходит — «докладывает», что нашла птицу.

Я сказал Яне: «Покажи где!» — она ушла, мы ждали. Слышно было, как плескается в темноте по болоту. Пришла и легла — доложила. Пошел за ней — привела к мертвому вальдшнепу. Иван Сергеевич был радостно поражен:

— Великолепного ума собака! Ай да Янушка!

— А может быть, я так ее выучил?

— Нет-нет, это ум, природный ум. Теперь все рефлексы, рефлексы, ума у животных не признают, а другая собака… а лошади…

Долго еще ворчал Иван Сергеевич, повторяя с досадой: «Рефлексы, рефлексы», — пока мы в полной темноте пробирались к дому.

В машину сели не сразу, зашли в дом, поужинали. Потчевала нас рослая, красивая дочка хозяина. Разговорились. Иван Сергеевич подивился, что они сюда приехали из Саратовской области: «Вот куда судьба занесла. Бывал в Саратовской, хорошие там люди».

Пообещал Иван Сергеевич на следующий год привезти девушке жениха, а когда мы сели в машину, отъехали немного, вдруг сказал:

— Очень важно научить себя без боли думать, что так и будут люди вырастать, жениться, рожать детей — и при тебе, и без тебя.

Начиная с 1950 года Иван Сергеевич состоял членом редакции ленинградского альманаха «Наша

охота» (тома 1, 3, 4). В этой редакции с первого же тома состоял и я. Мы не обременяли Ивана Сергеевича редакторскими обязанностями, это была почетная редактура. Однако она как бы привлекала внимание Ивана Сергеевича к альманаху, и нам легче было просить и его непосредственного участия как автора. Для номера 1-го он дал нам «На весенней тяге», «Малинка», «Рябчик», «В зимние ночи», для 3-го — «Маленькие рассказы», для 5-го — «На медвежьей охоте», «Олени», «По волчьему следу», «Зайцы».

В июне 1959 года скончался Виталий Валентинович Бианки. Основанная им ежемесячная, очень популярная в те годы радиопередача «Вести из леса» осиротела. Составителем ее стал Николай Иванович Сладков, и я помогал как мог. Помимо того, что пришлось самому много писать, приходилось и собирать материалы у авторов. Иван Сергеевич был в их числе. Я получал от него рассказы у него на дому и по почте. Часто говорили по телефону.

Иван Сергеевич очень хорошо относился к «Вестям из леса». Для иллюстрации этого приведу его письмо (тогда он еще писал сам).

* * *

Близок был к природе Иван Сергеевич. Даже пожилого и больного тянуло его из города. В деловых письмах постоянно приписки:

«С прежним волнением поглядываю в окно: весна идет! Правда, уже нет прежней ретивости ни в ногах, ни в мечтах. Но все же хотелось бы тягу послушать и внучонку показать».

И, будучи уже окончательно — вынужденно — городским человеком, по старости и по болезни, он не может не думать, что «там», вне города, в природе делается. В одном из писем ко мне он жалуется: «В Волге эту зиму ловят очень много рыбы. Знак худой, верный признак „замора“. Снегу нынче много, лед лег на дно. В поле не пройти, не проехать».

Для характеристики того, что писал Иван Сергеевич для «Вестей из леса», я приведу ту самую «майскую запевку», о которой шла речь в начале письма. Эта запевка опоздала и потому не была передана в эфир, и, насколько мне известно, нигде не опубликована.

Иван Сергеевич много писал о природе — для взрослых и для детей. Мой друг и учитель Виталий Бианки писал о природе для детей. Они были большими и давними друзьями. Страстные охотники, самозабвенно любящие родную природу, ее поэты. Здесь они были единодушны. Писатели с ярко выраженными индивидуальностями, они, естественно, частенько расходились в вопросах творчества — писательского мастерства.

В те годы по простейшей и печальной причине — потере подвижности — они виделись мало. Продолжали искренне интересоваться друг другом. Я бывал и у того и у другого — тем самым оказывался как бы свидетелем их продолжавшегося заочного спора.

Иван Сергеевич по природе своей был человек не городской: много жил вне города, много путешествовал, повидал, наблюдал, приметил, — однако оставался природолюбом, а не природоведом, таким, как писатели Аксаков, Богданов, Кайгородов, Арсеньев, Бианки, Зворыкин. Конечно, охоту и все, что с ней связано, он знал отлично, а так называемые «охотничьи рассказы» недолюбливал.

Позиция Виталия Бианки в этом вопросе более определенна. Он считал, что у многих писателей есть большой недостаток: они пишут о природе, украшая свои произведения ее красотами, но не знают ее и не понимают. Виталий с этим боролся: прочитав какую-нибудь несуразицу, касающуюся живого мира растений и животных, писал об этом в журналы или, как минимум, обращался с критикой прямо к автору. Помнится, я нашел и послал Виталию вырезку из газеты — рассказ о том, как на путевого обходчика напала

стая барсуков. Виталий был в восторге и с юмором передал в «Вести из леса».

Эту же историю я рассказал Ивану Сергеевичу. Весело, заразительно он смеялся:

— Ну и брехня ! Это надо же — напала стая барсуков. Они ведь тихие, задумчивые звери и хозяйственные, и стаями не ходят. Это не обходчик написал, это газетчики.

Интересно, что никакого вывода из этой истории и многих других подобного рода вроде «надо написать, надо с такой неграмотностью бороться» он не сделал. Это было не в его характере.

И спор был, и длился долгие годы. Не мог, к примеру, Виталий Валентинович равнодушно пропустить такие строки: «Крупные птицы поднимались на кладбище из-под моих ног» или «В кустах на земле я находил гнезда маленьких птиц, и каждая такая находка была для меня событием». Говорил:

— Как это так Иван Сергеевич пишет! Ведь у каждой птицы есть свое имя , отчество и фамилия. Упомянул бы — и выиграл. Может быть, не знает?

Иван Сергеевич с такими аргументами не соглашался оправдывался эмоционально-художественными соображениями и преимуществом непосредственности:

— Пишу как вижу, как представилось, погляделось мне.

В письме, что я уже приводил («…нас волнует песня соловья или жаворонка, а не то, какой раскраски я йца в их гнездах и как сделаны эти гнезда»), чувствуется отголосок этого спора и легкий укол Виталию Бианки. Укол, с моей точки зрения, незаслуженный, ибо девизом бианковской школы было: «Совершенно точно и правдиво о природе, но в *художественной форме».*

Высоко ценил Виталий Валентинович художественную форму произведения, эмоциональность и превыше всего поэтичность, а то, что он не любил часто встречающихся в литературе «неведомых птиц», — оправданно вообще и закономерно для человека, хорошо осведомленного в орнитологии.

Спор этот был не глубокий, не разъединя л, не отталкивал друг от друга этих писателей. Близкими, сходными были их основные жизненные позиции: любовь к природе, к нашим северным местам, увлечение охотой, взгляды на литературу.

Удивлять приходится, как они одинаково решали один из самых трудных вопросов природоохранения — отношение человека к природе. Единодушно полагали, что запреты, строжайшие законы, специализированная наука — не решающие факторы в этом деле. Необходимо поднять сознание людей, всех без исключения Надо, чтобы не боялся человек сломать ветку, а просто не мог этого сделать,

органически не мог — иначе против себя бы пошел.

И этому надо учить с детства. Прежде всего пробудить у ребенка любовь к природе. И лучшим учителем здесь должна быть художественная литература.

Так они оба думали и — вместе и порознь — боролись против «педагогической» нравоучительной назидательности, против господствовавшей одно время вульгарной социологии.

Виталий Бианки искал, собирал вокруг себя начинающих писателей. Учил их профессиональному мастерству от «А» до «Я», от построения вещи, сюжета до правильно расставленных знаков препинания. Любил говорить и писать о «тайнах» творчества.

Около Ивана Сергеевича, насколько мне известно, не группировались начинающие писатели, и сам он не любил говорить, тем более выступать в печати по вопросам литературного творчества. Ни записи мои, ни память не сохранили высказываний Ивана Сергеевича о технике писательского мастерства. Не любил он эту тему, будто стеснялся обнажать механику дела, которому служил благоговейно.

И все же небольшое, очень приблизительное представление я об этом имею. Сижу за столом и внимательно читаю, рассматриваю рукопись 1955 года — свой рассказ «Герой». Плохой рассказ, как теперь понимаю, и очень ценный потому, что он правлен самим Соколовым-Микитовым. Рассматриваю сделанные его рукой пометки, замечания. Я взволнован — кажется, что беседую с Иваном Сергеевичем, слышу его глуховатый, мерный, неповторимый — ни с кем не спутаешь — голос; вижу, ясно вижу его глаза, увеличенные очками, усталое и доброе лицо, жесты помощницы-трубки. Мне немного страшно, почему — не знаю.

Рукопись… Я не литературовед, мне труден ее анализ, к тому же она моя. Постараюсь понять, что не нравилось Ивану Сергеевичу. Не нравились длинные нескладные предложения — упрощал. Текст: «Даже представить себе жутко становится здесь, дома, на закрытом сеновале. Никуда не пойду!» После правки: «Даже представить жутко. Никуда не пойду!» Текст: «…стал заставля ть себя думать о чем-нибудь приятном». После правки: «…стал думать о приятном».

Не нравились, как мне кажется, вычурные обороты речи. Текст: «„Тро-па-та, тро-па-та“ — звучно выстукивали копыта жеребчика, стелющегося в сумасшедшем галопе». После правки: «„Тро-па-та, тро-па-та“ — звучно выстукивали копыта жеребчика». Текст: «На склонах выдала себя брусника, зардевшись солнечными бочками». После правки: «На склонах зарделась солнечными бочками брусника». Текст: «Оно это верно, если кобыленка одна прибежала, то Героя не иначе как волки задрали». После правки: «Это верно, если кобыленка одна прибежала, Героя, должно быть, волки задрали». Текст: «…звездчатого неба». Исправлено: «…звездного неба». Текст: «Когда сердце заколотилось так, что, казалось, переселилось уже в горло, мальчик остановился». Вся фраза подчеркнута и на полях два жирных минуса. «На столе буйствовал самовар». Исправлено: «На столе кипел самовар». Таких поправок много.

Не нравя тся Ивану Сергеевичу мои определения, характеристики пря мой речи. Например, у меня такой текст: «…поддержал собеседницу бригадир, задумчиво скручивая папироску». После правки: «… сказал бригадир». Подчеркивает слова: «возмутилась тетя Даша», — «вставил бригадир», «выпалил Алеша», «загорелся Алеша», — и все переправляет на «сказал». Трудно, конечно, судить об этом, не имея перед глазами полного текста, но тенденция ясна.

К моему удивлению, протест Ивана Сергеевича, судя по правке, вызывают местные новгородские слова. Буквально все они или подчеркнуты, или зачеркнуты, независимо от того, авторская это речь или говор сельских жителей Новгородской области, где происходят события. Выпишу эти слова, напомнив, что рассказ состоит из 25 страниц машинописи: «ухожа», «лончаки», «храпок», «ластовки», «падара», «поскотина», «пожни», «ройки», «омежек», «перенова», «пазанок», «кормовик», «схитить», «мшарина», «зимник», «островина», «мошник», «лунит», «продух». Не одобря ет Иван Сергеевич такие слова, даже если я даю к ним сноску

(«поскотина — изгородь между поля ми и ухожей, не позволя ющая стаду попасть в хлеба», « *выскеть* — выворот земли на корня х, получающийся при падении дерева от ветра», « *ластовка* — малое оконное стекло» и т. д.).

Размышляя по этому поводу, я вначале не мог согласиться с такой правкой. Даже пришло в голову, что Иван Сергеевич — человек смоленский, а слова эти северорусские, он мог их и не знать. Потом подумалось, что дело-то в перегрузке — слишком много местных слов. Правда, почему он забраковал все, без исключения? Особенно это мне стало неясно, когда появившаяся «деревенская проза» получила всеобщее признание, а уж там-то местных, сугубо местных слов великое множество.

Яснее для меня другая категория забракованных слов: «Маковка одинокой семенной („семенной“ зачеркнуто) сосны», «ветровальные выворотны», «черные кварталы», «раскисшая почва» («почва» заменена на «грязь»). Это «техницизмы» — слова, взятые из лесоводственной науки.

На весьма ограниченном материале — правке одной рукописи — я попытался показать, что не нравилось Ивану Сергеевичу. Логично было бы показать, что ему нравится. Испытывая чувство неловкости (рукопись-то моя), приведу два отрывка, против которых рукой Ивана Сергеевича поставлено: «Хор.»

«Дарья Васильевна полола в огороде и едва успела укрыться от дождя. Первые брызги его встревожили только кур. Глухо шлепаясь на дорогу, падали редкие капли и закатывались в пыльные шарики; потом зачастили все больше и больше, и хлынул обильный грозовой ливень. Серой стеной встал он между домами. Оконные стекла как будто сами поплыли вверх между быстрыми струями. Совсем потемнело в доме. Раз за разом вспыхивало на дворе, вздрагивали стены, и чашки в буфете трусливо звенели, отвечая буйным раскатам грома. Защелкал по обшивке стен и кровле град».

И еще один пример:

«Алеша лежал на сеновале, тепло укрытый поверх одеяла тяжелым пахнувшим брусникой тулупом, и не спал. В окошечке светился кусок звездного неба. Где-то внизу сыто вздыхала корова. Уютно и нежно попискивали под клушкой цыплята, потревоженные забывшейся во сне матерью. На деревне гуляла молодежь. Девичья песня, возникнув далеко на окраине, где чуть слышно вздыхала гармонь, приближалась, звенела прямо за дощатой стенкой сеновала и стихала у озера».

Интересно, что по удивительному случаю у меня сохранилась рукопись того же рассказа, правленного Виталием Бианки. Даже самое поверхностное сопоставление показывает резкую разницу во вкусах этих писателей. Воздержусь от сравнения, чтобы не уйти еще дальше от главной темы. Добавлю только, что после двух редактирований в экземплярах рукописи оказалось столько вопросительных знаков, подчеркиваний и вычеркиваний, что я так и не отдал рассказ в печать.

В заключение попытаюсь охарактеризовать отношение Ивана Сергеевича к писательскому труду в те годы, когда я мог об этом судить. Он относился к нему, как я уже говорил, благоговейно и в то же время ответственно и просто. Так, как каждый мастер — плотник, слесарь, пахарь. Другое дело, что в годы, когда по ряду причин он чувствовал, что не может работать в полную меру своего правдивого таланта, — он молчал, молчал долго. Это была его боль.

Я много расспрашивал Ивана Сергеевича о его встречах с интересными людьми, особенно с писателями. Рассказывал он охотно, интересно, но нет смысла передавать как бы через вторые руки то, что он сам так хорошо описал в книге «Давние встречи».

Весной 1967 года мы вдвоем с Е. В. Бианки почти две недели жили в доме на крутом берегу озера Городно. Это говорится так: «в доме», — на самом деле домашничали мало. Только первые дни, когда по озеру еще ходили от берега к берегу ледяные поля — синие, игольчатые, — мы любовались ими, сидя у открытого окна с только что снятой зимней рамой. Да и то, чуть пригреет, уходили по своей стороне озера в поля.

Из окна было видно, как много прилетных ютится на малых проталинах южного склона. Трясогузки, скворцы, жаворонки, зяблики и хохлатые чибисы бок о бок рылись в прошлогодней траве. Тихие, усталые с прилета.

После отзимка пошел дождь, парной, споркий, снег сошел в одночасье. Разлетелись птицы и загремели весело, не умолкая, над теплым полем, среди кустов и деревьев, где на каждой ветке разноцветно отсвечивали солнцу крупные водяные капли.

— Посмотри, — сказала моя спутница, — белые, желтые, красные, синие огоньки: кто-то радугу сломал, раскрошил и бросил на землю.

Открылось озеро, и мы попали на глухариные тока. На лодке переправлялись в заозерье по чистой воде, удивляясь, что вчера был лед, а сейчас ни одной льдинки. Радовались стайкам белобоких гоголей на открытой воде. Бросив на берегу лодку, шли дорожками, просеками, тропами по болотам, гарям, вырубам. Резиновые сапоги, притороченные высоко к поясам, тяжелые, неподъемные рюкзаки. В вязких местах брели, держась за руки, через буйные ручьи подваливали деревья большим плотничьим топором.

Поблизости от тока, в давно облюбованном месте, у ручья на еловой гриве обиходили уютную ночевку. Возбужденные большим прилетом глухарей на вечерней заре, коротали бессонную ночь, разглядывая звезды сквозь дым костра. Слушали уханье филина и то удаляющуюся, то приближающуюся песню влюбленного зайца.

Черной безмолвной и зябкой ночью мы уходили от костра на ток. Сквозь чащу молодого ельника, защищая руками глаза, спускались к сосновой мшарине. Там было чуть светлее. Выждав терпеливо, наслушивали песню глухаря…

Надо было возвращаться в Ленинград. Мы шли из Домовичей на станцию Анциферово: семнадцать километров проселка. Дорога мягкая, во многих местах размытая вешними водами, тянулась то светлыми березняками, то небольшими полями. По сторонам яркие ковры голубой перелески и белоснежной ветреницы, на склонах розовые кусты волчьего лыка. Не умолкая, на разные голоса пели птицы.

Можно найти и полюбоваться кустикам и, густо покрытыми розово-лиловыми цветами.

Мы были напоены, наполнены плещущей красотой весны, ее светом, красками, голосами и счастьем — радостью своей жизни. Хотелось поделиться.

— Босс! — сказала моя спутница. — Папы нет, Иван Сергеевич вроде моего «крестного» — большой друг отца, сколько лет жили вместе, до сих пор зовет меня детским прозвищем — Ноника. Я хочу ему рассказать, получить благословение. Нарвем волчьего лыка, хоть не увидит, запах весны привезем. Хорошо?

На восьмом километре пути мы вышли в поле у подножия высокого холма, увенчанного крашеной деревенской церквушкой и купой кладбищенских елей.

Был праздник. На колокольне звонил одинокий колокол. Мерный, чуть надтреснутый его голос плыл, разливался над тихими полями.

Пришла озорная, но совсем не странная мысль:

— Пойдем, обвенчаемся?

Соколовым мы позвонили с вокзала. Решили заехать так, как были, — в охотничьих сапогах, с котомками, ружьем; поскорее, чтобы не увяло волчье лыко. Ноника вышла из телефонной будки расстроенная:

— Позвала на завтра.

— Проговорилась, наверно, что я с тобой? Последнее время Лидия Ивановна меня недолюбливает, как всех, кто советует Ивану Сергеевичу оставаться в Ленинграде.

— На завтра-то разрешила.

Большой, обильный цветом букет волчьего лыка мы поставили дома на стол в кувшине с водой. За день и ночь увяли розовые соцветья, осыпались на скатерть сухие, безуханные.

* * *

Лидия Ивановна открыла нам дверь приветливая, почти радостная:

— Здравствуйте! Здравствуйте! Хорошо, что пришли. Иван Сергеевич что-то куксится второй день. И с утра поспорили опять. Не хочет в Москву, что ни говори. Твердит: «Здесь все свое». Проходите, проходите.

Кабинет все тот же. Новость: рядом с письменным столом магнитофон.

Иван Сергеевич в кресле. За зелеными, увеличивающими, как лупы, очками огромные невидящие мертвые глаза. Если заглянуть сбоку под очки, глаза видящие, живые и мудрые.

Ноника подошла со спинки кресла, обняла старика, положила свою голову на его. Он поглаживает ее руку ласково-ласково и слушает ее рассказ об озере, льдах, чибисах, о голубых перелесках, о сбывшейся мечте услышать песню глухаря, увидеть токующего, даже зарисовать.

Иван Сергеевич слушает внимательно, одобрительно: чувствуется, что представляет себе все это — знакомое и дорогое. Сам начинает говорить:

— Повезло тебе, редко это — женщина на глухарином току. И места там красивые, был я у Алексея Алексеевича как-то летом. И озеро… таинственное. Мне один старик там рассказывал, что Городно раз в пятнадцать лет уходит совсем, вытекает в «провалучую яму». Сильно уходит, такая воронка — «опревшие челны туда пускали — дыбом станет и нет. И есть ход в Ильмень-озеро. Это уж верно, новгородские монахи у себя кинули в воду щуку с серебряной серьгой в жабрах, так ее здесь у Долгого острова наши деды выловили». И Городну несколько соседних озер «подчиняются», уходят. В общем, карстовые явления, а старик фантазер, у него все по-своему. Даже озеро, говорит, неправильно называется. Глубины разные — где мелко, где яма, дна не достать, — выходит, правильно не Городно, а Горамдно. Фантазер…

Иван Сергеевич задумался, вспомнил что-то, продолжил:

— Своих смоленских я многих знал, там среди мужиков поэтов мало, чаще «практики». И как они борются за жизнь! Один получил двадцать пять лет. Заявил, что «чай-кофе с Гитлером пил». Через

несколько лет получаю письмо. Пишет, живет хорошо, намекает, что переменил имя, по чужому паспорту живет. Желает мне всяческого благополучия. Обратный адрес: «Зеленая тайга». Так и написано.

Недавно приехал. Видный мужик: борода, шляпа, плечищи — во. Хочет купить стиральную машину. С Севера в родную деревню всего привез, накупил, достал. Пенсия сто двадцать — предел. Значит, там как все люди был. Дом над самой рекой построил. Телевизор, мотоциклетка, в очереди за машиной. Спрашиваю: «Зачем тебе стиральная машина? Река рядом, бабы живо прополощут». «Надо», — говорит.

Практик мужик — значит, и жадный. Мало у нас поэтов в деревне. И в деревне еще что. Хуже в поселках. Развелись такие, что от земли оторвались, к городу не пристали. Не знаю, как их и назвать.

— У меня, Иван Сергеевич, на эту тему рассказ написан. Там председатель колхоза этих людей «межняками» называет. И поясняет, что «это когда глухарку тетерев потопчет, она межняков выведет — ни глухарь, ни тетерев, хрен его знает, что за птица. Нет от нее толку: ни пера, ни мяса, ни песни…»

— Это вы хорошо придумали, правильно. Напечатан рассказ?

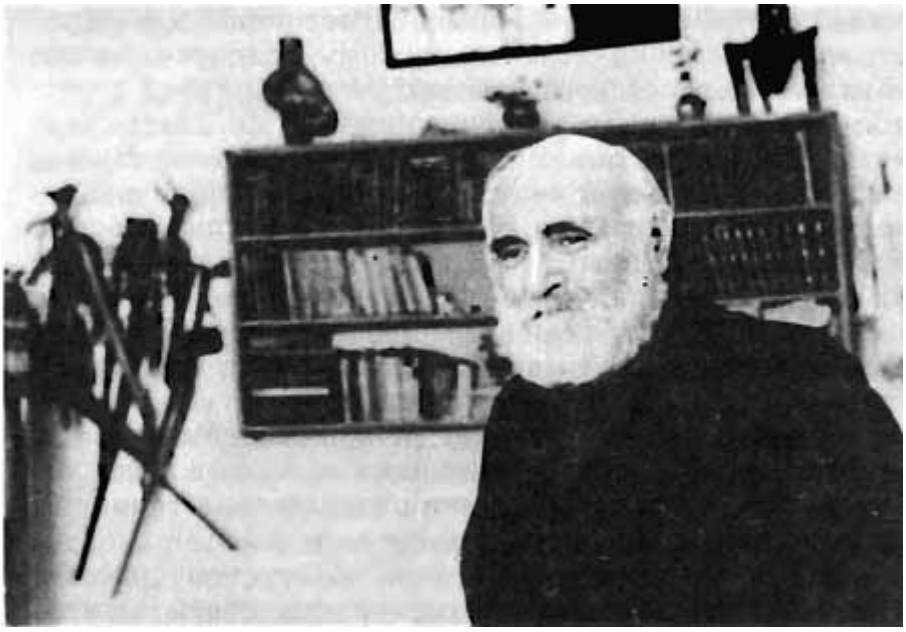
— Нет. Отдал в «Неву». Почти год держали, письмо прислали. Хорошо-де вы пишете, всей редакцией читали, только после истории с Абрамовым напечатать не можем.

— А, с Абрамовым? И не напечатают.

Ноника рассказала, что в домовичском доме есть иконы. Не очень старые, лет сто им или немного больше, но такие интересные, красивые, яркие.

— Откуда иконы?

— Дочка Алексея Алексеевича с мужем прошлое лето всю губу Святуху на лодке прошла, на Онежском. С едой было плохо. Молока нет, ничего не достать, на рыбе да на сухарях жили. Деревень много, с воды поглядеть — целые, живые; на берег сойдешь — мертвые — ни одного человека. В большой деревне дневали, уху варили. На одной избе прибита надпись: «Мы совсем уехали на станцию». На краю деревни, под старыми липами, часовня. Открыта, изгажена. Крыша прохудилась. Икон много, у некоторых святых глаза повыколоты, на стенках «словесность». То ли туристы побывали — разные среди них есть, то ли уходящая молодежь на старых богов рассердилась…



Иван Сергеевич слушает внимательно, одобрительно… (1967 г. Ленинград. Фото Н. Карасева).

Иван Сергеевич головой покачал:

— Какое озорство! Дикость!

— Решили спасти хоть две иконы. Одна большая — Георгий Победоносец с копьем, на коне. В палатку завернули, и прямо в Домовичи. Отмыли осторожно, и так-то они засияли. Сказка!

Иван Сергеевич говорит:

— Заонежье… Удивительный край. Я пешком ходил. К Даниловой пустыни. Подхожу, а вокруг мертвые сосны, высоченные, мачтовые, но ни хвоинки, и все мелкие сучья ветром пообило, остались толстые, крученые. Стоят сосны, смолой насквозь пропитаны, как янтарные. Закат желтый-желтый, и над головой филины летают. Откуда взялись? Не знаю. С десяток, не меньше. И вот тут увидел, что у них кошачьи головы. Кошачьи головы, не стал стрелять! А на лету кивают так…

Иван Сергеевич наклонился, выгнул крылья-руки, медленно ими поводил и головой плавно закивал. Глаза у него огромные, круглые, зеленые, крылья дугой — летит на нас таинственная птица Даниловой пустыни!

Разговор зашел о «Новом мире». Иван Сергеевич говорит:

— С Твардовским мы очень близки, очень. Талантливый человек. Правда, пожалуй, его теперь больше знают как редактора. Он упрямый, по-мужицки упрямый. И трудно ему. Один недостаток — пьет… сильно. Недавно был у него в «Новом мире», в редакции. Он и тут поллитровку на стол. Людей позвал. Выпили мы…

Иван Сергеевич ушел, вернулся:

— Вот досада, я думал, еще есть. Ноника, сходи, голубка, тут внизу, прямо под нами, купи маленькую…

Я сбегал в магазин.

Иван Сергеевич перелил водку в графин, где были разноцветные камешки, привезенные с морского берега. Об этом графине знали все друзья и знакомые.

Я сказал, что в магазине «Столичной» не было. Иван Сергеевич ответил:

— Это пустяки, разница небольшая. Твардовский только «Московскую» и пьет.

Ноника говорит:

— У вас, Иван Сергеевич, подражатели нашлись, знаю, в камешки наливают.

Иван Сергеевич рассмеялся:

— Ну и пусть.

Пока я бегал в магазин, Ноника рассказала Ивану Сергеевичу о нас:

— Маме еще не говорила, вам первому.

Сели за стол. Рыба холодная с лимонным соком из фарфоровой давилки-крутилки, сардины, винегрет, селедочное масло, потом горячая рыба по-польски. Дамам портвейн. Лидия Ивановна пила, закусывала винегретом — «я рыбу не люблю, не ем».

Поднимаю рюмку, хочу выпить за здоровье Ивана Сергеевича, он морщится:

— Нет, так нельзя. Ноника! Можно Лидии Ивановне сказать?

— Можно, можно.

— Лидия Ивановна, вот они мне сказали, что стали близкими людьми. Это хорошо (задумался). Давно друг друга знаете и люди одного бога. Хотите, у вас посаженым буду? А сейчас выпьем за ваше счастье.

Поллитровку мы с Иваном Сергеевичем прикончили, графина с камешками не тронули. Ноника с Лидией Ивановной остались в столовой поговорить о своих домашних делах, мы прошли в кабинет. Повеселел, оживился Иван Сергеевич, улыбается:

— Значит, на Городне были. Красивое озеро, и места великолепные… Только край умирающий, одни вдовы…

Я рассказал, что еще несколько знакомых ему деревень пропали, закрылись: Хвощно, Откуши, Жар, Печно. Большие, людные были деревни. Уйдет последний житель — перестанет туда ходить и почтальон. Колхоз первые годы в избы сено сваливает, а когда прохудятся крыши — и этому конец.

Иван Сергеевич нахмурился, говорил раздумчиво, с грустью:

— Это страшно. Весь Север умирает, а на Юге живут, богато живут. Север — это исконно русское, и сила, и красота. Что-то остается, но мало.

Подошла Ноника, обуютилась, с подушкой и поджав ноги, на диване.

— Помнишь, Ноника, и у нас на Карабоже — название-то какое сильное и таинственное: «Кара божья». За что?.. По настоящему лесу ходишь, а там каменные валики. Один старик мне сказал: «Зрячий лес стоит, а было паханое». Остается хоть память. Грустно, но это жизнь.

Видимо, захотел переменить разговор, спросил:

— До войны вы на Васильевском жили?

— Одиннадцатая линия, дом четыре, квартира сорок. Дом Морского корпуса. Отец там врачом был.

— А я перед Октябрьской жил на Четырнадцатой.

Иван Сергеевич зарядил наново трубку, раскурил, немного откинулся в кресле, голову поднял, что делал всегда, вспоминая прошлое, будто так ему вдаль виднее:

— На Четырнадцатой. Каждый день там встречался с Пришвиным, с Ремезовым часто. Тогда я войну бросил, перешел на флот революцию делать. Матрос. Экипаж на Мойке. Михайлу Михайловича один раз в мою форму флотскую нарядили. Забава! Помню, двадцать четвертого октября пошел посмотреть. Иду по улице — бескозырка, тельняшка видна, грудь вперед — «краса и гордость русской революции». В городе постреливают, то тут, то там. Знаете, как в городе всегда двойной выстрел: пук-пук, пук-пук. Эхо, что ли? Свет — электричество — горит тускло-тускло. На Николаевском мосту в часовенке тоже тусклый свет. Люди стоят, человек шесть. Смотрю, «Аврора» на якоре у моста. Люди сбились вокруг солдатика, маленький такой солдатик, винтовка с примкнутым штыком куда выше его. Подошел — смотрю, солдатик-то — девица. От «Авроры» мост охраняет, одна. Слезы так и катятся. Мы ей: «Иди ты домой от греха…»

Помолчали.

Ноника рассказала, как мы хотели привезти волчье лыко, запах весны. Резали в овраге под Внуто. Иван Сергеевич вспомнил:

— Внуто — это где церквушка на самом-самом верху холма? И озеро внизу, да?

— Да, церквушка хорошо стоит. Мы проходили — обвенчаться подумали. В пасху, в самую весну. И цветы: подснежники, волчье лыко. И хор из трех: дьяконицы, прислужницы и Максимихи. Паспортов с собой не было. По охотничьему билету, узнали, нельзя.

Иван Сергеевич как-то светло-светло улыбнулся, сказал:

— Это бы славно. В церкви — там все продумано… и слова… Ну, что же, поздравляю еще раз… Все хорошо.

Иван Сергеевич переехал в Москву. Не хотел — уговорила Лидия Ивановна. Любил Ленинград и привык к месту. Это чувство, которое он сам называл иронически кошачьим, оказалось неожиданно нужным. Иван Сергеевич терял зрение — медленно, неотвратимо, неизлечимо. Трудно стало писать, читал с лупой, потом и совсем не мог — читали для него. Жаловался сначала, что не видит через улицу, потом лица встречных и, наконец, как-то сказал Елене Витальевне:

— Ноника! А ведь я тебя не вижу.

Он твердо знал, можно сказать на ощупь, ближайший мир: двери, повороты в коридор, на кухню, в столовую, дверь парадной, все марши лестницы, выход на улицу и даже поворот в переулок. На новом месте надо было учиться заново и уже незрячим.

В тот период жизни мы в Москве бывали редко. С Иваном Сергеевичем общались по телефону, разговоры справочные, деловые.

Командировка с выходным днем в Москве. Ночую у брата в университете. К Ивану Сергеевичу не близко, надо выезжать пораньше. На улицу вышел в хмурый, но благостный час безлюдья. Автобус до самого вокзала пустой. На перроне толпа ждет, на какой платформе появится табличка: «7–26. Конаково». В электричке тесно, читать невозможно. Зато думается хорошо.

Мысли о том, к кому еду. Вылавливаю в ленивом море памяти кристаллики воспоминаний, собираю их в островки. Сначала видится лицо: цыганские острые глаза, голый череп с седым ободком, лохматые брови, приподнятые как бы в постоянном удивлении от встречи с чем-то хорошим, добрым; белая округлая бородка. Потом слышится голос, знакомый, глуховатый, чистейшая русская речь, плавная, приветная.

Мало знают у нас писателя Соколова-Микитова, непростительно мало. Слава его неизмеримо меньше заслуженной. Почему? Немного написано? Да, немного. Почему? Жизнь его была трудной, неустойчивой и очень подвижной. Половина ее такая, что практически невозможно было писать, а от другой половины жизни — половина, когда не хотелось, не мог как полагалось.

Автобусная станция близко от вокзала. В автобусе Конаково — Карачарово сел у окна: хотелось посмотреть, где теперь живет Иван Сергеевич. Забыл, что рядом Волга. Въехал автобус на мост, и вот она — узенькая, тяжело нагруженная, пароходы, моторки, байдарки; какая-то не волгинская Волга. И все же вспомнил, что рассказывают, будто ходит здесь рейсовый пароход «М. М. Пришвин», проходит он мимо домика Ивана Сергеевича и непременно гудок дает. Красивый, трогательный рассказ: приветствует покойный писатель — живого.

Автобус плелся, притыкаясь к частым желтым дощечкам, пока не выбрался на поля. Рядом со мной сидел полный, хорошо одетый мужчина. Мне от него тесновато было, особенно когда он оборачивался, разговаривая с сидевшей за его спиной сильно подкрашенной немолодой женщиной — видимо, женой:

— Нет! Далеко, долго, надо бы на машине, часа два сэкономили бы.

Явно начальственный господин. Разговор у них скучный. Говорили о добывании для себя или для кого-то земельного участка. И вдруг…

— И еще Микитович-Соколович, или, как его, Соколович-Микитович, освободит дом.

Грустно мне и больно стало, что человек, несомненно считающий себя культурным, а может быть, и солью земли, знает Ивана Сергеевича только как владельца ближайшего участка. Тут не трудно и фамилию спутать.

У домика Ивана Сергеевича, небольшого, утонувшего в необихоженной зелени, мы сошлись с молодым человеком, нагруженным объемистым рюкзаком. Лидия Ивановна его приняла радостно. Поздоровался со мной: «Вадим Чернышев». Не знал его в лицо, помнил один рассказ в журнале «Охота и охотничье хозяйство», к тому времени он, может быть, и вообще не много еще написал. Рассказ отличный — запомнился, редко так бывает.

Лидия Ивановна разбирала выгруженное на стол содержимое рюкзака. Тут и хлеб, и масло, сыр и дефицитные консервы. Знакомила нас. Меня представили как «старого друга Ивана Сергеевича и охотничьего писателя», Вадим сказал: «Знаю». А про него сказала: «Наш друг, его Иван Сергеевич любит как сына».

— Я разбужу Ивана Сергеевича?

Мы дружно запротестовали. Пили кофе. Помогала накрывать женщина, с которой Лидия Ивановна познакомилась в больнице. Она молчала, а Лидия Ивановна хвалила Вадима Чернышева за заботу, все рассказывала, как он их опекает, как облегчает жизнь. Мне даже неловко за себя стало. Правда, мы в Ленинграде — далеко, но вот обещали наговорить магнитофонные ленты с интересными новыми рассказами из журналов, и, к стыду нашему, не успели до отъезда.

Лидия Ивановна и Вадим Чернышев обсуждали недавно появившуюся статью об Иване Сергеевиче: «Легковесно и как-то панибратски».

Неуверенной поступью вошел Иван Сергеевич. Давно я его не видел. Постарел он, сильно постарел — нос удлинился, лицо обросло густым седым волосом. Как я люблю этого чудесного деда!

Услышал, что говорят Лидия Ивановна и Вадим, заступился:

— Неверно говорите! Хорошо написал, открыто, так теперь и пишут. И парень приятный, и водочку пьет. А это важно. Думаю, без водочки и Руси бы не было.

Оставили нас вдвоем с Иваном Сергеевичем в другой комнате, там, где камин. Камин маленький — четыре полена поставлены вертикально. Я затопил. Сидели, толковали.

Рассказывал Иван Сергеевич, что здесь ему хорошо, тихо, зелени много. Правда, и сюда город руки протягивает: народу много, деревья пропадают, птиц меньше и меньше, соловьев много было — вывелись. Даже Волга грязная и больная. «Федин хотел рядом дом построить. Глухо показалось ему, и жене не понравилась дохлая рыба. Весь берег вонял: спустили что-то с фабрики — она и подохла».

— Здесь хорошо. Все равно — кусочек России. Но, знаете, чем больше лет проходит, тем сильнее тянет на малую Родину, где первые годы жил. Ездил я туда, где отец управляющим был. Приехал на машине. Красивые места! Искал, где дом стоял, стариков расспрашивал, в лесничестве старую карту нашел, определил место усадьбы, проверил. Заметно, что дом был, акация одичалая, остатки аллей. Хожу и думаю: сколько здесь народу к отцу приезжало! Знаменитый лесовод Турский меня на руках держал — нянчил.

Примолк Иван Сергеевич — видимо, в думах далек от этой комнаты и от Карачарова. Опять говорит:

— И еще обидно, что мало повидал. Я по характеру бродяга. Теперь все, конец, куда я такой?

— Вам ли жаловаться? Где только не были.

— Мало повидал. Не надо далеко и ехать. Мы с Твардовским нашли, недалеко от Москвы. Попали

туда. Остров среди болота, и там люди живут необычные, прямо необыкновенные. На свадьбу нас пригласили. За столом царь и царица, а молодежь одета по-современному, как в Москве. Угостили нас водочкой с клюквенной заправкой, очень вкусной. Отправили спать на сеновал. Куры нам мешали, особенно беспокойный петух. Живут эти люди на клюкве, болота кругом, клюква эта для продажи. Потому и детей там очень много, чтобы клюкву собирали…

Я долго поправлял угли в камине, собирал их в кучу. Обернулся и задал неловкий вопрос:

— Пишете?

— Писать не могу, диктую, когда есть кому. Вот магнитофон осваиваю. Трудно мне. Вот вы Паустовского хвалили, а он выдумщик, все воображает, — Иван Сергеевич усмехнулся. — Он даже вообразил, что где-то жил с Фединым. Я пишу, что вижу. А что я сейчас вижу? И Пришвин выдумщик, только особый, ни с кем не спутаешь, знал волшебное слово, мастер. Правда, это до дневников. Там нехорошо, самовлюбленность и… мякина.

Хорошо помолчали. В этот вечер я попросил у Ивана Сергеевича рекомендацию в Союз писателей. Согласился охотно: «Давно пора».

Позвали обедать. Перешли в другую комнату и сели за стол. Все, и только что приехавшая молодая, веселая, очень приятная жена Вадима Чернышева. Плохо видит Иван Сергеевич. Сидит, не снимая темных очков, и все равно рюмку надо ему вставлять в руку.

Иван Сергеевич рассказывал:

— Рядом с Карачаровым жил хороший человек, слесарь-водопроводчик. Водочку пил, а жена и дочка это ненавидят, хотя он и зарабатывал порядочно. Один раз выпил и побоялся идти домой, пришел к нам. Лидия Ивановна его уложила на диване. Дочери сказала, что он у нас спит. А дочь: «Нам какое дело!» Другой раз он пришел домой — правда, крепко выпивши. Жена с дочкой положили его в ванну и водой поливали. Утром ушел и не вернулся. Нашли в роще — повесился! И не от холодной воды — оскорбился человек.

Другой рассказ:

— Монахов я знаю. Жил в Афонском монастыре, не в нашем, в старом, — в самой Греции. Послушник не послушник, а жил там. Хорошая у них водочка, называется… называется… забыл.

— А женщины?

— Избави бог! Даже кур не держали — одни петухи.

Застолье оживилось. Лидия Ивановна подробно рассказывала о карачаровском житье-бытье. Я молчал. Рассказ об афонских монахах напомнил о неясном для меня вопросе — отношении Ивана Сергеевича к религии. За долгие годы знакомства понять не мог. Терпимость, любование православными и даже языческими обрядами и традициями и наряду с этим хлесткое подшучивание над священниками и монахами. Знал он многие слова церковной службы, мотивы песнопений, особенно пасхальных.

«А бог есть! — сказал Иван Сергеевич, и мы примолкли, ожидая рассказа. — В эвакуации, в Молотовской области, нашел я большой глухариный ток в четырех километрах от дома, прямо на просеке. В ту весну погуляли мы с помощником лесничего. Два дня. Помощник остался дома, а я взял ружье и пошел на ток. Шел ночь и обошелся — прошагал далеко вперед, проснулся на берегу Камы. Вернулся на островину, на просеку у тока, где мы всегда ночевали. К вечеру прибрел помощник. Пошел уральский многодневный дождь, — у нас такого весной не бывает. Растянули уголком одно бывшее у меня полотнище палатки и сунулись под него. Полностью не спрятаться; капли на сапоги — наплевать, хуже — на колени и на голову. Два дня спасались. Глухари не поют. С трудом на налете убил одного. Нарезали его

кусочками и на прутиках над костром жарили. Без соли ели. На третий день дождь все идет, промокли насквозь, озябли. Глухой ночью взмолился богу, чтобы послал сто граммов спирта. И только что это подумал, как раздался голос: „Иван Сергеевич!“ Это ночью, в такой глуши! Я откликнулся. Узнаю старшего лесничего. Первый вопрос: „Спирт есть?“ — „Есть!“

Оказывается, он пробирался к нам по просеке, вышел на огонек, чтобы сказать, что кончилась война. Сели и… поздравились».

Много я слышал за время знакомства рассказов Ивана Сергеевича. Замечал его любовь к сказочному, необычному. Писал он реалистичнее, суше.

Посидели мы за столом, еще поговорили. Спрашивал меня Иван Сергеевич, езжу ли на охоту и куда? Я сказал, что без охоты не могу — вторая жизнь. Он задумался, бороду пропустил через сжатую руку, хоть и короткая борода, сказал:

— Жестокая страсть — охота. Но какая сильная! И я без нее, бывало, не мог. Под старость смирился, раздумывать стал. Древняя это страсть, от пращуров. Нет, не жалею, что был охотником.

— А когда вы, Иван Сергеевич, последний раз были на охоте?

— Точно не помню.

— Не вместе со мной в Лисине на тяге?

— Пожалуй, тогда. Верно, верно.

10 часов вечера. Надо уезжать в Москву. Провожали меня на большак Вадим Чернышев и его жена. Над хлебами прозрачный и еще теплый туман. В речной уреме поют два соловья. Иван Сергеевич говорил, что они вывелись. Наверно, не ходит он по вечерам гулять, больной, слабый.

Опоздал на автобус. Пришлось Лидии Ивановне постелить мне на диванчике в столовой. В шесть утра вскочил, оделся, не мывшись выскользнул из дома, никого не разбудил.

Обошел весь садик, заглохший, запущенный. Такой он и должен быть вокруг дома старого лесовика-охотника. Поют соловьи, славка-черноголовка, малиновка и зяблики. В поле скрипит коростель. Здесь они, птицы, но не слышит их Иван Сергеевич, просто не слышит.

На шоссе поднял руку и попал в автобус на Клин. Голова несвежая, спать хочется, ехать далеко, — вытянул ноги, привалился. Перед тем как уснуть, вздрогнул от мысли: не последний ли раз вижу этого чудесного человека? Так оно и вышло.

НАШИ ПОЛЯРНИКИ

Дядюшка мой Евгений Николаевич сказал: «Алеша! Они теперь постоянно живут в Ленинграде, привыкли на Севере охотиться — тут не получается. У тебя налажено: собаки, места, пристанище. Машина у них своя. Надо позвать, однако, — хороший народ!»

С Урванцевыми Евгений Николаевич не раз встречался на Крайнем Севере, и я слыхал о них с разных сторон. Да кто об Урванцевых не слышал? И все самое удивительное: «Урванцев на собаках прошел больше, чем Амундсен и Нансен; открыл с Ушаковым Северную Землю; первые вездеходы в тундре осваивал; нашел месторождение цветных металлов огромного значения — теперь там город Норильск; два ордена Ленина, золотая медаль Пржевальского № 4; от королевы Норвегии получил золотые часы за найденные останки Тессема…»

Наша охотничья компания пестрая: геолог-полярник, теплотехник, три ученых-химика, мастер спорта, четверо молодых инженеров, только что окончивших вузы. Очередная поездка в Тютицы — это по Московскому шоссе под Новгородом. Там освоенный приют и гончая собака Говорушка. Одна на всех.

В четверг я зашел к Урванцевым познакомиться и договориться о поездке на выходные. Пришел и… как будто в свой дом попал. Так чувствовали себя все, кому довелось побывать у них гостем. С интересом приглядывался. Оба крупные и спокойные. Он — высокий, худощавый, шевелюра небогатая, уши большие, глаза добрые, увеличенные сильными очками, резко очерченные губы; рот, когда говорит, округляется, как у очень милой и доброй рыбы; лицо бритое, пепельные усы, голос резкий. Походка у него — даже в комнатах заметно легкая, тысячеверстного пешехода.

Елизавета Ивановна мужу под стать — высокая. Очень большие, чуть навыкате, строгие глаза, лицо красивое, но не породисто-дворянское — простое, очень умное. Так, мне кажется, выглядели курсистки, образованные девушки, участницы нелегальных кружков в царское время.

Разговор шел на общие темы, о предстоящей поездке спрашивали мало. Николай Николаевич поинтересовался километрами езды и номером дроби. Елизавета Ивановна спросила: «Сколько нас будет?»

Выехали — так, как обычно получается — поздновато. Урванцевы в кильватере на «Победе». Дорога долгая и неважная: в те годы асфальт кончался, помнится, у Чудова. Приехали ночью. Машина скатилась с большака на двор небольшого домика. Вспыхнуло окно — тетя Саша ждала.

За самоваром в маленькой первой комнате разместились вплотную — веселые, проголодавшиеся, возбужденные предстоящей назавтра охотой. Наш самый главный автомобилист, Померанцев, спросил:

«Елизавета Ивановна тоже водит?» Николай Николаевич молча отмахнулся рукой, презрительно наморщил нос, тут же вскочил и выбежал к машине, как потом выяснилось — спустить воду из радиатора, что, с нашей точки зрения, было совершенно не нужно: вероятность ночного заморозка нулевая. Елизавета Ивановна сказала: «Вожу. Не люблю, когда Николай Николаевич за рулем: глаза неважные и всегда волнуется».

Позже мы узнали, что безоблачные, прямо сказать, нежные отношения супругов имеют смешную трещину: стоит им только сесть рядом в машину, как начинают спорить возбужденно и сердито. Каждый по очереди убеждается, что другой «очень плохо», «абсолютно плохо» управляет автомобилем.

Несмотря на поздний час, Борис отцепил на дворе Говорушку, и она ворвалась в комнату, оживленная и, как все собаки, живущие на дворе, резко пахнущая псиной; заметалась между знакомыми людьми, с восторгом признав в них своих, охотников.

Николай Николаевич посмотрел на гончую с интересом. Елизавета Ивановна — ласково. Поняв это, Говорушка немедленно оказалась передними лапами у нее на коленях, с головой выше стола. «Отрыщь! — закричал строгий Сергей. — Это что за безобразие!»

Говорушка — русская гончая высоких кровей, по рубашке багряная, по полевому досугу — два высоких диплома и… истеричка: может бросить поднятого зайца через сто шагов, а может и привязаться к нему, работать без скола, не давая зверю передышки, возвещая об этом породным альтовым голосом, льющимся, как вода в ручье.

Утро проснулось совершенно удивительным. Легкий ночной туман без ветра поднялся и встал в кроткой голубизне осеннего неба. Охотников, как только они вышли в невысокий лиственный лес, объяли совершенная, прямо невозможная тишина и грустные запахи осени: пахло перебродившими соками палой листвы, древесной прелью, свежестью озимых, грибной плесенью. С вершины на вершину, с куста на куст тянулись в перелетном стремлении тысячные стаи малых птиц, шуршали крылышками, негромко попискивали. От порога домика все услышали бодрую песню тетерева, и она, не умолкая, провожала нас далеко.

Набросили Говорушку, сами пошли цепью, порская и перекликаясь. Урванцевых направили по лесной дорожке.

— Вот! Вот! Вот! А-ля-ля! — кто-то поднял зайца и называет.

Говорушка быстро помкнула, провела ярко метров двести, замолчала и вернулась. Я подозвал ее, взял за оба мягких рыжих уха, наклонился и поговорил с ней негромко, но довольно сурово. Поэтому, или бог знает почему, она очень скоро сама побудила и потом до конца дня гоняла отлично.

В болотистом березняке между железной дорогой и шоссе, где густые ивовые кусты окружали бесчисленное количество воронок от авиабомб и снарядов, зайца было много. К полудню, когда мы затаборились у бывшей деревни Лялицы — некошеный луг с бугорками заросших фундаментов, — почти у каждого за плечами была добыча, а Коротов взял еще случайно налетевшего косача. Урванцевым не везло, хотя всем нам хотелось, чтобы именно на них вышел заяц.

После чая, как только мы тронулись, на опушке выскочил совсем цвёлый беляк — наверно, старый. Говорушка приняла, гон ушел далеко напрямую и сошел со слуха. Через некоторое время наши легконогие охотники потянулись за гоном, а мы с Урванцевыми остались на месте подъема. И, как это часто бывает, заяц вернулся и принялся на малых кругах водить выжловку в очень заразистом отъеме вдоль ручья.

Отбой — конец охоты.

Я позвал Говорушку и поговорил с ней.

Неподалеку, на неширокой дорожке, я видел недвижные темный берет и серую куртку Николая

Николаевича. Елизавета Ивановна, видимо, прошла дальше. Говорушка уже прижала зайца и пела яро, четко вздваивая и чуть гнуся. Гон приблизился. Под беретом показалось ружье и протянулось к кустам. Без выстрела промелькнул белый заяц. Гон ушел и опять приблизился. Мелькание зайца совсем близко. Вновь Николай Николаевич не выстрелил. Еще круг, и чуть подальше выстрел, голос Елизаветы Ивановны: «Попала! Попала! Ау! Идите сюда!»

Точно к нашему приходу у тети Саши закипел самовар, поспела картошка и на столе красовалась слава здешних мест и радость наших молодцов — плошка соленых грибов, обильно заправленных сметаной. Но… эта роскошь вскоре померкла. Елизавета Ивановна сказала: «Ребята, мойтесь, отдохните немного, я позабочусь о еде. Глеб! Помогите мне принести».

Через полчаса сели за стол, и началось пиршество. Я не буду его описывать, потому что пишу натощак. Скажу только, что каждая поездка с Урванцевыми сулила нам гастрономические радости. Чем только не угощала нас Елизавета Ивановна: тут были пироги и кулебяки с самой разной начинкой, пельмени, голубцы, а один раз, помнится, осетрина — целая рыбина. Спутники мои, особенно молодые, быстро оценили это, набаловались и, когда узнавали, что едем с Урванцевыми, еды с собой не брали.

После обеда — разговоры. Я, несколько удивленный, что Николай Николаевич два раза не стрелял, подумал, что он давно не имел практики, не успевал выстрелить в довольно плотном месте из-под паратого гона. Стал расспрашивать о его охотах. Николай Николаевич рассказывал и явно не преувеличивал.

Выходило, что охотился он только на Севере. Дома, в Сибири, мало бывал и не охотился. А в полярных и приполярных краях — это почти исключительно винтовка. Так, постепенно, из рассказов Николая Николаевича и наблюдая за ним на охоте, я понял, что с дробовиком он мало имел дела — разве что по гусям и уткам в тундре. И еще — я запомнил, один раз, это уже в районе Норильска, кончились у партии продукты. Николай Николаевич, взяв с собой охотника-напарника, на лодке пересек реку и там в уреме тундряной речки за короткое время настреляли чуть ли не пол-лодки уже побелевших зайцев.

В тот вечер, после охоты в деревне Тютицы, мы засиделись за полночь. Так долго потому, что нашей молодежи было страшно интересно расспрашивать самого легендарного Урванцева, сидящего рядом с ними и по охотничьему братству приветливого, вполне доступного человека. Интересовала их больше всего история открытия Северной Земли, тогда еще мало известная.

Николай Николаевич рассказывал охотно, удивительно просто, совершенно без пафоса, словесных украшений и, избави бог, преувеличения фактов. Наоборот, ощущалось, что повествует сокращенно, касаясь только сути, однако даже при таком изложении то, что возникало перед нашими умственными взорами, было так необычно, так значительно, что мы слушали, замирая от сопереживаний и боясь пропустить слово.

Слухи или легенды о существовании земли к северу от Таймыра относятся к незапамятным временам: «Приходят на материк с иной земли песцы и белые медведи, летят по осени дикие гуси с океана на юг». Штурман Великой Северной экспедиции весной 1742 года, проходя с описью вдоль Таймырского побережья, достиг мыса, где берег, наконец, повернул на юг. Он записал в журнале: «Сей мыс, каменный, приярой, высоты средней, около — льды гладкие, торосов нет». Перед Семеном Челюскиным в морозной дымке, сколь глазу хватит, простирались торосистые льды Студеного моря. Если бы погода была ясной, он заметил бы купола Северной Земли, рисующиеся с мыса в виде узкой белой полосы, что можно принять за туман или облачность. Легенда осталась легендой. Редкие мореплаватели продолжали огибать мыс Челюскина по шестидесятикилометровому проливу Вилькицкого, считая его открытым океаном. Не мог усмотреть землю Норденшельд на «Веге», не обнаружил ее и Ховгард на «Димфне», не нашли Ф. Нансен и Э. Толль. 3 сентября 1913 года ледокольные суда «Таймыр» и «Вайгач», идя от острова Малый Таймыр,

обнаружили неизвестную землю и нанесли на карту контуры части ее южного и восточного берегов. Так получилось, что в течение двух десятков лет после открытия мир и наука знали малый край новонайденной суши и только. Однако именно это возбуждало интерес исследователей и аппетиты зарубежных дельцов. В 1918 году Амундсен попытался проникнуть на Северную Землю санным путем, швед Паллен предложил послать туда на три года специальное экспедиционное судно. Вальтер Бруно проектировал исследование на «Цеппелине». У. Нобиле дважды попытался достичь Северной Земли на дирижабле «Италия». Не достиг цели, хотя был всего в 20 километрах от нее, и высказал мысль, что если Северная Земля и существует, то это лишь группа мелких островков. В 1926 году летчик Б. Г. Чухновский пытался пролететь по маршруту Архангельск — Маточкин Шар — Диксон — Северная Земля. Пришлось вернуться из-за полосы густого тумана в Пясинском заливе. Неудачи, неудачи… Время шло, и время не ждало.

Весной 1930 года Правительственная Арктическая комиссия утвердила план двухлетнего исследования Северной Земли, предложенный двумя опытными полярниками, — они же стали и основными исполнителями дела. План особый, трудный, рискованный и глубоко продуманный. Учтены неудачные решения Шеклтона и Скотта: передвижение на лошадях и пони; исключены олени — неизвестно, есть ли ягель на таинственном острове, да и вряд ли его в таких высоких широтах достаточно. Не подходят для дела шлюпки — слишком много льда. Собаки. Только собаки, как у Амундсена при походе на Южный полюс. Много собак, пятьдесят — не меньше. Чем кормить? На каждую надо килограмм мяса в сутки, на два года — это десять тонн. Выручит охота, хорошо знающий это дело промышленник. Связь. Без нее просто невозможно. Нужен опытный и смелый радист. Все! Итого четверо, ни одним человеком больше. Практика Севера показывает, что чем меньше, тем лучше.

22 августа 1930 года ледокольный пароход «Седов» высадил на островок у Северной Земли зимовщиков. Начальник партии — Г. А. Ушаков, научный руководитель Н. Н. Урванцев, радист В. В. Ходов, охотник и каюр С. П. Журавлев.

— Вот и провели мы там два года, — рассказывал Урванцев. — Не просто было, однако. Дело сделали, разведали, описали — все на собаках; — оказалось три больших острова. В газетах писали: «Стерли последнее белое пятно на Севере, утвердили для Родины тридцать семь тысяч квадратных километров (площадь больше Бельгии)».

Я спросил Николая Николаевича:

— Почему у многих не получалось, а вы справились? В чем причина успеха?

Он ответил сразу (видимо, давно решил для себя этот вопрос):

— Обдуманность и расчет. Все было учтено (способ передвижения, одежда, питание, инвентарь) до мельчайших деталей, и главное, самое-самое главное — подбор людей. Мы с Георгием Алексеевичем на Севере бывалые и люди одной жизненной страсти, нам ужиться легко, а вот другие… Радиста Ходова мы выбрали потому, что он любитель-коротковолновик, не профессионал, и молодой сильный человек спокойного характера. Не ошиблись. Сложнее было с Журавлевым. Нужен был северный промышленник, охотник высочайшего класса. Сергей Журавлев — коренной новоземельский зверобой, больше четверти века там промышлял. Такие люди под влиянием суровых условий жизни сами становятся жесткими и несколько анархичными, и все, без исключения, крепко пьют. Но и этот выбор оправдался. Журавлев оказался знатоком дела — замечательным охотником и собачником. Его первоначальное ироническое отношение к «несерьезным» научным занятиям, непонятным замерам, магнитным определениям, бесконечным расчетам резко изменилось, когда на стол полярного домика легла карта с первыми очертаниями неведомой земли. Это он понял.

— Охотились? — довольно наивно спросил кто-то из наших молодых.

У Николая Николаевича засветились смехом глаза и округлился рот:

— А как же! Не могли не охотиться. Представляете, страна-то наша еще бедная была, денег в обрез, на дорогую полярную одежду явно не хватало, да и на продовольствие тоже. Тут мы рискованно предложили Госторгу открыть кредит с погашением долга тем, что добудем на Северной Земле. Госторг поверил нам, согласился.

Фотография белого медведя из архива Урванцева.

Спрашиваем:

— Рассчитались?

— С избытком, в основном белыми медведями.

— А как вы на них охотились?

— На зимовке мы так стреляли: возьмешь пласт сала нерпы — чутье у медведей отличное, — поджаришь слегка и привяжешь к нему веревку. Идешь на лыжах, а сало за тобой по снегу тащится, след дает. Сделаешь круг километров двадцать и обратно к становищу. Медведь наткнется на твой след и прямо в гости пожалует. Один раз намазал я этим же салом сапоги и пошел на работу в будку делать магнитные наблюдения. В магнитную будку ничего железного брать нельзя. Вот и пошел без ружья. Зашел в прирубок, оглянулся, протер очки, заметил — в сумерках что-то движется. Пригляделся — медведь следы мои нюхает, идет за мной. Что делать? Бросился бежать, еле успел вернуться к домику. Там у нас в тамбуре винтовки стояли. Тут уж не я живая приманка, а он попался.

Спрашиваю Николая Николаевича:

— И на пропитание медведей стреляли?

— Пришлось. Много в тот год их было на Северной Земле. Повадились они на остатки мяса и жира приходить к нашему лагерю. Приходили ночью. Я в это время занимался в магнитном домике вычислениями. Наблюдения были закончены, и я в тихом месте, где никто не мешал, сидел целые ночи и

вычислял. Теперь можно было иметь с собой и винтовку. Когда настали лунные ночи, я бросил около магнитного домика тушку нерпы, привязал к ней проволочку и протянул ее в домик. А к проволоке привязал колокольчик. Однажды ночью колокольчик забренчал. Я вышел и увидел медведя, теребившего нерпу. Выстрелил. Прибежали собаки, прогнали с лаем зверя на торосы, там стали лаять на одном месте. Зверь был убит надрезанной пулей из военной винтовки. Пуля раздробила сердце, и все же медведь прошел около двухсот метров. Зверь был весом около пятисот килограммов.

Часто медведи сами приходили. Вася Ходов — он оставался дома, когда мы ходили в походы, — убил восемь таких пришельцев, одного — на трубе дома. Еще нерп стреляли. Этим специально занимался Журавлев — для собачьего корма.

— Белые медведи злые, опасные?

— Представьте, нет. За все время, что я жил на Севере, ни разу не нападали. Казалось, иной раз намеренно идет, но выяснялось, что принял человека за собаку или нерпу. Обнаружит ошибку — уходит, даже убегает. У Журавлева богатейший опыт, и он говорил, что не знает случаев нападения на человека как на добычу. Рассказы полярников, что медведь преследует, ловит убегающего человека, всегда не факт, а фантазия. Вот вместе с ними охотиться приходилось…

— Как так?

Николай Николаевич заулыбался, посмотрел на Елизавету Ивановну, и та улыбнулась — видимо, знала про этот случай.

— Журавлев пошел на охоту, был ясный теплый день. Мы с Васей вышли из домика. Он схватил меня за руку: «Смотрите!» Не так далеко, прямо против нас, лежала на льду нерпа, к ней подкрадывались с разных сторон медведь и Журавлев! До чего же одинаковы охотники! Ползут, из-за торосов голову осторожно высовывают и опять ползут…

По следам Урванцева. (Северная Земля. 1980 г.).

— Значит, охота помогала питаться?

— Весьма.

— А что больше любили, что вкуснее?

— Лучше всего бифштексы и отбивные из молодого медведя, хороши гуси, казарка там чернозобая.

Да! Замечательное блюдо — студень из белушьих хвостов и плавников, превосходный, вкусный, жирный и весьма питательный — чистое лакомство. Студень из медвежьих лап хуже.

— Сколько медведей добыли?

— Сто пять.

— Вот это да! — сказал горячий молодой охотник Глеб. — Запишусь в полярную экспедицию, поохочусь вволю и бороду отращу обязательно, здесь не получается.

— А это совершенно зря, — запротестовал Николай Николаевич, — нет ничего хуже. Считается почему-то обязательным на зимовках бороды отращивать. При оседлой жизни на станции это еще сносно, если пренебречь санитарно-гигиеническими соображениями; но при работе на воздухе, особенно в маршрутах, и при жизни в палатке растительность на лице совершенно недопустима. На морозе в бороде накапливается влага, это способствует обморожению, и борода причиняет невыносимые мучения, когда примерзает к воротнику и кромке капюшона.

— Ребята! Вы так замучаете Николая Николаевича, — сказал старший из нас, Евгений Николаевич Фрейберг, — пора спать.

Через несколько лет знакомства я заметил, что у Николая Николаевича, помимо работы, которую он любил и ценил высоко, как у многих мужчин, было еще и увлечение, причем не охота, а машины, прежде всего — автомобиль; знал его он великолепно и обихаживал своими руками.

А как же охота? Охотником — вернее, страстной любительницей природы — была Елизавета Ивановна. Полжизни она прожила вне городских стен, и ее постоянно тянуло на выезд. Просто «отдыхать на лоне» она не умела, охота — вроде бы дело, а Николай Николаевич с удовольствием вел машину, проверяя свою ремонтную работу на ходу в полевых условиях.

В ту зиму я получил предложение купить берлогу. Желающие поохотиться, в том числе Урванцевы, нашлись. Я поехал в поселок Мясной Бор, что лежит на дороге между Чудовом и Новгородом и печально знаменит тяжелыми для нас боями с немцами. Виктора, охотника-промысловика, нашедшего берлогу, знал раньше. Вечером у него в избе состоялся разговор. Витя, естественно, «хвативши», говорил, что медведя он обошел по первым снегам в небольшом отъеме, все время ходил, проверял — нет, не вышел, это точно. Я предложил ему условия — не первую берлогу покупаю, — принятые у нас в Ленинграде: оплата с пуда общего веса зверя. В случае, если уйдет по нашей вине, рассчитываемся как за шестипудового. Витя не соглашался, назвал свою цену за берлогу — и все: «Медведь есть медведь, я не мясо продаю, пусть будет двадцать пудов — все ваши». Показалось мне это подозрительным — не маленький ли? Но как проверить? По величине следа — так его давным-давно нет. Спросил только, глуповато, конечно: «По следу-то большой?» Отвечает: «Не беспокойся, нормальный — такие лапищи». Скрепя сердце я согласился, и мы обошли оклад. Проверки, конечно, никакой — все заметено, только что сообразить, как гнать и где ставить стрелковую.

Накануне охоты мы приехали на двух машинах. Витя пришел из бани и с удовольствием согласился подсесть к ужину.

Я наблюдал за Урванцевыми. Не первый раз руковожу охотой на медведя и замечаю, как ожидание интересного, но все же не безопасного дела влияет на людей. Супруги держали себя так, будто завтра мы пойдем в лес за грибами, — ни малейшего волнения. Гляжу на других, вижу: один мрачен — значит, раскаивается, что поехал, отказаться — самолюбие не позволит; другой неестественно для себя весел. Фрейберг спокоен — не первый у него мишка. Урванцев также: там, на Севере, не раз охотился, пусть на белого — какая разница. Елизавета Ивановна, как всю жизнь, готова безоглядно разделить все, что делает муж.

Витя общителен, словоохотлив, рассказывает, как нынче на берлоге убил медведицу.

Урванцев поинтересовался:

— С кем ходили? Много народу было?

— Один. Ей-богу, один! Чуть все дело не сорвалось. Видишь, собаку у меня машиной задавили — хорошая была лайка Сигнал! Он мне берлогу и нашел, еще живой тогда. Облаял. Определил точно. Большая выскеть, к ней две ломаные сосенки приваливши, как домик. Ладно. Снегу накутило довольно, решил взять — тут сало просили и в зачет договора. Пошел…

— Одному опасно, взяли бы кого еще.

— Зачем? Жену взять — не помощь, охотника — делиться надо. В подсумке шесть патронов, пулевые, две картечи. Ладно. Снег рохлый, без корки, неглубокий — шагать тихо. Подобрался ну вот так, — Виктор показал рукой в угол комнаты, — вижу шерсть, только не понять, как лежит: ко мне мордой или ж…ой? Да ладно! Прицелился — тик! — осечка.

— Как же мвжно с такими патронами на медведя? — не выдержал Урванцев.

— Не в патронах дело — пружины слабые, пистон больше по второму разу сыграет. Ладно. Тихонько взвел обратно курок — хлесь! Как она выскочит, мимо меня, рядом, на уход! Тут успел дать с левого, там пружина посильнее, правда, почти в зад. Осмотрел — на снегу кровь, порядочно. Иду потихоньку, немного времени прошло, она, сдурела, что ли, встречь бежит — может, драться? Стал за сосну… — тут Витя, вспоминая, заволновался, округлил глаза и понизил голос: — Идет на меня, нет, мимо, снег хватает, отвернула. Далековато уже два раза стрелял, с первого опять отказ был. Попал не попал — бегу следом. Чувствую, догоняю; погорячился — далеконько еще было — два раза картечью отвесил. Только ходу ей прибавил, патроны все… Ладно, тут нескладеха вышла. Слышу, кто-то идет. Гляжу — Ванька Вешкинский, с ружьем. Подошел, говорит — все понял, давай вместе. Я ему — ничего, мол, не надо: зверь уже бит. Постояли, покурили. Я пошел следом, Ванька за мной.

Идем. Поглядываем, с обеих сторон кровь, слева черная. Километр, другой. Два раза ложилась, видать — услышит и пойдет. Часок шли, смотрю — впереди в елках темнеется. Подходим — елушки молодые, непроглядные, не понять, что и как. Она, конечно, однако наружу только босая лапа. Ванька мне: «Давай, стр*е*лю?» Я ему: «Ни в коем разе, не смей, он — готовый». Кумекаю — дать добить, тогда делись, — на… это мне нужно. Он говорит: «Готовый — так ложи в сумку». Сердится, вредина. А как взять? Ладно, я ружье положил наземь и, не торопясь, по-пластунски, ближе подполз, вижу — лапа задняя. Это лучше. Ближе, ближе. А! Мать дорогая! Лапу рукой тронул. Все тихо, не шевелится. Дошел. Готовый! Вот так!

— Черт-те что! — возмутился Николай Николаевич. — Да раненый медведь должен был тебе башку оторвать! И за что?

Витю срочно позвала хозяйка, он вышел.

Елизавета Ивановна сказала:

— На Севере везде такие люди отчаянные. Вы знаете, он мог так поступить не только чтоб не делить добычу — это само собой; а по бесшабашности, лихости.

Николай Николаевич задумался, начал как бы в раздумье, закончил с большой убежденностью:

— Смелость надо расценивать, отвечая не на вопрос «почему?», а на вопрос «для чего?». Да, важна цель. Я вам расскажу историю, случившуюся на зимовке, где нужна была большая храбрость. Елизавета Ивановна, можно про Журавлева?

— Не надо, Николай Николаевич: грустные дела.

— Прости, но так яснее получится. В тридцать третьем году зимовали мы с женой на острове Самуила — это Западный Таймыр, — я начальником экспедиции, Елизавета Ивановна — судовым врачом. В разгаре зимы появился нежданный гость — старый знакомец Журавлев. Я вам рассказывал. Мы с ним две зимы провели на Северной, в нашей четверке он был каюром и охотником. Отчаянный мужик, лихой и пьяница изрядный.

Встрече обрадовались. Он сосед — начальник бригады промысловых охотников, от нашего зимовья они не так уж далеко — конечно, по северным масштабам. У него беда: все больны, все перессорились, мужики баб колотят.

Елизавета Ивановна поехала туда с Журавлевым на собаках; попали в пургу, бедовали в снежном сугробе двое суток. А на месте Елизавета Ивановна застала картину страшную: грязь, вонь, цинга, непрерывная пьянка, издевательства над женщинами…

— Сам Журавлев хотел свою жену на цепь посадить, — добавила Елизавета Ивановна.

— В общем, мрак и безысходность. Елизавета Ивановна поглядела везде, видит: продуктов достаточно, даже лук и чеснок есть. Нашла в кладовке Журавлева припрятанный бочонок спирта, взяла топор и — трах! — разбила, да, расколотила до донышка. Представьте, что было, когда мужики обнаружили: «Ты что натворила, так и едак!» — закричал Журавлев, зверем, медведем пошел на Елизавету Ивановну. Она схватила топор, кричит: «Зарублю!» Вот тут нужна была храбрость не меньше, чем у Витьки с медведем, и, главное, бесспорно для доброго дела. Перезимовали журавлевцы благополучно.

Я прервал разговор: надо было подумать о завтрашней охоте и определить, кому где стоять. Оклад маленький, стрелковая короткая. Урванцевы решили стоять вместе — значит, номером меньше.

Спали на свеженабитых холодноватых сенниках на полу большой комнаты. Хозяйка предложила Урванцевым свою кровать, но они, поблагодарив, устроились с нами вместе.

Морозное утро. Все на лыжах. Идти недалеко — два с небольшим километра. Моя лыжня видна отлично. На ней следы зайца: пробежал, сдвоил и скинулся. Это хорошо — выходит, не было переновы и номера, нарисованные лыжной палкой, будут заметны. Круглое низкое солнце светит сквозь лес на опушке: не греет, только играет искрами на мертвенной глади и шапках еловых вершин. Руки зябнут, беру палки под мышки, не торопясь иду впереди всех. Нарочно медленно, чтобы стрелки на ходу не согрелись. Оглядываюсь, смотрю, не отстал ли кто. Нет, ровная цепочка людей в белых халатах и шапочках. Знаю, по своему опыту знаю, что те, кто впервой по медведю, в настроении необычном — волнуются, а кто и побаивается до сухости во рту.

Очень тихо. Ушли из живого поселка, впереди безлюдные заснеженные леса на много километров. Белая стылая пустыня — правда, нам туда не надо, нам ближе. Когда медленно и плавно идешь — обязательно думы. Сейчас о предстоящем деле. «Надо бы не вдвоем Урванцевых ставить, а порознь, и каждому из них придать надежного стрелка. Стрелковая линия в густом ельнике — иначе не выходило, — медведя заметишь шагов на пятнадцать-двадцать: сможет ли успеть Николай Николаевич? А Елизавета Ивановна? Правда, за спиной редколесье, можно повернуться и в угон. Но это уже другой вопрос. Почему не соглашался Витя рассчитываться с пуда? Почему поморщился, когда я удивился, что он не пригласил в загонщики Ивана Вешкинского, сказал: „Ну его на фиг!“ Может быть, Иван что-нибудь знает? Как дойдет лошадь — пусть без саней, только с хомутом и веревками — по такому глубокому снегу? Самим придется тащить до дороги». Заботы, заботы — немало их у ответственного.

Расставил людей, сам отоптался на номере. Просечка с небольшим изгибом — вижу справа Урванцевых, за ними Фрейберг, влево — никого, ближайший показался и скрылся, других не вижу. Знаю,

все рядом, место густое, линия короткая. Смотрю на часы: правильно все, через минуту Витя пойдет заводить кричан.

Так закутало снегом молодой лес, что загонщиков я услышал и увидел почти одновременно и сразу же заметил, что Евгений Николаевич поднимает ружье, целится — на морозе щелчок выстрела не громче пастушьего кнута. С места не сходит, приглядывается и начинает ругаться. Иду к нему. Замечает меня и прибавляет голос:

— Черт бы вас с таким медведем! Пригнали кота. Сроду их не стрелял, так разэтак… Почище бы место, разглядел бы и ручкой ему вслед помахал — иди подрасти, тогда встретимся!

Я подошел. Прямо против номера Фрейберга, шагах в пятнадцати, утонув в снегу, лежал медведь, маленький: на взгляд — пуда на два. Две лайки — видимо, загонщиков, — стояли рядом ощерившись, боясь дать хватку. Протрубил отбой. Медведика, без всякой лошади, вытащили артелью, положив на лыжи.

И в доме Фрейберг продолжал ругаться. Виктор был несколько сконфужен или делал вид. Я довольно резко упрекнул его в недобросовестности. Он оправдывался: «Такое дело: ростепель была, когда окладывал, — видать, следы оплывши были: лапы мне показались во-о!» Слушал это вранье, и пришла в голову догадка: вместе с той медведицей, что убил Витька, лежал лончак, он поднялся, дал след, и Виктор его обложил. Да, да! — так оно, наверно, и было.

Урванцевы — люди, не умеющие делать что-либо наполовину. Николай Николаевич, заключив, что на охоту надо будет выезжать из Ленинграда в лес по плохим дорогам, загорелся купить машину повышенной проходимости и вскоре купил подержанный «Иван — Виллис»; с великим удовольствием занялся его ремонтом. Елизавета Ивановна активно поддержала предложение нашей компании сообща приобрести смычок гончих и держать его поближе к городу. Вскоре по совету Николая Константиновича Черкасова мы с Урванцевым приехали на Суходольскую и остановились на даче Черкасова. Сам Коля был в отлучке, по его просьбе хозяин смычка привел собак, и рано утром мы пошли на пробу. Смычок англо-руссов — Шугай и Волга — по статям был подобран довольно удачно, так же, как скоро выяснилось, и по ногам. Работа собак понравилась. Покупка состоялась.

На даче Черкасова Е. И. и Н. Н. Урванцевы. В. В. Щербинский.

Устроили смычок в охотничьем хозяйстве Лесотехнической академии, в Лисино — Корпусе. Началась для собачат счастливая жизнь: старый хозяин кормом не баловал, теперь Елизавета Ивановна сама заботилась о них. С охотой получилось неважно. В первый же день мы набросили смычок на лесных пожнях, скоро услышали азартный дружный гон смычка и… собаки сошли со слуха, исчезли. Мы их искали, разойдясь широко. Николай Николаевич разогрел машину, ездил по Кастенскому шоссе, останавливаясь и прислушиваясь. Все напрасно. Поздно вечером мы встретили лесника, он сказал: «Я от Сярдца иду. Слышно было на карьере — там завсегда лисьи норы — собаки гамели — наверно, ваши». Собаки пришли ночью, грязные по уши, усталые.

Еще две поездки, и выяснилось печальное обстоятельство: Волга оказалась отчаянным лисогоном, все время искала лисицу, хуже того — видимо, бывший ее хозяин ходил с ней и по лосям: Волга гоняла их довольно настойчиво. Шугай, как верный друг, следовал за ней, в одиночку же интересовался только зайцем. Кто-то из нас предложил смычок продать. Урванцевы возражали: «Славные песики, привыкли мы к ним, они — к нам».

Выход, правда, довольно канительный, был найден. С утра мы пускали в полаз одного Шугая, Волгу вели на поводке. Услышав голос Шугая, шли к нему, убеждались, что он работает по зайцу, — набрасывали Волгу. Тут уж она вынуждена была гонять в паре. Так и охотились, и довольно успешно.

Много лет мы ездили с Урванцевыми на охоты. По лесным трудным дорогам мы проводили машины, подваживали, подбрасывали, вываживали, подкапывали, буксировали в грязи, воде, в глубоких снегах, ползли по гололедице, бились с заводкой в большие морозы, пешком пробирались по весенним разливам речушек и гатям на тока, мокли под осенними затяжными дождями, до кишок промерзали, стоя в крепкие морозы на номерах, осмеркнувшись с гончими в осеннем ненастном лесу, с великим трудом, чуть живые, выбирались на огонек лесной сторожки, спали у друзей в благоустроенных дачах, на пружинных койках в гостиницах, вповалку на полах деревенских изб, скорчившись в машинах, спали на воле в роскоши сенных

сараев или лесных шалашей, где так остро и памятно пахнет хвоя еловых лапок.

И по-прежнему Елизавета Ивановна сама наслаждалась общением со всем лесным и успевала баловать нас изобильными вкусностями, а Николай Николаевич возился с машиной и, чем длиннее и труднее был предстоящий путь, тем больше был доволен, особенно когда приобрел проходимого «Ивана — Виллиса». Надо было видеть, с каким удовольствием он, приехав ко мне в деревню Владыкино на Увери, проводил своего «козла» через знаменитый на всю округу «Грязный мост» — зыбучий кусок дороги на Карманово, как в далеком углу Псковщины, подойдя к берегу у брода довольно широкой речки, глянул на него взором Суворова перед переходом через Чертов мост, сел за руль, в брызгах и пене, и первым перевел машину через воду.

В этих походах, особенно на привалах, мы постепенно узнавали факты и обстоятельства удивительной жизни наших спутников, причем довольно оригинальным путем: Николай Николаевич скупо рассказывал про себя и весьма охотно и любовно про Елизавету Ивановну, а Елизавета Ивановна действовала так же.

Трафаретна ошибка людей! Встречая людей необыкновенных, героических, кажется нам, что совершенное ими должно как-то соответствовать или найти отражение в их внешнем облике или манере держаться. Чаще всего они, особенно мужчины, говоря несколько утрированно, представляются нам мощными гигантами, с лицами как бы высеченными из мрамора, взорами орлиными, голосами властными.

Урванцевы внешне — люди обычные, в общении с окружающими удивительно простые, доступные, доброжелательные. Сколько раз, глядя на Николая Николаевича, я думал о том, как трудно представить себе, что вот он, рядом или напротив меня сидящий человек, тот самый, кто отказался подчиниться решению Геолкома о прекращении разведки Норильского месторождения (подумать только — Но-риль-ского!), дошел до самого Ф. Э. Дзержинского и добился отмены этого решения и поддержки. А теперь в зоне вечной мерзлоты вырос город-красавец Норильск, кипящий людьми, где многоэтажные здания, универсамы, детские сады, школы, театры, спортивные залы, бассейны, учебные заведения, кинотеатры и… простая деревянная изба с мемориальной доской: «Первый дом Норильска, построенный геологоразведочной экспедицией Н. Н. Урванцева летом 1921 года».

Николай Николаевич Урванцев в ноябре 1922 г.

Елизавета Ивановна — молодая медичка.

Трудно представить себе, глядя на отнюдь не атлетическую фигуру старого геолога, что это он дал Родине Северную Землю, составляя ее описание и карту, прошел на собаках по снегам и льдам, по торосам

и морскому припаю свыше 5000 километров.

А Елизавета Ивановна? Как не вяжется с ее скромной манерой держаться, что именно она, эта замечательная русская женщина, преодолев тысячеверстный путь на оленях, собаках, лошадях, бечевой на лодке, на пароходах и поездах добралась до центра, до Геолкома; получая бесконечные отказы в деньгах для экспедиции мужа, все же добилась их и тем же многотрудным и опасным путем, пряча в дороге от людей эту большую сумму, вернулась обратно, и тогда Николай Николаевич смог выдать задержанную зарплату рабочим. Как оценить, в каких мерах, что она, будучи студенткой-медичкой, училась и одновременно собирала деньги на особую, большую раскладную шлюпку для путешествия по таежной необследованной реке — мечту своего супруга? Пришлось для ее оплаты продать все ценные вещи и зарабатывать стиркой белья, мытьем полов и работой грузчика.

Нельзя было равнодушно слушать правдивую повесть о том, как Николай Николаевич был арестован по клеветническому доносу и находился под стражей более десяти лет: тюрьма, лагерь, ссылка, возвращение в родной Норильск для работы под надзором.

Елизавета Ивановна во время войны работала хирургом близко от передовой и упрямо не соглашалась на тыловые госпитали, так как, по особому приказу, только с фронта можно было посылать посылки с вещами убитых куда угодно, даже в места заключения. Пользуясь этим правом, Елизавета Ивановна поддерживала продуктовыми посылками жизнь мужа. А когда его перевели в лагерь, она уехала туда и стала работать врачом, а потом начальником больницы лагеря.

Фотография с надписью из архива Урванцевых.

Все это, взятое вместе, говорит мне, что как бы ни был блистателен жизненный путь Николая Николаевича Урванцева, нельзя, просто невозможно писать о нем одном. Нет, его жизнь и судьба столь тесно связаны, как бы едины, с Елизаветой Ивановной, его спутницей и любимым человеком, что можно и

надлежит писать только об Урванцевых.

Что мы, окружающие, могли сделать для Урванцевых? Чем выразить свое глубочайшее уважение и любовь? Почти ничем. Нельзя же считать наше постоянное стремление хоть в мелочах облегчить им охотничий быт, помочь с машиной, посадить на лучших местах, поставить на наиболее надежный номер, не говоря уже о том, что каждый из нас за честь почитал преподнести им добытую дичину. Вспоминая, улыбаюсь нежно по отношению к своим друзьям и Урванцевым — никогда они не возвращались домой с гончей охоты без зайца, а то и двух в багажнике.

Время шло, все мы взрослели и старились, и больше всего это было заметно на Урванцевых — самых старших из нас. Мы по-прежнему с ними встречались, однако все чаще не на охоте, а дома.

В этот период жизни Урванцевых они оседло жили в Ленинграде, но так и оставались северянами. Долго еще при первой возможности, преодолевая возрастную трудноподъемность, посещали любимый Норильск и интересовались всем, что делается за Полярным кругом. Помнится, побывав в командировке в Мурманске по рыбным делам, я передавал Николаю Николаевичу рассказы рыболовов открытого моря — моих соседей по гостиничному номеру. Для увеличения улова они на трал с ячейками законного размера, гарантирующего пропуск мелочи, накидывают «рубашку», то есть вторую сеть; при подходе же контроля срочно бросают трал вместе с рыбой. Как возмущался Николай Николаевич! Как весь кипел от такого дикого расхищения.

Елизавета Ивановна с большой любовью рассказывала о детях ненцев и нганасан, какие они смышленые, способные ко всякому делу, особенно к искусству, как они рисуют, вышивают, какие сказки не только слушают — сами выдумывают…

В свой охотничий дневник я продолжал записывать о встречах с Урванцевыми — теперь у них и у меня дома. Приведу здесь несколько записей, как мне кажется, наиболее характерных.

Однажды мне пришлось быть по делам в районе Парка Победы. Я освободился раньше, чем предполагал, и зашел к Урванцевым. Попал в обеденное время. Елизавета Ивановна нас пышно и страшно вкусно накормила. Поставила бутылку армянского коньяка, позабыв, что Николай Николаевич и я предпочитаем белую. Попросив прощения, убежала на комиссию ГАИ по разбору транспортных происшествий, где была инспектором и ответственным секретарем.

Мы остались вдвоем и перешли в кабинет. Николай Николаевич был задумчив и печален — видимо, что-то вспоминая. Я по ряду причин был в тот вечер возбужден и зол — в таких случаях рюмка не успокаивает, а усиливает плохое настроение. Мы очень долго молчали, потом я попросил его — так уж вышло — рассказать о том, чего он не любил затрагивать, — о тяжелых днях его жизни. И странно — видимо, сам он в тот вечер их вспоминал, — рассказывал охотно и подробно. Когда он кончил, я, взволнованный, потрясенный глубиной человеческой подлости и предательства, воскликнул: «Нет, я бы так не оставил! Я бы вывел на чистую воду этих негодяев». Николай Николаевич, задетый моей горячностью, задумчиво поднял брови, чуть откинул назад голову, молчал. Мне нечего было больше сказать. Неожиданно резко и решительно он ответил: «Совершенно некогда этим заниматься».

Такой уж вечер откровенности выпал. Я говорил о многом прискорбном в нашей жизни и задал вечный интеллигентский вопрос: «Что дальше?» Николай Николаевич ответил неожиданно легко: «Зачем спрашиваете? Вы так же верите в нашу страну, в хорошее будущее. Однако мне кажется, что разрешение трудностей лежит не в области технического прогресса, а в морали — надо было бы немного вернуться вспять».

— К дикарям?

— Да, только не к образу их жизни и степени развития, а к их морали.

— То есть как?

— Вот пример. Проезжая по тундре, я выронил мешочек с запасом плиточного чая. Досадная потеря. Обнаружил не сразу; не возвращаться же — разве найдешь? — да и торопился. Нашел мешочек случайно оленевод-нганасан. Понимаешь, какое богатство для него? А он прикинул, кто мог потерять, и много, ой много трубок выкурил, пока догнал — далеко было, — догнал и отдал… Представляешь, если бы все люди так?

В ноябре 1978 года ко мне позвонил мой друг, ленинградский писатель Глеб Горышин. Рассказал, что к ним в Правление Союза явился француз — Жан-Пьер Малори. Полярный путешественник, четыре года прожил с эскимосами, написал две книги об этом (я вспомнил: одна из них у меня есть), председатель Полярного комитета, пишет книги по истории освоения Арктики, живет в Париже. Вчера они знакомили его с писателем, тоже полярником, Юрием Сергеевичем Рытхэу, хорошо провели вечер. А теперь Горышин хотел бы познакомить его с Урванцевым. Зная мои близкие отношения с ними, просит посодействовать.

От моего дома мы ехали на такси: Малори, Горышин, переводчик — им у нас был этнограф В. Арсеньев — и я. Пытался рассказывать гостю об Урванцеве, но он откровенно дремал.

Урванцевы ждали. Елизавета Ивановна, как всегда, была приветлива и гостеприимна. На столе — даже черная икра. Не удивительны у них северные деликатесы — далекие друзья не забывают, но икру достали где-то здесь.

Малори проснулся и начал говорить. Говорил быстро и непрерывно — переводчик еле успевал, — интересно, но только про себя. Урванцев и все остальные молчали.

Рассказчик горячился, кипел, перескакивал от одной истории к другой. Впечатление такое, что он — котел под давлением, и нужно стравить немножко пар. Я наблюдал за ним, решая, что это, темперамент француза или же его личный?

Все продолжали молчать. Наконец Малори начал рассказывать о Рассмусене, который ему нравится и он о нем пишет. Тут я прервал Малори и задал Николаю Николаевичу вопрос:

— Вы знали Рассмусена?

— Да.

— Лично?

— Лично.

Малори насторожился. Видимо, это произвело на него впечатление. (Часть пара стравилась.) Он продолжал, но уже не так горячо. Дошел до рассказа, как заинтересовался судьбой двух норвежцев, ушедших с корабля Амундсена и погибших при довольно неясных обстоятельствах. Спросил Николая Николаевича, знает ли он про эту трагедию. Николай Николаевич ответил коротко и просто:

— Я был председателем комиссии по расследованию этого дела, и мы нашли скелет норвежца.

Малори страшно заинтересовался, попросил рассказать и с этого момента резко переменился, почти не говорил, внимательно слушал. Видимо, понял, наконец, что здесь он имеет дело с живой историей.

Урванцев говорил не торопясь, в своей манере, точно и без украшательства:

— Амундсен на «Мод» в тысяча девятьсот девятнадцатом году зазимовал у мыса Челюскина. Великий человек, а характер тяжелый. Поссорился со своими спутниками, невыносимая создалась обстановка. Двое из них, Тессем и Кнудсен, взялись доставить на материк почту. Видимо, такой выход устраивал обе стороны. Эти норвежцы были прекрасными лыжниками, один из них, кажется, какой-то чемпион, однако Амундсен не новичок на Севере — должен был понимать, что значит пройти девятьсот километров по

океанскому берегу полярной ночью. Пропали они без вести.

В те годы меня интересовала река Пясина, ее еще и на карте не было. Летом двадцать второго года с маленькой партией мы прошли на лодке всю реку и вышли в Карское море. Двинулись на запад, к Диксону. Шли близко к берегу, я заметил что-то белеющее на буром фоне. Подошли, высадились, увидели разбросанные бумаги, рваное белье, посуду — на всем следы медвежьих когтей. В ямке спрятаны два пакета в непромокаемой материи. Вскрыли — текст английский, читаю: один пакет — в Америку, директору Института земного магнетизма, другой — в Норвегию. Рядом визитная карточка Амундсена с надписями по-норвежски и по-русски: «Милостивый государь, не откажите во всевозможном содействии господину П. Л. Тессему при отправлении телеграмм и дальнейшем продвижении пути с почтой в Норвегию». Собрали, упаковали все. Добрались до Диксона. Ждали парохода, я писал отчет. Прибегают мои спутники — Бегичев, Базанов, Пушкарев, — скелет нашли!

На береговом каменистом склоне коренного берега лежал скелет крупного человека без ступней и рук. На скелете две фуфайки, в карманах часы с надписью — Петер Тессем, кольцо с именем невесты Тессема Паулины, винтовочные патроны, спички. Рядом — лыжная палка, сломанная, перевязанная веревкой.

Тогда мы многого еще не знали, потом, когда сопоставили все находки, дело стало представляться так: норвежцы вышли благополучно на материк, двинулись на запад; шли на лыжах, таща за собой нарты. Погиб Кнудсен…

— Тессем его сжег! — не выдержал, вставил Малори.

— Нет, не сжигал. Так думали многие, это ошибка.

— Простите, нашли же костер из плавника, обгорелые кости. Тессем не мог вырыть могилу, подтащил труп товарища к берегу — там снег, и салютовал, гильзы нашли…

— Да, так считалось довольно долго. Бегичев это обнаружил. Много позже анализ костей в Москве показал, что кости — оленьи, а костер и вообще стоянка, которую нашел Бегичев, относится не к двум норвежцам, а к экспедиции Русанова на корабле «Геркулес», исчезнувшей в тысяча девятьсот двенадцатом году во льдах Карского моря. Я и раньше об этом думал, потому что мы нашли много ближе к Диксону почту Амундсена — солидный груз, великоватый для одного человека, и еще через тридцать пять километров к западу две пары вполне исправных лыж норвежской фирмы «Хаген и К⁰». До Диксона оставалось не более семидесяти километров. Тессем решил спуститься на лед, уже в виду Диксоновского поселка. Положение трупа показывает, что погиб не на отдыхе, на ходу. Подвели скользкие подошвы из нерпы; на гладком склоне он оскользнулся обеими ногами разом, резко упал навзничь и ударился головой о каменный склон. Что и привело к трагическому концу.

— А куда же пропал Кнудсен? — уже с полным доверием спросил Малори.

— Этого никто никогда не узнает. Впрочем, у меня есть гипотеза. Видите, в десятке километров от Диксона есть бухта под названием Полынья, предательская бухта. Сюда, видимо, подходит струя пресной, сравнительно теплой енисейской воды. В результате лед там непрочный. Там чуть не погиб диксоновец Ломакин — провалился по пояс, бежал до станции, обледенел, пришлось одежду резать. А такая аналогия? Полярная экспедиция Толля на судне «Заря» зимовала у западного Таймыра. Командир Коломийцев, не поладив с Толлем, ушел с почтой на материк, через Диксон, взяв в спутники каюра Расторгуева. Берег перед Диксоном сильно изрезан логами ручьев и речек, идти трудно. Путники спустились на гладкий лед припая, и… сани Коломийцева провалились. Выбрались чудом. Назвали бухту Полыньей. Предполагаю, что тем же путем шли норвежцы. Кнудсен провалился и утонул. Если бы Тессем его вытащил, он разложил бы костер: плавника здесь достаточно, чтобы обсушить и согреть товарища. Диксоновцы никакого костра в тех

местах не находили. Испуганный и потрясенный гибелью друга Тессем выбрался наверх, шел берегом, увидел огоньки Диксона…

— Николай Николаевич, — спросил Горышин, — Тессема там и похоронили?

— Нет, мы собрали бережно все кости, сделали хороший гроб и отправили в Норвегию. Оттуда запросили — смешно, право, — какой выкуп мы хотим за почту Амундсена? Я им резко ответил. Потом мне диплом прислали и часы с надписью: «От правительства Королевства Норвегии».

Мы перешли в кабинет. Елизавета Ивановна приготовила там коньяк, рюмочки, фрукты, печенье, чай.

Малори говорит:

— В этом году умер Нобиле. Вы, наверно, знаете историю его полета к полюсу? Там принимали участие многие советские.

— Да, близко был к этому делу, знал многих участников.

— С Мальгремом мутно — тяжелое дело. Да?

— Чухновский — мы с ним приятели — рассказывал, что, когда он обнаружил на льдине группу, их было трое.

— Вы знали Нобиле?

— Да, встречался.

— Почему Амундсен был с ним нехорош?

— Мне понятно. Вот такая деталь: прилетает самолет со спасенными, публика, репортеры. Выходит Нобиле в полном параде — в мундире со всеми регалиями. За ним в обычной полярной одежде — Амундсен. Он как бы на втором плане, а ведь для Амундсена реклама — очень многое, вся его экспедиция субсидировалась частными лицами.

— Трудно простить ему историю со Скоттом — как он не повернул, обманул…

— Он был вынужден. У нас экспедиции субсидируются государством, у вас — частным капиталом. Если бы Амундсен просто вернулся, он попал бы в долговую яму. (Переводчик с трудом переводит на французский это старинное выражение.)

Малори:

— Меня еще интересует спор Кука и Пири. Я в своих путешествиях с эскимосами в районе Туле и дальше искал и находил их спутников. Как вы считаете, кто из них действительно был на Северном полюсе?

Николай Николаевич:

— Никто.

Малори удивлен, просит объяснить.

Урванцев:

— Дело в том, что в санных экспедициях невозможно взять тяжелые точные инструменты, а те, что у них были с собой, дают точность плюс-минус три километра. Да еще лед движется. Вот на Южном полюсе Амундсен был — там твердое основание, не плавучие льды. А самое главное — он поступил правильно: обошел на санях окружность вокруг определенной точки полюса, равную точности инструмента.

Малори:

— Вокруг спора Пири с Куком был страшный шум по всему миру, и до сих пор вопрос еще не решен.

Я:

— Так ли это важно? Этот мировой спор давно стал комическим.

Малори:

— Каким образом?

Я:

— Мать мне рассказывала, что в те годы в Петербурге каскадная певичка-немка, подбрасывая юбочки, пела:

Пиричек, Пиричек,
Черт побери!
Если ты там был,
Бог тебя благослови!

Кукичек, Кукичек,
Черт побери!
Если ты там был,
Бог тебя благослови!

Малори в восторге. Просит меня продиктовать переводчику на немецком и на русском.

Подписанную на память Николаем Николаевичем Урванцевым книгу Жан-Пьер Малори взял с поклоном и совсем другим выражением лица, чем входил в этот гостеприимный дом, где мы провели такой памятный вечер. Мне стало тепло на душе — я видел, что Глеб Горышин тоже радуется за нашего замечательного старого ученого-исследователя и гордится им.

Апрель 1979 года — празднуем 90-летие Евгения Николаевича Фрейберга. Пришли поздравить родственники, геологи-полярники, среди них, конечно, Урванцевы. А так как это наша компания, то за столом много охотников. А раз охотники, то разговоры о природе и о ее оскудении. Рассказывает Фрейберг, какие тучи гусей он видел на Новой Земле, сохранилось ли это обилие? Рассказывает Урванцев, что был на той же речке на Таймыре, где раньше на самую простую насадку немедленно хватал таймень, теперь его спутник со спиннингом и замысловатой блесной за целое утро вытащил одного тайменчика. А какие гиганты были в этой реке! Однажды его коллектор «догадался» использовать антенну вместо лески, она его захлестнула, и огромный таймень — метра полтора — утащил человека с берега и чуть не погубил. С тревогой рассказывает геолог Лазуркин, как уродуют тундру вездеходы: там, где прошли гусеницы, долгие годы не возобновляется ягель — пища оленя. Рассказал молодой геолог — фамилии его, к сожалению, не помню, — он только что был свидетелем страшного зрелища: олени при перекочевке боятся или не могут перейти газопроводы, долго идут вдоль и попадают под пули жадных и неразумных стрелков.

В гостях у нас на И нститутском. 1978 г.

Слушаю эти речи, горячие, искренние, смотрю на этих людей, любуюсь ими. Первопроходцы, герои высоких широт… сколько жизни, ума, сердца, адского терпения потратили они там, далеко, в студеной полночной пустыне, сколько тяжести, боли перенесли и великодушно забыли. Какие люди! И как нужна была государству их работа, сколько полезного они сделали! Так раздумываю и… не могу уйти от невеселых мыслей. Первый мертвящий след гусеницы по тундре проложил Урванцев, рядом с ним за столом те, кто в поисках металла, угля, газа, нефти продолжили, расширили этот путь, привлекли в необжитые полярные просторы сонмы людей и машин, и тем самым они же нанесли любимой ими северной природе тяжелые раны.

Как быстро за перевалом жизни идут годы, один за другим. Урванцевы уже на охоту не ездили, и мы общались с ними по телефону или бывали друг у друга. Еще год, еще и еще. Как-то мы с женой решили пригласить Урванцевых на блины. Спросил по телефону. Елизавета Ивановна ответила: «Мы всеядные». Точно в назначенное время они приехали на такси. Заметил в окно. Выбежал. Дорожка узкая к дому. Вел Николая Николаевича — он с палочкой, сгорбленный, еле идет, вдруг говорит: «Слышал, весеннюю охоту открывают…» — это для меня. Как одряхлели мои смелые, лихие соохотники! Елизавета Ивановна предупреждала, что Николай Николаевич плохо слышит, плохо видит. Пришлось мне ему и блины разрезать, и масло наливать, икру намазывать, и ножку рюмки в руку подать — не отказался он от полрюмочки и от селедки. Елизавета Ивановна выпила немного сухого вина. Оба ели со вкусом, но мало.

Разговоры после еды долгие. Беседовали мы с Николаем Николаевичем, изредка включалась Елизавета Ивановна.

Заметил, что Николай Николаевич устал. Вызвали такси. Через сорок минут звонит Елизавета Ивановна: «Доехали».

Я уже заканчивал рассказ об Урванцевых, когда принесли газету с траурной рамкой. Умер Николай Николаевич. Елизавете Ивановне на сорочинах стало плохо, скоро после мужа и она ушла из жизни.

Никогда больше не поедем на охоту с этими замечательными и милыми нашим сердцам людьми… Твердо знаю, что следующей весной мы придем с подслуха к глухариному костру, разожжем большой огонь и в полночь, когда трубят на мшаринах журавли, по обычаю дружно выстрелим в неласковое небо, повторим салют и гильзы кинем в огонь.

МАТВЕИЧ — ЭТО МАТВЕИЧ

РАССКАЖИ О СЕБЕ

Здравствуй, Василий Матвеевич! Я хочу рассказать про тебя, чтобы отличить, отличить от других. Когда ты стоишь в деревенской лавочке в очереди за хлебом, бутылкой растительного масла и махоркой, такой невидный, в ватнике, резиновых сапогах и затасканной кепке, небольшого роста, ни молодой, ни старый, — отличить тебя положительно невозможно. И взглянешь на кого — внимания не обратят. Только волки, если бы знали, что ты увидел их след, убрались бы от этих маленьких карих глаз за тридевять земель в тридесятое царство…

Этой осенью я охотился с Матвеичем. В его теплую и опрятную избу мы добрались в полной темноте и, как говорится, чуть живые. Лисица — будь она трижды проклята — увела нашу гончую с половины дня через топкую согру за моховое болото. Не бросать же обазартившегося выжлеца, и мы шли, шли, шли, прислушиваясь к удаляющемуся гону. В сутемках оказались у лисьей норы, далеко от дома. Зашипели голые вершины берез, пошел дождь со снежной крупой, хлесткий, ледяной, споркий. Мы сразу промокли и в темноте уж не шли, брели, волоча ноги, к дому.

Ужин собирала жена Матвеича Паня:

— Ешьте, мужики. Намаялись по такой погоде. Отдохните.

Она живая, приветливая, порядочно моложе его, красивая, с глазами большими и темными.

Переоделись в сухое, поужинали убитым вчера глухарем, картошкой и груздями со сметаной. Блаженствовали. Я на диване, Матвеич на кровати. Тут он и сказал:

— Пристал маленько? И я. Да это еще не сила. Вот прошлую зиму был попавши…

— Расскажи?

— Долгая песня.

— Давай, давай. Спать рано.

— Скажешь: «Может ли быть?»

— Не скажу.

Матвеич встал, приставил к кровати стул, разложил на нем кисет, спички, жестяную коробочку-пепельницу, свернул цигарку, лег и долго молчал. Перед рассказом хмыкнул, будто смешное вспомнил:

— Тебе не говорить, с волком плохо, особенно в тот год было: перетравили ядом накорень. Нормально бы — поймал два-три, и план, и премия, и лицензия на лося. А тут за всю зиму один след, и тот проходной. Такое дело. Тут еще Панька зудит: «Плохая твоя работа — зверей ловить да шкуры снимать. Гляди, все в город подаются: кто в Ленинград, кто в Чудово. Брат на пожарке устроился, жена — в детдом. Не пыльно. Одни в деревне останемся. Поедем — проживем не хуже людей». Толкую ей, что охота — мое дело, а пушнина — государству золото. Не слушает. Ясно — она помоложе, ей к людям, а мне город, что тюрьма.

В тот год шишки не было, белка ушла, за ней — куница. Год сухой: в ручьях мало воды, норка в большие реки сошла. На лисицах парша. Поймал одну, у ней и меха нет — одна кожа. Там и закопал.

Одно к одному так сошлось: и дело не идет, и Панька. Заскучал. С леса домой неохота, с дома в лес ни к чему.

Зимусь уже ходил за куницей, гляжу — пойми, как обрадовался! — у Кругли волками нахожено. У Кругли — помнишь, поляна, где ты из-под Чудика зайца убил! Вот-вот. Я следом, следом, туда, сюда — пожалте, лось заваленный. Бык о шести отрастелях. Еден мало. Я поворот и к дому.

У волков пройдено.

Железа

[11]у меня в сараюшке, чтобы жилым не пахло, в холщовом мешке, в хвое выварены, в сосновой, — она духовитей еловой, лучше запах отбивает. Поставил на подходах, жду. На пятый день гляжу — у волков через реку на ту сторону идёно. Я туда. Правят к Кругле. Не доходя еще, встречный след — волк капкан волочит.

Теперь мой! Хоть и не рано было, знаю — к концу дня доберусь. С собой ружьишко, восемь патронов на поясе, рыбника [12]краюха, табак, спички. Морозишко небольшой, снегу не так толсто: можно без лыж. Принял след. Лапа большая, давненько такой не встречал. Идет, вперед себя капкан мечет, другой ногой косит.

Скоро почуял, что за ним идут, ходу прибавил, оторвался, конечно. Беги, беги, куды ты денешься! Я не тороплюсь. Километров за восемь, около Гажей рёлки, осмеркся. Домой в темках плохо идти, волка притомил, завтра скоро доберу — ночую.

Рядом брошенная поленница старой заготовки, хоть и опревши, — горят хорошо, кидай не хочу. Лапника наломал, костер распалил, портянки просушил, ушанку подвязал: спал, как дома на печке.

Утром позавтракал, по чаю поскучал, покурил и на след. Скоро на лежку напал. Зверь лежал долго: снег протаявши до лета; капкан вперед себя положен, от лапы капельки крови. Близко не пустил, сошел, я и не слышал. Иду — теперь уже тороплюсь. Следу конца нет. И надо же — все от дома! И не по чистому идет — самыми заразистыми местами: пищугой, молодняком, горельниками. Сбить, что ли, железа хочет? Может, и соображает зверь, они ушлые, волки те. И верно, капкан не стянул, потаск сдернул — была у меня на цепи железяка прикреплёна.

Круг полудня выхожу на поляну. Тучи разошлись, солнце разыгралось. Посреди бугор — еловая островина: есть и старые деревья, есть и подсед, густо. След туда, я обходить. Еще ружья с плеч не снял, как он выскочит! Мчит по открытому. Громадный волчина, как телок, и светлый, чуть не белый. Снегом выше башки пылит. Я внакидку с правого: чёс! С левого: чёс! Хоть бы что — ушел в лядину. Подхожу — картечь ладно на след легла, да, видно, обзадил. Пусть. Ходу ему прибавил, скорее притомится. Еще углядел — дужки высоко на лапе севши, не вырвет, не отгрызет. Не уйдет — так и так насдогоню.

На след и смотреть не надо — часто волка видит.

Посидел, вспыхнул, остатний кусок рыбника съел, покурил. Вспомнил, еще бабка моя рассказывала, что есть волки-князики, вожаки, светлой шерсти или белые, очень большие. Их так не взять. Надо патрон заряжать с наговором и не пакляным пыжом запыживать — шерстью молодой волчицы. И то еще ненадежно — может князик кошкой или собакой обернуться и жалость просить. Дурость, конечно.

Пошагал следом. Волчина своим путем, я сзаду. Иду, располагаю — такого не было. Сколько их переловил, либо сразу, либо на второй день достигну, а тут… Не может того быть. Волк есть волк, это так, да с капканом, а я свободный. Только так подумал, слышу впереди: звень! звень! Это цепочка у капкана. Аккуратнее пошел, ружье в руки, поглядываю строго. Утихло, след все напрямую, поди знай куда. Через мало времени опять: звень! звень! Нажал, чуть не бегом, — стихло. Значит, и он ходу прибавил.

Солнце за лес. Цепочку чуть не все время слышу, волка не вижу. Огляделся — родима матушка! — куда занесло! Знаешь старые пожни в верхотине Темного ручья? От нашей деревни километров двадцать. Надо табориться, да пораньше. Топора нет — сушин наломать; ночь долгая, морозит, скучно без костра, зазябнешь, как овца стриженая.

Сухоподстойных ольшин наломал, натаскал лапнику потолще. Ладно. Бежавши-то употел, пить — смертельно. Ни котелка, ни чайника. Ножиком бересты надрал, ковшиком свернул, держу над огнем — толку мало. Тает снег, холодная вода по рукам бежит, языком ловлю, как телок под маткой. Черт с тобой!

Плохо спал. Костер прогорел, не хватило до утра. Зазяб, зубами стучу, цигаркой греюсь, табаку на две завертки. Злоба взяла и на волка и на себя. Погоди, вражина, я тебя достану обязательно. Обожди, зайду домой, здесь тебя никто не тронет, харчей захвачу, топор, котелок, курить и вернусь. Так и решил, чуть посерело — пошел. Надо посмотреть, куда он, проклёнутый, направление держит.

С полверсты прошел — лежка. Не так далеко лежал. С лежки ход назад к дому. Понимаешь? Мечтаю — подстатило: чего самостоятельно идти — нам по дороге. И пошло-поехало: волк с капканом — я за ним. Ближе к своей деревне сошел со следа, иду прямиком к дому, а он как дразнит — то и дело след поперек моего хода. До деревни только Долгая гать и выруб, там уж поле. Слышу: звень! звень! Ну, рядом! Ах ты, нечистая сила, сейчас кончу. Побежал к нему. В низину сошел, он на высоком, весь на виду. Лапами на кочке, назад оглядывается — а я-то сбоку. Красавец! Полюбовал на него, думаю: есть две пули, жакан и круглая, может, достанет? Спробую круглой. Выцелил повыше холки: чёс! Он прыгнул на месте, как лисица, когда мышь ловит, и ходом. Есть еще сила! Пуля ниже его по снегу черкнула. Ходом он, ходом, только не к нашей деревне — к Опочивалову. Стой! Думаю, не насдогнать, так вперед заскочу. В ту сторону рядом меня лесовозка наезженная, идти легко, он — целиком. Я вприпрыжку по лесовозке к Опочивалову, по ней на елову гриву — там у волков завсегда ход. Прибежал, за большую выскеть спрятался, жду.

Долго сидел — часок, больше. Раз показалось, впереди хрустнуло и цепочка. Зазяб бесполезно, нет волка. Куда делся? Пошел проверить, скоро на след — и надо же! Мало до еловой гривы не дошел, свернул. Очуял или что? Отвернул к опочиваловскому полю, — оно рядом, и я тут. Прикинул: волк обязательно стомился, третий день на ходу и не ест; ночую у шурина в Опочивалове, утром, большое дело за день, доберу. Это уж верно. Надо — сколь времся загубил! — бросить близ деревни. И к людям выйду, возьму табак, спички, топор, поем, посплю толком. Шурину скажу, пусть по почтарихе передаст, если жена приехала, что я на деле. Втапоры Панька уехавши была на Урал к сестре погостить.

Так и попал не в свой дом, в Опочивалово. Шурин: «Откуда тебя черт?» Я грю: «За волком». — «В железах?» — «Ага». — «Это дело». Он хоть и не охотник, понимает. Поужинали. Маленькая у него была. Славно. Шурин после войны хворый, спит на печке. Я портянки и рукавицы в печурку и за ним — погреться надо. Он полежал-полежал — слез на кровать: не могу, грит, с тобой, от тебя костровым дымом смердит, сил нет.

Утром собираюсь. Шурин дал топор, хлеба буханку, спички, пачку сигарет. Котелка у него нет, чайник, шкуреха, не дал, грит, сожжешь на костре ручку. Патронов не спрашивай — в заводе нет.

Солнце не встало, через опочиваловское поле режу мелоча. День ясный, снег ночью не летел, след как вчера был. Тянется к Эстонским хуторам. Знаешь ты, знаешь. Жилого там нет, покосишки вроде ничьи.

Ладно. С километр прошагал — мать дорогая! Три следа! Два волка подошли — и за моим. Этих приятелев знаю. Почуят на следу кровь, догонят, сожрут до шерстинки. Рукой пощупал — свежо идено, только-только. Нет, обожди, не отдам. Заревел, загремел, что голосу было. Ружье с плеч: чёс! чёс! — в небо. И опять бегу, кричу. Верно, близко были — с Каменного ручья отстали, прыжками в сторону, услышали. Мой прямо идет, тихо, равномерно. Подожди, вражина! Я-то подзаправился, а тебе с железами живинки не достать поесть.

Однако смотрю, чуть привернул и в омежке в снегу порылся : стары кости. И, скажи пожалуйста, приня лся по ухоронкам ходить. То череп выроет лосиный, то ногу или хребтины кусок — все зеленое и дочиста обглоданное. Не поживишься.

Через часок направился напря мую — видать, услышал. И опя ть мы у Гажей рёлки, и впереди в гущарке: звень! звень! Смотрю, мельтешит в кустах, показывается . Все! Теперь мой, пристрелю. Подумал, забеспокоился — три патрона оставши, из них одна пуля . Надо аккуратно, наверня ка. Не тороплюсь, равномерно иду. На след смотреть не надо — часто вижу. И он меня видит, ходу не прибавляет, только боч *и*т. Другой раз сбоку иду, только далеконько. Вдвоем идем в одну сторону. Достать картечью можно, да верного нет.

Время к полудню. Зимний день короче воробьиного носа. Так не пойдет, надо кончать. Втапоры он по одной стороне речки, я по другой. Хорошо видать. Вдоль берега идет: тя жело, тошно ему, снег зубами хватает, на капкан наступает, спотыкается . Надо заскочить. Наддал так, что спина мокрая , обогнал и тихоматом к берегу. Не провалиться бы! Нет — морозишки не первый день, с первозимья лед крепкий, должен держать. Бог ли черт надоумил — спички под шапку. С берега ступил — трещит, держит; на середину вышел — и разом на дно стал, вода по грудь. Ой! Холодно! Выскочил — беда, не до волка. Мороз немалый, надо сушиться, не то пропадешь по-глупому.

Одежонка, обувка враз колом. Лес хламной, сушня ку нарубил, лапник под ноги, огонь до неба. У костра голый прыгаю, одежонку сушу: что поразвесил, что на руках грею. Схватился про сигареты — в пачке табачная каша. Я ее на берестину и к огню, сам сушусь, табак сушу.

Пить еще больше охота. До речки голому никак, с уголка ватника отожму и в рот, невкусная вода, черная . Сколь времени прошло, и не помню, долго канителился . Свечерело, я все сушу. Перво рубаху натя нул, потом кальсоны. С портя нками незадача — недогля дел, спалил одну. Что осталось разрезал пополам, ничего: пя тки голые, носки в тепле. Хуже всего ватная фуфайка и брюки: считай, за полночь провозился , все равно — где сухо, где сыро. Спать почти не пришлось, подремал мало время . Мешок брезентовый за спиной был, не промок. Хлеб сухой, главное, в газетину обернут: на цигарку пойдет. Хлеб оттаял, поел всухомятку, табак из сигарет свернул. Все хорошо.

Зорька впрозелень, студеная , с одной стороны туча заходит. Развиделось, тронулся . Погоди, бандит, сегодня тебе конец будет! Думал, лежка близко — нет, далеко ушел, пока я канителился, сушился. И откуда у него будто сил прибавилось — понять не могу. Прихожу к лежке — он на остожье устроился, снег до сена разгреб, — вижу, сошел, на следу что-то чернеет. Посмотрел — кало!

Вот оно что — значит, достал поесть на ухоронках. Это хуже.

От лежки он пошел в пойму речки. Там густо. Я на крутик берега. Слышу: звень! звень! Рядом. Вот и он. На чистое вышел. Идет, не оглядывается, капкан вперед себя бросает. Опять потерялся в кустах. Забрели мы с ним в такую пищугу, в такую густотень. Кочки по пояс, тростник, ивняжник — не отмахаешься. С веток за ворот, в голенища — снег, в карманах фуфайки хрустит. Черт с тобой, думаю, выберусь из ивняги, обойду — толковее будет. Только из крайнего куста на чистинку, — вижу его след, а за ним у человека идёно… Принимай товарища, Василий Матвеич! Шкура и премия на двоих, труды побоку. Обидно, конечно, однако делать нечего — обычай. Мало ли мои железа, зверь-то живой, не пойманный.

Поближе подошел, разглядываю: верно — человек, сапоги резиновы, подошва с насечкой елочкой, на каблуке кружком. Будь ты проклят! Это же мой след! Дальше больше, по его следу иду — на свой выхожу. Значит, крутит. Как его с гущары выжить? Звень, звень! — то ближе, то дальше.

И вот тут я, Леня, в первый раз испугался. Говорил, что с утра еще туча заходила? По щеке хлоп! — как укусило. По руке хлоп! — вторая снежинка. Голову вздынул — снег летит. Поначалу реденько, солнце видно, потом гуще, гуще. Такая падара закутила — помилуй бог! Засыплет, закроет след, тогда и рядом не найти. Прибавил шагу, местами бегу. След на глазах хуже. Где лапы ставит, уже не видать, только лунки или борозда от капкана, и то под деревьями, на открытом ровно замело. И не слышно ничего: понизу метель метет, поверху вьюга крутит. Уйдет! Уйдет! Нечистая сила!

И вот суди, Леня, когда и надежи нет — вдруг поманило, да как поманило! Шейный платок до глаз накрутил, ушанку подвязал, иду, скрючившись, от ветра отворотясь, — иначе нельзя: лошадь на что скотинка привычная и та от ветру морду воротит. Смотрю под ноги, поволоку выглядываю. Разок на ветер глянул — стоит! Рядом, ну метров десять, не больше. На меня смотрит, уши прижанул, одно рваное. Здоровущий волчина. И так сивый, тут весь снеговой, белый. Ружье с плеча тяну постепенно. Снял. Стоит некретимо. Курки были вздынуты, подвожу под лопатку точно, жму: кряк! Осечка. Со второго: хлюп! Неполный выстрел, картечь на снег. Может, которая и долетела, так без силы. Ему хоть бы что. Он, веришь ли, стоит и вроде улыбается. Потихоньку ружье открываю — пуля-то еще осталась. Он тут так улыбнулся-ощерился во все зубы, прыг в кусты — и нет. Мне что плакать, что смеяться.

Матвеич замолчал надолго, на меня поглядывал, словно ждал, что я что-нибудь скажу. Не дождался, крякнул досадливо, заметил:

— Тут, я думал, скажешь: «Может ли быть?»

— Что?

— Зверь рядом, и в один раз осечка, и затяжной. А было, было.

Нисколько не усомнившись, я не ответил. Матвеич продолжал:

— Потерял след, вовсе потерял. Пурга сильнее и сильнее. Ни за волком, ни к дому. И места не узнаю. Пошел наугад по склону вверх, прибрел в старый ельник, в нем овраг. Там потише. Затаборился, забился, как медведь в берлогу. Топор с собой, дров сколь хошь — ночевать можно. Хлеб еще есть, курево тяну как могу терпеть, только жажда. До того пить хочется! И скажи, удумал в пустой гильзе кипятить. Вырезал ножом ухватик, чтобы руке не горячо, держу над огнем, кусочки снега подкидываю. Закипело. Раза три вылил, потом пил. Перво губы ожег о медяшку, ничего, приспособился. Порохом пахнет, пить худо. Дай, думаю, чай заварю. Вырыл из-под снега два листика, вроде березовые, сунул в гильзу, прокипятил. Пью — еще хуже, дурью пахнет. Как-никак напился, поел и спать.

Устроился у сосны-ветровалины. Как занялась — подкладывать не надо. И, скажи, как спал. Проснулся — морде жарко, ногам тесно: это лапник на себя навалил, его толсто снегом закутило.

Свету еще не было. Половину хлеба, что остался, съел, чаем из гильзы запил. Жду света. Надо к дому подаваться. Дело не вышло. Подождал, как идти можно, тронулся.

Бело кругом. Снегу вершка на два подбросило или больше. Солнце взошло, заискрило, глазам больно. Огляделся, узнал. Знаешь, где было? Старые казенные выруба. Не так далеко — километров за десять.

И обидно, и радуюсь: надокучило без еды, на холоду. Одикарел, ноги отерпли, руки в цыпках. Панька вряд ли приехала — рано, если дома — расскажу: волк, считай, в руках был, в пургу потерялся. И капкан пропал — не найдешь, хороший, самый уловистый. Взглянет на меня, скажет: «Христос небесный! На что

похож — грязный, отощал». И прибатулечкой: «В работе бог волён, а тела не рони». Скорей баню топить. После бани — она с городу, наверно, принесла — само меньше маленькую.

Иду, бреду, не сказать бойко — пристал. Который день на хлебе, и того не вдосталь. Смекнул, легче крюка дать, зато километров восемь по Московскому шоссе, не по снегу. Оно неподалеку, машины гудят. Близко большака слышу — люди кричат. И что?! «Волк! Волк! Он с капканом! Заходи, забегай!»

Так вот он где! Нет, голубчик, не отдам, мой, не ваш. Наддал ходу. Близко не близко, на шоссе выхожу — никого. Две машины встреч носами стоят. Конный подъезжает, объездчик знакомый, машется:

«Матвеич, давай сюда! Знал, что ты. Побежали с обеих машин. Мне кричали: „Скачи вдогон, от лошади не уйдет“. Я резонил: „Бросьте, ребята, у волка хозяин. Видишь, капкан? Это как замок на двери — нельзя“. Куды там! Понеслись дуром чертогоны, нечистая сила!»

Я сразу на след. Объездчик мне:

«Погодь, Матвеич, вспыхни. Им не взять. Давно гонишь?»

Я постоял, дух перевел, говорю:

«Шестой день. Закурить есть?»

Он порылся, пачку «Шипки» вытащил, там три сигареты, сам не закурил, мне отдал.

«Спасибо, — говорю, — через Опочивалово поедешь, скажи шурину, что жив, здоров и на деле», — сказал и пошел следом.

С дороги по полю, с поля не сошел, вся шайка встречь, пять человек. Бросили. Я стороной: не хотел и говорить со сволочами, прохиндеями. К речке спустился, это уже с километр-полтора от большака. На той стороне по угору только у волка идёно. Здесь они и бросили. Лед крепкий, ни разу не треснул, выбрался наверх, лес рядом, и там: звень! звень! Знакома музыка!

Сошел на опушку, с большого пня снег скинул, сел, закурил и, знаешь, задумался. Черт с тобой и с твоей шкурой, пропади пропадом! За что такое наказанье? Вот так надокучило. Не евши, не пивши который день, и впереди две сигареты и хлеба чуть. Однако сколь времени потерял уже, и волку худо, гляди, к дороге, к людям тычется, страху нет. Возьмут, да не я. Обязательно возьмут. Ну и черт с ним, пусть… Сидел, всяко прикидывал, пока не зазяб.

И тут — скажи, пожалуйста, Леня, — такое меня взяло, не могу и пояснить, не могу. Не нужен он мне со своей шкурой и премией, — да неужели он дюжее? Поклялся, что доберу — и ему спасу нет, и мне не сп*а*сенье. Вот такая мутеляга в голову. Встал и пошел. След напрямую от дороги в такие места, где и люди-то не ходят, и я за ним.

Василий Матвеевич. Паня и их сын Коля. (Сенная Кересть. 1963 г.).

С улицы вошла Паня:

— Мужики! Ох и накурили! Дымище. Дверь открою. Вставайте, вставайте. Постелю. Поспите, отдохните. Я в кино. Говорят, хорошее привезли: не про войну, про любовь.

Паня ушла. Мы с Матвеичем, уже раздетые, лежали под одеялами на своих местах. В избе было тепло и пахло опрятным, домашним. Непонятно откуда еле слышно доносилась музыка: то ли не совсем выключен репродуктор, то ли телевизор у соседей. Собственно, не музыка: от нее слышались только редкие попискивания флейт и вскрики саксофонов, и непрерывно барабан: трум-тум-тум! трум-тум-тум! Хорошо, что тихо.

Матвеич молчал, даже заключил: «Теперь спать». Видно, думал, что рассказал самое главное — про то, как окончательно решил. А мне было интересно, что дальше, как кончилось. Так и спросил. Долго-долго не было ответа, я подумал, что уснул Матвеич, но скрипнула кровать, вспыхнула спичка, засветился огонек папиросы и сквозь кашель голос:

— Я ж тебе сказал, что накатило и пошел. С тех пор не так много времени, а эти два дня помню плохо, кусками. Прошла к волку злоба. Перво все ругал: «Подожди, бандюга, постой, вражина». После как решился, пошел от дороги, вроде он, волк-то, и не враг. Места пустые, на километры вокруг живой души нет, лес, дичь, он да я. Он хитрит, и я хитрю. Вроде одинаковые мы.

Повезло волку: у рыся кабанчик был задавленный, не дожрала. За сто шагов учуял, привернул прямо к падали. Все убрал до косточки, не мало — на снегу видать, полная ляжка была брошена.

Мне худо — ноги волоку, чуть что и присяду. Хлеб кончился, курево раньше. Иду, иду, знаю — не

брошу. Помню, пересекал большое болото, открытое, редки сосенки. Далеко впереди он, как серая собачка. Гляжу, кровь на следу. Нагнулся — клюква лапой раздавлена. Так я снег на кочках разгребал и ягоду ел, много. К вечеру чую, гадит меня и вырвало, да не раз, все нутро вывернуло. Помню, днем у ручья в смородняге наломал в карман веточек. Вечером заваривал в гильзе. Хороший чай, душистый.

В ту же ночь сны. Что ни причудилось! Будто вперед пятками иду по следу. Объездчик кричит: «Матвеич, обернись, иди правильно, так сроду не насдогонишь!» И еще. Пришел волк в нашу деревню и к лавке, на крыльцо. Из дверей Дуська-продавщица, руки крестом, и мне: «Не пущу, Матвеич, уходи, сегодня волком торговать не будем! Уходи, не то милиционера позову!» Тут горелым запахло, я проснулся — воротник тлеет: еловое полено в костре было, угольком стрельнуло. Загасил, костер подправил, забылся.

Помню, на другой день в наслус попал на речке.

[13]На сапогах глобы ледяные, не достать идти. Ножом не отколупать: останавливался, таял у костра, время терял.

На ходу все чаще спотыкаюсь. Как паду, в дя нки снегу набьется , не отогреть рук — машешься, машешься , пока отойдут. Приморозило сильно. Снег под ногами: визь! визь! На чистом волк далеко отходил, в густом — рядом: на следу кало еще парит, в снег проседает. И все: звень! звень!

Скучно мне. В лесу притихну — встречи жду. На открытое выйду — песню пою. Все перепел, что знал, и наши, и городские, и военные. И разговариваю громко: «Что, приятель, тошно? Думаешь, мне лучше? Нет — ты в лесу дома, а я?..» Замолчу, враз тимит и тимит — спать хочется. Дороже всего прилечь, да нельзя.

Скажешь, Леня: что толку было? Он идет, и я иду, так? Нет, ждал, как встретимся; встречались чаще и чаще. Проще сказать, ря дом шли. Другой раз все время на виду. Мне только наверня ка: остался один патрон, и то пуля жакан. Подхожу не прямо, наискось. Никак! Побочит обязательно. Дистанцию соблюдает. Точно, еще оскалится . Большой волчина, сивый, одно ухо рваное. Сколь раз ружье подниму, целюсь и опущу — верного нет.

В тот вечер, как затаборился, богатство привалило — нашел за подкладкой кусок хлеба и табаку пясть, все вместе. Положил на газетину, табак по крупинке стря хиваю. Перво закурил, хлеб решил с чаем, смородовым из гильзы. Тут беда! Стал огонь дуть, руки плохо владеют, отскочила головка спички в коробок — он весь пых! С руки в снег и погас. Мать дорогая ! Как ночь без огня ? Небо вызвездило, мороз — аж деревья трещат, пропаду.

И стало мне страшно. Вот как обернулось. Сел на лапник, затосковал. Спать хочется — нельзя, смертельное. Домой не сойти: на ходу, правда, не застынешь, да сил нет ночью без дороги по лесу. Выходит, не волку — мне концы.

Погоди! Спичек нет, есть два патрона: осечка и пуля . Надо спробовать. Настругал сухой деревины мелкомелко, бересты нащипал, с елки сколь мог наколупал серы. Все грудкой сложил. Стой! Пулю не трону — может, осечечный капсюль сдаст. Вытащил пыж, высыпал картечь на ладошку, второй пыж вынул. Тут порох, споловинил его. Половину в гильзе оставил для выстрелу, половину с ватой смешал, из фуфайки клок вырвал. Дуло к вате приторнул, курок вздынул. Сдаст не сдаст осечечный капсюль по второму разу? Хлоп! Крепковато стрелило, всю грудку разметало, и вата в сторону. Все! Концом! Не вышло. Гля жу как дурак на ватку, и, бог ты мой, из нее дымок слабенький. В момент грудку сгреб, ватку чуть не в рот, потихоньку дую — разгорелось. Жив, Васька, жив!

Костер распалил опя ть у большой сушины. Табашный хлеб съел. Чайку — так пить хотелось! — двенадцать гильз шестнадцатого калибра вскипятил, выпил, покурил и спать. Мертво сплю, а все равно сон вижу.

Сидит в нашей избе жена моя, молодая-молодая, как замуж брал. Дверь из сеней чуть приоткрылась,

волк голову просунул, внутрь не идет, говорит: «Паня !Паня !Скажи своему мужику, чтобы бросил. Я дюжее, кабы худо не вышло. Поедем со мною в город». Во, нечистая сила, какая чепушина в голову! Потом будто я на покосе, полдничаю в самую жару у стога в теньке. И холодно стало. Я из тени на солнышко. Еще холодно, повернулся — хорошо, тепло, и враз спину, как ножом. Проснулся , вскочил — фуфайка горит, спина и рукав. Скинул, в снег толкаю, пар пошел, загасло, да не сразу. До свету спал не спал.

Утром стал костер поправля ть, чуть в огонь не пал — качает, как пья ного. Вот тут-то, Леня , я решил домой. Дойду не дойду, надо. Чаю пустого выпил, покурил. Спину жжет и холодит. Глаза закровя нели, на снег гля ну — он не белый, в краснину. Собрался, тронулся, пять шагов от костра: звень! звень! звень! Друг-то мой рядом спал, только что к огню греться не подходил. Тут он и был всю ночь. Бог с тобой, живи! Как с капканом справишься? Плохое дело.

С вечера ветерок был, так я таборился в овраге, от костра понизу и пошел, логом, значит. Иду, топор за поя сомтя желит— бросил. К ольшине прислонил, запомнил где. Чужой топор, шурина… Только поставил, гля жу — впереди след. Значит, и он впереди меня логом. Пойми дурака — приня л след. Ружье проверил — нет ли снегу в стволе, где пуля. И опять как черт веревкой связал — он идет, и я за ним. Овраг долгий, считай, с полкилометра, не меньше; под ногами замерзший ручей, идти просто. Мало не доходя вершины оврага, след повернул наверх, на крутик, и скрылся за гребнем. Постоя л я в том месте, где поворотка. По плоскому, по ровному еще бы потянулся, в гору никак. Сдался. Тебе скажу, у самого слезы из глаз. Вот так.

Вершина у оврага отв оная — выбрался легко, попал на поле. Отдыхаю. Не надо было огля дываться, огля нулся . Поле чистое, заметено, ни следа, ни слединки. Нет на него выхода с оврага, кроме моего! И посередь оврага, у гребня, за кустом сереет — он!

Леня , друг ты мой хороший! Я вернулся , вернулся ! Запомнил по сухой деревине, где лежит, и до нее вниз по оврагу… Дошел, чуть дальше свертки было. Помнил, пуля в правом стволе… Курок вздынул. Отдыхаю, прикидываю, откуда воздух. Он встречь от волка, на меня.

Шапку на снег бросил. Ступни боком, шаг за шагом лесенкой наверх. Что дальше, то круче. Отдохну, шагну. На самом крутом скользнул снег по траве, и я за ним шага три сполз. Слышал? Сошел? Не должно быть — не звенит, тихо. Дятел прилетел, сел на сушину: квик! квик!

Чуть в сторону подался , шагаю наверх. Пригнулся . Сердце под фуфайкой: грём! грём! Услышит? Гребень близко. Палец в скобу сую, кажется толстым, припух, что ли? Осторожно надо: сыграет раньше время, припасу один патрон. Ружье вперед, голову постепенно. Морда! — в пяти шагах. Уши торчком, одно рваное, спит. Целюсь, мушка над ушами — низковато стою. Пр игнулся еще ниже, шаг наверх, разгибаюсь. Морда поднята, уши прижаты, зубы оскалены. Тороплюсь, целюсь между глаз: чёс!

Попал не попал — не знаю, от отдачи вниз скатился. Откуда сила, рывком вверх. Лежит, уши развесил, по шерсти рябь. Готов! Все!

Пал я ря дом на снег, и в голове помутилось. Очнулся — тут я , и он тут. Друг ты мой, серый волк!Легкая тебе смерть! С места не кря нулся ,а голову подня л. Может, и рад, что убитый, — тошно от меня было. И не было спасенья…

Что дальше? Опя ть дальше. Сня л шкуру, пока можно, и скажи, как он скоро закоченел. Шкуру мне и не вздынуть. Стащил в овраг, в снег зарыл, сверху положил стреляную гильзу, чтобы зверь не тронул. Ушёл. Как домой добрался — не спрашивай.

До свидания , Матвеич! До скорого свидания , милый человек. Рассказал ты сам про себя . Прочтут

люди — узнают, живут рядом такие невидные, неприметные. А волки? Волки по-прежнему, как заметят, что ты бросил взгляд на их следы, пусть лучше уходят от твоих карих глаз за тридевять земель…

ЗНАКОМСТВО И ДРУЖБА

В те годы — вскоре после войны — я увлекался глухариными токами. Не глухарями, а именно токами. Не так много охотился, как разыскивал. Каждый вновь найденный ток был для меня счастьем. Охотиться я мог и в Лисинском учебно-опытном охотничьем хозяйстве, которым я тогда заведовал. Там все тока были зарегистрированы, описаны. Вокруг Ленинграда я знал уже около полусотни различных глухариных токов: от малых, где пели один-два петуха, до гремящих — в двадцать певцов от битых, пуганых, непонятно как существующих, до спокойных, никем еще не найденных.

В разговоре с Евгением Николаевичем Фрейбергом, моим дядей — он был тогда старшим охотоведом военно-охотничьего хозяйства Чудовского района, — я пожаловался, что стало прибавляться охотников и неразумно выбивают тока: может их совсем не остаться.

Дядюшка сказал:

— Есть еще, есть места, где тока хорошие, есть и нетронутые. К примеру, Сенная Кересть, там Матвеич.

— Матвеич? Кто такой?

Лицо Евгения Николаевича осветилось такой добротой, скажу даже, лаской, что ответ не удивил:

— Ну это сам увидишь, если туда доберешься. Матвеич это… это Матвеич.

Добирался на попутном грузовике. Рейсовые автобусы Чудово — Новгород тогда не ходили. По моей просьбе машина остановилась у железнодорожного переезда близ деревни Трегубово. Грузовик ушел, наступила благостная тишина ясного весеннего дня. Я стоял у путевой будки рядом со стрелочницей. Мы удивленно молчали. Я разглядывал, поражаясь, воронку от авиабомбы: глубокая, с озерком на дне, она образовалась в углу на пересечении шоссе и железной дороги и раздвинула их в стороны.

Стрелочница глухого поста разглядывала чужого человека, как с неба упавшего. Наверно, удивилась еще больше, когда я уверенно спустился с насыпи и пошел по тропе, где с зимы не хожено, и знают ее даже не все местные.

Я же хорошо помнил четко обозначенную тропку на карандашных кроках, накинутых Евгением Николаевичем. Шел, дышал, осматривался в телячьем изумлении от новой весны. Слушал громкую славу зябликов, звон льдинок под ногами, разнобой голосов встречных ручьев. И небо, небо голубое, безграничное, теплое. Не смотрел, не хотел замечать привычные тогда следы войны: обрывки разноцветных проводов, штабеля стреляных пушечных гильз, ящики из-под мин (не всегда пустые), мятые котелки, битые каски. Вышел на небольшое поле, на нем вразброс хозяйственные постройки, с трудом нашел продолжение своей тропы. Убедился, что в этой части она хожена: кое-где видны отпечатки резиновых сапог, брошены горелые спички, окурки. Пошел увереннее.

Незнакомая дорога показалась длинной, хотя было всего девять километров. Несмотря на доверие к плану, мне — как всегда бывает в новом месте — показалось, что сбился с пути. Обрадовался, когда увидел блестящую ленту реки и какие-то постройки. Паром — очень простенький: бревенчатый плот и канат, перетянутый с берега на берег, — был на моей стороне. В полном одиночестве, не вызвав ни малейшего интереса со стороны местных жителей — их не было видно, — переправился на другую сторону, пошел налево, все по тому же плану, и постучался в крайний дом.

Впрочем, домом эту избушку можно было назвать только условно — срубленная бог весть из чего, она едва возвышалась над землей. Навстречу вышла молодая высокая женщина с лицом доброжелательным и милым. Ничего не спрашивая, сказала: «Проходите». Уступила мне дорогу. Я прошел, согнувшись чуть не вполовину, в дверь через темный коридорчик мимо русской печки в комнату. За столом сидели мужчина и двое детей. Мужчина некрупный, чисто бритый, на посеченном солнцем и ветрами лице светились небольшие умные и проницательные глаза. Он откинул рукой густые пепельные волосы и, когда я объяснил свой приход, встал, просиял приветливостью, переспросил: «От Евгения Николаевича? Племянник? Это радость. Раздевайся, садись. Может, в баню? Еще горячая».

Так я попал в этот прекрасный уголок новгородских глухих лесов и познакомился с весьма примечательным и редкостно достойным человеком.

С тех пор стал постоянно ездить в Сенную Кересть на разные охоты. На токах, с гончими по зайцам на обширных старых вырубах, с легавой по вальдшнепам в пойменных ольшаниках — всегда со мной без всякой просьбы, за компанию, ходил Салынский. Я вскоре понял, почему дядюшка сказал: «Матвеич — это Матвеич!» Этот небольшой ловкий человек был как бы лесным духом здешних мест. Он знал все, что делается в лесу, по крайней мере в радиусе тридцати километров от своего дома. Знал наперечет все глухариные и тетеревиные тока, каков был в этом году приплод у зайцев и сколько лосей бродит вокруг. Но не созерцатель или караульщик — он промысловик высочайшего класса, лучший в своем районе, а может быть, и во всей Новгородской области. Его постоянно премировали, вызывали в город на слеты, он регулярно получал путевки на лося за уничтоженных волков.

Помнится один разговор. Как-то в середине зимы мы обсуждали результаты его промысла. Он сказал, что сдал сколько-то, не помню точно, куниц. Меня удивило количество, в полушутку спросил: «Всех переловил?» Нисколько не обидевшись, он ответил: «Что ты! Разве можно! Оставил на племя хорошо, примерно пар шесть, не меньше». Я уже тогда понимал, что такое Матвеич, и нисколько не удивился определенности и точности ответа.

Просматриваю свой охотничий дневник, ищу записи охот с Матвеичем. Ага! Вот:

«30 мая. Ток „Мокрая береза“. Подслух. Сели с В. М. Салынским в 8–00. Ток близко от деревни, пуганый — следы на мху и окурки — на хорошие пойти не хватало времени. Первый прилет 9–07, второй 9–20. Вальдшнепы парой. Тетерева за рекой немного и вяло. У самых ног прошел еж, рыси кричали — похоже на крик раненого зайца, только много сильнее. Ночевали у брошенной поленницы. Чай в котелке. Матвеич похвалил, советовал добавлять смородиновый лист, если нет листвы — тонкие побеги. Я сказал про рысей, как на зайца похоже. Матвеич вспомнил: „Прошлой зимой иду своей лыжней по просеке, рядом в молодом ельнике закричал заяц. Я туда. Сразу не понять что — заяц крутится на одном месте и верещит. Пригляделся, заметил по черному хвостику горностая. Он зайцу вцепивши в горло и обернулся кольцом. Взял палку, стукнул, добыл горностая, заяц уплелся“. Я про ежа. Матвеич говорит: „С ежом у меня удивительное дело. Тропил куницу, ночной след. Гляжу, сильно намято и кровь. Большой кун сумел под снегом найти ежа, выпотрошил, остаток унес в дупло старой липы. Это удивительная липа была, нонечь ее ветром порушило. Там вековой пчелиный улей был. Круг той липы семь куниц взял“.

От костра в 5–00. Песню услышали одновременно. Матвеич сказал: „Скачи“, — сам остался на просеке. Мошник пел сторожко, когда я подскочил близко, стал оглядывать и — замолчал. Перемолчка застала меня в неудобнейшей позе: одна нога задрана на высокую кочку, другая провалилась глубоко. Терплю. Быстро затекли ноги. Мученье! Начало меня покачивать, неодолимо захотелось хоть полшага сделать — сменить позу, а там будь что будет. Неподалеку подала голос глухарка, раз, второй, и кокает, и р*о*стится. Глухарь разом заточил, яростно, песню за песней. С облегчением под вторую же глухую песню я переставил ногу. С добытым глухарем вернулся на просеку, рассказал Матвеичу, как глухарка выручила. Он

рассмеялся: „Это я его подгорячил“.

Утро. Первая кукушка, теньковка. Селезеночник, пушица цветет, везде почки-хвостики. До дома еще не дошли — дождь и ветер, иногда со снегом. Матвеич говорит: „Не будет ли сей вечер с погодой такая же канцелярия? Жалко, хотел свести тебя на Кронберга, там ток в расширенном масштабе“».

Конец дневниковой записи.

Не удивительно, что Салынский сумел «подгорячить» мошника. Замечательно он подражал всем лесным голосам. Гениально трубил журавлем, подвывал волков, в шутку высвистывал на открытую полянку тетеревят, подманивал прямо вплотную любую кукушку, заставлял кружиться над головой канюка и — что удивительнее всего — губами, без пищика манил рябчиков. Стоило ли удивляться после того его способу отыскания диких пчел. На мой вопрос ответил совершенно серьезно: «Это, Леня, просто. Вынеси в лес на полянку блюдечко с медом или сахарным сиропом. Сиди неподалеку, гляди — прилетит пчела, возьмет что надо и улетит. Примечай направление — и все. Вспомни, где в той стороне подходящие дупла в деревьях, и прям иди». Матвеич есть Матвеич — я улыбнулся и про себя подумал, что только он знает все дупла в лесу.

Он слышал, он знал и, как никто, видел. Пройти за куницей по р*о*ну, пос*о*рке — попробуйте заметить на снегу комочки снега или мельчайший древесный мусор! — и так два-три километра; добрать в бесснежье, по черностопу раненого лося он мог с уверенностью. Удивительные глаза! Вот бы про кого не мог сказать Дерсу Узала: «Глаза есть, посмотри нету».

Или вот пример. Приехали с товарищем, набросили гончую. Тепло, сухо, безветренно. Зайца мало, подъем трудный. Идем большим лесом. Матвеич говорит:

— Пойдем сквозь, зайца тут нет, по такой погоде он аннулировался в опушку.

Разошлись, идем, порскаем. Слышу голос Матвеича:

— Лень, Лень, называй!

Кричу:

— Вот! Вот! Вот! — подхожу, спрашиваю: — Соскочил? Видел?

— Не, лежку нашел, сегодняшнюю. Видать, только поднялся. Гляди, — показал под ивовым кустом овал примятой травы.

Удивился я — не зима, следа нет. Рядом залилась гончая.

Этого зайца мы взяли легко, со следующим вышло хуже. Выжловка сошла с голоса, мы долго ее искали, и, когда нашли, она ходила по черно-ольховому болоту, потеряв зайца, но продолжая — правда, довольно вяло — подавать голос. Была она слабоголоса или, если определить то, что она в этот момент делала, не на таком изысканном староохотничьем языке, а попроще, — подвирала, фальшивила. Попытались мы ей помочь, не заметили, как подобралась к нам сине-бурая туча, тяжелая, как вымя породистой коровы. Разом стало темно, и обвалом накинулся на нас снег, сначала мокрый, потом настоящий зимний: сухой, крупнолохматый. Мы стали выбираться на бугор, чтобы укрыться под разлапистой елкой, и по дороге заметили дыбом торчащую из высокой травы лосиную копытную ногу.

Не хотелось сразу признать, что охоте конец. Спрятались под елкой, развели костер и подвесили надогнем два котелка: для еды и для чая. Позавтракали. Неуемный и заинтересованный в этом деле Матвеич сходил к туше лося. Вернулся, подсел к нам, сказал:

— Рогаль, ронен сейночь тремя волками.

Мы спрашивали Матвеича, как волки ловят лосей и как он ставит капканы. Огромный у него опыт. Рассказывал:

— Гонит чаще всего матерой, остальные за ним. Как остановит, дает голос, волки кидаются со всех сторон. К ногам не подходят, бьют в шею, в горло с ходу, с переворотом — это один, а все остальные кидаются на поваленного. Когда дерут, не едят с мясом шерсть, вроде шкуру снимают. А ловлю волков так: вывариваю капканы в хвое и сам весь хвоей натираюсь. К капкану креплю проволоку с петлей на конце. Если дать чурбан, на морозе нога закоченеет и волк ее отгрызет. Ставлю на тропах. Еще лучше — обойти приваду и тут на входных и выходных следах ставить два-три капкана. Самое главное — направление ветра. Хорошо, когда ветер поперек тропы; еще лучше, когда в хвост; если против — волк никогда не попадется, надо переставлять капканы. Разок у заваленного лося на входах и выходах поставил три капкана. Ввалилась матеруха. Матерой с прибылыми в панике кинулись обратно. Ввалился матерой. Прибылой кинулся назад и бросился по третьей тропе против ветра, очуял капкан — и в сторону. Я пошел за матерухой. Она уставала, через два километра стало слышно впереди бряканье капкана. Догнать все же не удавалось. Обошел остров лягой. Бренчание прекратилось, зацепилась петля. В гущарке в десяти шагах заметил оскаленную матеруху. Добил выстрелом. Матерого, большой волчина, оставил на другой день. Пришел в лядину — кругом кровь и в капкане передняя лапа. Гнал в сторону Рогавки. Два дня. Матер*о*й на ночь ложился. С утра на следу крови не было, затем, особенно к вечеру, сильно. Бросил гнать — от дома двадцать километров и мороз большой. Волк, конечно, погиб. Нигде после следов трехпалого не было.

Много еще рассказывал про охоту Матвеич, всего не перескажешь, опыта не займешь…

Василий Матвеич в основном был промышленником, работу егеря выполнял как бы наполовину: сторожил, но не любил, когда присылали к нему охотников. В те годы путевки существовали, но были почти формальными, чаще всего просто записка: егерю такому-то — предоставить охоту, и все тут… Салынский старался уклониться от этого. Почему? Он объяснял так: «Слава, что у меня здесь охота хорошая, присылают больше по знакомству и, что ты скажешь, чаще всего не охотников, ей-богу, сами в лес не очень, понятия никакого, убьешь для него дичину — тогда ты хорош. Бывало, разъясняют: приготовь глухаря, чтоб гость приехал, а глухарь уже в кладовке. Ненавижу! Этим людям только б выпить на свободе. Бывало, приедут и два дня из избы не выйдут, пока бутылки не прикончат, — все погода им не та. А вот Евгений Николаевич, дядюшка твой, сроду так не делал и записок не давал».

По начальству до самого верха знали это Матвеичево улынивание, но мирились с этим и, за редким исключением, его не трогали: он был лучшим по заготовке пушнины, а планы — планы выполнять требовалось.

Наша компания, очень небольшая, по моему почину ездила к Салынскому постоянно. Он, видимо, понял, что мы не «воскресные охотники», что предоставление нам охот и тем более битой дичи вызвало бы недовольство и резкий отказ. Мы были его друзья. Сначала и на долгие годы. Помню только один сбой в отношениях, но по весьма характерной причине. Мой товарищ, профессор К., весьма состоятельный человек и дельный охотник, в один из первых приездов в мое отсутствие узнал от Матвеича про большой, прямо гремящий, глухариный ток, попросил туда провести и обещал хорошо заплатить. Потом со смущением рассказывал, как Матвеич ответил ему: «Товарищ! Я токами не торгую, сроду этого не было и не будет!» Долго не прощал Матвеич профессору этот случай, а может быть, никогда и не простил. Он не «предоставлял охоту», не торговал охотой, просто ходил с друзьями в лес.

Относился Василий Матвеич к нашей дружбе очень серьезно и ответственно. Приведу такой пример. В нашей компании были супруги Урванцевы. Отношения у них с Матвеичем с самого начала сложились легко и, прямо сказать, были обоюдно теплыми. Урванцевы ездили к нему на охоту, он и его дети заезжали

к Урванцевым на ленинградскую квартиру, обменивались услугами и подарками. И вот Николай Николаевич, добывший с товарищами за Полярным кругом больше сотни белых медведей, сказал мне, что хорошо бы и на бурого поохотиться. В очередной приезд в Сенную Кересть я передал просьбу Матвеичу. Он глубоко задумался и сразу не ответил.

Отношение Салынского к медведям было очень своеобразным. Конечно, в своем обходе знал их всех, но никогда не стрелял. Непонятно по каким причинам, ведь за лосями-то он охотился, за кабанами ходил — считал хорошим делом. Медведей не трогал. Спросишь: «Матвеич, а как у тебя с медведями, много?» Отвечал неопределенно, не по существу: «Ходят. Умный зверь, до чего умный!» Я видел, что он пассивно сопротивляется организации медвежьих охот для начальства. Никогда не отказывал, но так получалось. За все время нашего знакомства ни одной такой охоты не состоялось. Не удавалось ему найти берлогу: находил ее, пройдя в пяту, после того как звери уже ушли с места зимнего сна. Не хочу обвинять Матвеича — может быть, и вправду не находил, — дело трудное. Ведь врать он, кому бы то ни было, совершенно не умел. Утверждал, что медведи — звери безобидные, часто встречаются ему, пугливо убегают. Я спрашивал: «А если матка с медвежатами?» — «Не говори, — отвечает, — мне постоянно рассказывают: „Бросилась, гналась по пятам, вот-вот схватит, залез на дерево и, не знай почему, отстала, а я думал — смерть“. Все это один страх, рассказы. Верно, бросится, зарычит — так она только так, попугать, не тронет, никогда не тронет, сроду этого не было!»

Им было 210 лет! (Е. И., Н. Н. Урванцевы в центре — Е. Н. Фрейберг на охоте в Сенной Керести. 7. XI. 61 г.).

Матвеич ведет.

Берлога близко.

Охота состоялась (Матвеич, Померанцев, Урванцева).

Погрузили на дровни.

Привезли в Сенную Кересть.

Промолчал на просьбу Матвеич, только вечером после охоты сказал: «Есть, похоже, одна берлога, не так далеко от деревни. Помощница моя лаяла, лаяла — еле отозвал. Твердо сказать не могу. Завтра побудешь?» — «Завтра буду, только в лес не пойду, надо пописать, работу одну кончить». Провожая меня на следующий день, Матвеич шепнул на ухо: «Скажи Николаю Николаевичу — есть. Провожу».

Охота состоялась, мы взяли медведицу и лончака (второго стрелять не стали). В доме у Матвеича был большой охотничий праздник, который всем нам запомнился. Много позже я узнал, что Матвеич не мог себе представить, что осрамится перед своими друзьями Урванцевыми, и в тот день, когда я писал статью в его домике, пошел в примеченное место, подобрался с подветренной стороны вплотную и нашел продух-куржак.

Памятен тот медвежий праздник был еще и тем, что я да и все мои друзья впервые видели Матвеича подвыпившим. Он был весел и рассказывал не как обычно, про лес и зверей, а про всякую житейскую ерунду.

Помнится, послушал игру баяниста и заявил: «Хороший ты баянист, ничего не скажешь. Но бывает удивление — мой старинный друг, теперь померши, так играл — представить нельзя. Сколько баянистов слушал, а такого не было. Собрались у меня разом трое, один перед другим стараются. Всяко играли, а он взял и сыграл матюг, полностью выговорил. Все покорились. Эх, не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».

Василий Матвеич поговорить любил, особенно про охоту. Отличный рассказчик, всегда спокойно, не торопясь, повествовал не только о жизни братьев наших меньших, но и о людях, с доброй иронией, с терпимостью к человеческим слабостям, острой наблюдательностью и умением разъяснить.

Про себя рассказывать не любил и совершенно избегал говорить о жизни в военное время. Даже на прямой вопрос — как воевалось? — отвечал уклончиво или совсем не отвечал. Мы решили, что он связан каким-то обещанием. Имея дело с таким деликатным человеком, как Матвеич, перестали спрашивать.

Некоторым подтверждением догадки был такой случай. Примерно после двадцати лет нашего знакомства мы с ним попали на глухарином току в резкий отзимок. Отсиживались в брошенной избушке лесника, гадали, что делать. Решили переждать, посмотреть. Запаслись дровами, сварили еду, выпили

маленькую. Отдыхали — торопиться некуда. Он вдруг спросил: «Леня! Скажи, куда ты шел, когда в войну на Керести встретились?»

Я был искренне удивлен. Он продолжал, напоминая: «С той стороны вышел из леса, в военном, без знаков. Я — с удочкой на берегу. Ты на мою сторону вброд, не раздеваясь, сел рядом. Помнишь? Голодный был. У меня штук пять окуньков — уху сварил, еще кусок хлеба дал. Ты спросил меня, как в Трегубово пройти? Я ответил, что там немцы, да что там! — на Глушитском поле у них бункера. Ты и ушел».

Матвеич ошибся — это был не я, кто-то другой. Больше мы к этому вопросу не возвращались.

Василий Матвеич переехал в Чудово. Как ни сопротивлялся, как ни тянул, — пришлось. Сенная Кересть ушла вся, одному оставаться плохо, да и годы подошли: все труднее и ему, и Пане стало ходить многие километры за всем необходимым. Купили немудрящий домишко, перегнали корову, завели огород. Зажили понемножку. Матвеичу на новом месте было скучно: лес далеко и не тот, не свой. Заскучал, прибаливать стал…

ПОХОРОНЫ

Матвеич умер перед самыми Октябрьскими праздниками в 1977 году. Я получил телеграмму от Пани.

Зябкое утро поздней осени. От вокзала в Чудове недалеко. Дом открыт и полон людей. На пороге встретила Паня, обнялись, торопясь, рассказывала: «Не думала, не гадала, был веселый, все про охоту говорил. Скоропостижно: пришел с улицы, сказал так тихонько: „Мне плохо“, — упал и все».

Матвеич лежал в гробу, как спал, — лицо задумчивое, волосы густые, без единой сединки. На лбу лента — кажется, это называется «венец». На груди небольшая иконка, сбоку на крайчиках гроба горят свечи. Вокруг люди. Женщина читает из книги.

Хоронить мне теперь приходится часто: то кремация, то кладбище. Но все по-гражданскому, отвык, забыл религиозный обряд. Только какие-то обрывки заупокойной службы помнились с юных лет, — тогда смерть остро впечатляла: трагическое «Надгробное рыдание творим», «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…» и обещание остающихся вечной памяти уходящему.

— Пожалуй, был прав Иван Сергеевич, когда говорил мне:

[14]«Там, знаете, все продумано, мудро». Знали, как утешить, успокоить. Так считали образованные верующие. А простые люди воспринимают частенько невня тноебормотание церковных служителей, не вникая, не понимая, — пусть, так надо, это что-то высшее, ритуальное. И только отдельные возгласы доходят прямо. Четыре женщины в черных платьях начали краткую панихиду, запели, и все старались подхватить. Чаще всего повторялось: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И это понятно: много сверстников провожало покойника, им действительно страшно, они просят помиловать, да и всем, даже молодым, страшно, когда смерть. Так хочется от нее откреститься. И, может быть, есть место, где «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»? Нет, конечно, но там Матвеичу, другу милому, было бы хорошо. И упокоить душу тоже хорошо, потому что не только телу Матвеича, но и душе — так уж сложилась его жизнь — маяться приходилось.

Обряд блюли строго. Высокая пожилая женщина распоряжается — и это хорошо: она говорит редко, негромко, и все поступают как надо, пристойно, как когда-то установлено. В кухне на столах и подоконниках заготовлены еда и питье, все открыто — никто в рот не берет и ни одного выпившего. Народу много во всем доме, в коридоре и на улице у крыльца. Люди стоят, Паня, Николай и Таня поближе к гробу. Два раза все спели «Со святыми упокой» и «Вечную память». Высокая шепнула мне: «Сокращенна

панихида — попа нет».

Пришла открытая грузовая машина. От нее до самого крыльца хвойные лапки. Не накрывая, гроб выносят шесть человек на связанных и перекинутых через плечи полотенцах, седьмой поддерживает в головах. Высокая старуха следит, чтобы оставшаяся в доме сестра Пани закрыла дверь во двор, чтобы второго хода не было, дабы не повторилась смерть в доме. И должна она еще в коридорчике мебель опрокинуть, два стула и столик, и вереск пожечь в комнатах.

Перед домом гроб поставлен на табуретки — первое прощание. Кричит и падает Паня, ее держат под руки. Племянник сказал для всех: «Был хороший человек, всем только добро делал и никому обиды». Больше речей не было.

На полотенцах несли долго, больше километра. Было бы поближе кладбище, донесли бы до могилы. Не закрывая, гроб подняли на машину, рядом на табуретках сели Паня и Таня. Остальные шли пешком.

Шли молча.

Я думал: Матвеич — верующий? Может быть, это Паня или сила обычая? Никогда с ним на эту тему не разговаривал. В избе по праздникам лампадка перед иконами теплилась, но в церковь из Сенной Керести не ходили. Пожалуй, коли и был у него бог, то свой, лесной, вроде лешего, только помудрее и повыше. А если все же и нужен был ему христианский, то не так, как пожилым женщинам, — для избавления от страха смерти, чтобы уверенными быть, что жизни нет конца, будет тот свет. Нет, Матвеич сильный был человек, может быть, признавая христианство, подкреплял глубокую веру в совесть и доброту людей; соглашался с заповедями: «Не укради, не убий». Однако умный был, жизнь изведал и понимал, не мог верить, что «блаженны кроткие яко ти наследят землю», знал, какие «кроткие» живут и распоряжаются на земле; не мог верить, что «блаженны алчущие и жаждущие, ибо ти насытятся», когда третья часть человечества голодает.

Перед могилой опять на двух табуретках поставили гроб — здесь еще прощание. Подходили провожающие, последними Паня и дети. Родные целуют покойника в лоб, остальные — иконку, что в его руках.

Человек в полуштатском позвал меня за собой, прихватил еще одного мужчину, вынул из кабинки три двустволки и патроны, сказал: «Стрелим, когда крышкой будут накрывать».

— Ничего, что в городе?

— Сойдет, вся милиция без мала здесь. Матвеичу можно.

У гроба плакали, стонали Паня и еще несколько женщин. Мужчины молчали. Только один сказал громко: «Прости, Матвеич, что квартиру неважную тебе изготовили». На дне могилы была вода, ее забросали песком и лапником, но Матвеича обманывать нельзя, не тот человек.

Принесли крышку. Полувоенный сказал: «Друзья-охотники хотят проводить тебя салютом». Мы дали три залпа из трех ружей. Стреляли в очень хмурое небо, гул выстрелов потянулся эхом вдоль берегов Керести.

На третьем патроне я плохо прижал приклад высоко поднятой двустволки и разбил щеку и губу, слезы из глаз пошли.

На гроб положили простыню, чтобы «не прямо сыпать мокрую землю на Матвеича». Властный голос высокой старухи: «Пока могила не отделана, никому с кладбища не уходить».

Положили на холмик венки. Крест не поставили. Друзья из прокуратуры обещали хорошую пирамидку с надписью, а Паня на нее сверху приделает крестик. Две женщины обошли всех провожавших,

роздали конфеты, а мужчины подали еще по стопке водки, что было очень хорошо при таком студеном ветре.

Дома мы застали накрытые столы. Слышен голос, не резкий, как бы советующий: «Не чокаться и не садиться — не свадьба, не гуляние». Он же начал: «Святый Боже, святый крепкий…» Певчие подхватили. Рядом стоящая женщина мне пояснила: «Заупокойную будут петь до киселя».

Незнакомый мне, явно начальствующий, хорошо одетый человек сказал несколько слов, обращаясь к Пане, о большой общей потере, обещал Пане не забывать и, если что нужно… Все выпили под горячую закуску, пригубили киселя, и первая партия ушла из дома. Пробрались вдоль стен другие провожающие — и так до самого конца.

Я остался ночевать и утром долго разговаривал с племянником Матвеича, приехавшим из его родных мест.

Я попросил рассказать все, что он знает о военном периоде жизни дяди Васи. Матвеича не стало, не стоило и хранить его секреты, а мне любопытно знать.

Племянник охотно рассказал, что знал, но это было мало и относилось только к началу войны, ко времени, о котором и сам Матвеич мне кое-что рассказывал. Я соединил наши сведения, сопоставил их, и вот что получилось.

Василий Матвеевич Салынский, рядовой, необученный, был призван в армию в первые дни войны по месту жительства.

Отходили от Новгорода по старому шоссе вдоль Волхова. Отходили, откатывались не по-хорошему: теряли людей, связь, то и дело разбегались по сторонам в кюветы или в лес, ложились под частые крики «воздух!», немцы летали нахально, открыто, методически. Появлялся разведчик, сбрасывал с небольшой высоты три бомбы, разворачивался, снижался еще, прошивал шоссе из пулемета, поглядывая вниз сквозь круглые стекла черного шлема. Через положенное время, стрекоча пулеметами, на бреющем, проходили «мессера». Наших самолетов не было. Стало понятно, что по открытому идти нельзя, сошли в кусты по обе стороны дороги. И тут нежданно-негаданно по опустевшему шоссе промчались мотоциклисты.

Это было уже за Тютицами, и так вышло, что слева от дороги оказался только один взвод. Когда за мотоциклистами загрохотали танки, люди побежали прочь, остановились только у железнодорожного полотна. Снова немецкий самолет — пришлось уходить дальше.

Собрались на вырубке в болотистом лесу, далеко от шоссе, человек тридцать бойцов и младший лейтенант — «из хохлов», как говорил Василий. Надо было куда-то двигаться. И тут-то Салынскому стало тревожно и тошно: он видел, как командир недоуменно водит пальцем по карте и неумело прикладывает к ней компас…

Чужим, непривычным был лес для начальника группы. Матвеич же был дома, хоть не в своем, но понятном ему лесу. Успокаивающие, нетревожные голоса птиц, хлопанье крыльев взлетевшего тетеревиного выводка — значит, нет близко чужих, не прошли они здесь. Однако надо с умом, с расчетом выбирать путь и по времени и по месту: нельзя идти ночью лесом прямо по компасу, он простой, не светится, а спичек не начиркаешься, да и попасть можно в непроходимые места — пищугу, т*о*пи, бог знает куда. И нельзя, как, видимо, хочет лейтенант, идти берегом лесной речушки. Так сильно крутит малая речушка, а берега — прутняк, глаз не открыть.

Думаю, не сказал об этом Матвеич командиру, постеснялся, да тот бы не послушался. Хорошо, попалась на пути широкая чищенная просека и лейтенант повел отряд по ней. Так шли всю ночь. «И попали они, — рассказывал племянник, — в деревню, только что занятую немцами». Как это могло случиться?

Ведь не мог не заметить Матвеич — наверно спорил с лейтенантом: «Нельзя туда — там немцы, смотри какие следы, подковы что тарелки, у нас таких коней сроду здесь не держали, и позём — свежо идёно. Ростань в ту сторону сходится — там жилое». А лейтенанту так не хотелось слушать назойливого солдата, устал он смертельно, наконец-то выбрались на твердую дорогу. «Жилое? Деревня? Это хорошо, отдохнем как следует». Трудно еще было думать, что есть деревни наши и не наши.

«Тут-то и случилось, — говорит племянник, — все дело. Открыто наши входили, прямо по дороге. Немцы заметили, из деревни примчались мотоциклы, сбили отряд с дороги. Часть бойцов забежала в баню у реки. Отстреливались. Баня ветхая — пулемет ее насквозь. Загорелась крыша. Всех прикончили, до единого… Дядя Вася чудом — под досками пола — уцелел. Переждал дотемна. Плохой, обожженный вылез, перебрался через реку и ушел в лес».

«Больше ничего не знаю», — закончил племянник.

* * *

Дважды в год переезжаем по Московскому шоссе речку Кересть. Когда едем в деревню, на склонах высокого предмостного холма белеют мусорные останцы зимних сугробов или, если припозднимся с отъездом, там нарядная прозелень первой травы. Когда возвращаемся в город, — ровная пороша светло и умиротворенно лежит на откосах. Мы смотрим пристально, знаем, что здесь, среди чахлых деревьев, зарослей кустарника, разноцветных оградок, крестов и крашеных пирамидок, могила Матвеича. Мы торопимся, торопимся, подхлестываемые недоброй лихорадкой дальней и трудной дороги, и не останавливаем машину.

Движемся дальше, примолкаем: вместо мельтешения мыслей о сиюминутном, из доброго угла памяти всплывает, оживает и радует образ человека, что здесь покоится. Мы резко ощущаем потерю. И еще нам думается, что не так далеко отсюда, вверх по реке Керести, сиротеют брошенное поле, леса, вырубки, болота, ручейки, озера, медведи, зайцы, лоси, глухари, рябчики, даже бабочки и лягушки… Ушел от них лесной содруг, такой же нужный и простой, как они.

Нам грустно.

ДОКТОР ВСЕХ НАУК

Мой брат Юрий в аспирантах. Ходит по соседству в университетскую лабораторию играть в шахматы к своему приятелю Мите Тищенко. В этой лаборатории профессор Жуков по заданию Микояна искал условия получения пены у шампанского, которое потом рекламировалось как «Советское шампанское — лучшее в мире». Задача заключалась в том, чтобы найти такую добавку к сухому газированному вину, чтобы пена была не пивная — устойчивая и крупнопузыристая, а мелкая и относительно быстро проходящая. Решение должно было быть найдено срочно. В экспериментальную часть работы входили испытания образцов шампанского на качество пены. Откупоривали бутылку, разливали вино в опытные стаканчики, измеряли и характеризовали по времени структуру пены. То, что оставалось в бутылках, подлежало ликвидации. Этому процессу активно и охотно помогали все, кто находился в лаборатории, в том числе и я.

Здесь я познакомился с Дмитрием Вячеславовичем Тищенко.

Надо сказать, что фамилия эта была мне уже знакома. Мы, студенты-химики, постоянно пользовались в лабораторной практике «склянкой Тищенко» — особым видом химической посуды, которую, правда, ввел в обиход не Митя, а его отец, академик В. Е. Тищенко. Митя, высокий, суховатый, с непременным пенсне на продолговатом лице, мне сразу понравился. Понравилось, как он говорил, — резким, среднего тембра голосом, он обо всем повествовал как-то небрежно, умно-иронически, часто цинично. Знакомство наше продолжилось дружбой на всю жизнь.

Родился Митя, как мы шутили, в «биакадемической» семье: отец — знаменитый академик, а мать, Елизавета Евграфовна, — сестра не менее известного академика Фаворского.

От отца Дмитрий Вячеславович унаследовал любовь к химии и, я бы сказал, научный стиль. Академик Вячеслав Евгеньевич Тищенко был прекрасным теоретиком, но при этом высоко ценил выход науки в практику. В то время наши лаборатории почти целиком снабжались химической посудой из-за границы, больше всего от немецкой фирмы Шотта. Вячеслав Евгеньевич нашел под Лугой необходимый сорт песка и наладил на стекольном заводе «Дружная горка» выпуск отечественного химического стекла. В Луге он помог организовать и постоянно консультировал производство огнеупорных тиглей, за что получил звание почетного гражданина города. И Дмитрий Вячеславович, автор многочисленных трудов по теории органической химии, удостоенный за них Сталинской премии I степени, постоянно работал над лабораторными разработками технологических процессов и некоторые передал в промышленность. Характерно, что он всегда находил время сам экспериментировать за химическим столом.

Митя был человеком высокообразованным, прекрасно и широко знал историю, говорил на трех иностранных языках: французском, немецком, английском. Шутил, что английскому учился у бывшего

лондонского ломового извозчика. «Поэтому, — рассказывал он, — когда я говорю с иностранцами, даже американцы замечают мой лошадино-матерный акцент». Память у него была чудовищная. Такой я ни у кого не встречал. Стоило только спросить у него, где почитать о таком-то соединении или реакции, как немедленно следовал ответ: «Посмотрите „Zeitschrift für angewandte Chemie“ за такой-то год, страница такая-то, наверху». Консультации были безотказны и точны.

Однажды, собравшись компанией, мы решили проверить Митю. Он похвастал, что запомнит все вывески на любой стороне Невского. Мы начали у Знаменского собора, закончили у Главного штаба. Шли рядом с ним, записывали все большие и малые вывески, рекламы и объявления — тогда их была бездна. Проверка состоялась на скамейке в Александровском саду. В длинном перечне оказалось только две ошибки. Мы сочли, что Митя выиграл, а приз — дюжину пива — распили все вместе в ближайшей пивной.

Характерно для Мити было некое «русофильство». Шло оно, как мне кажется, от матери, Елизаветы Евграфовны. Вспоминаю дни рождения Вячеслава Евгеньевича. Огромный стол, много людей, около виновника торжества стоит традиционная бутыль настойки из куманики (она же княженика), присланная учениками академика из Архангельска. Выплывала, садилась во главе стола Елизавета Евграфовна. Звучным голосом распоряжалась за столом, что-то рассказывала, употребляя при этом весьма хлесткие русские словечки. У Мити они тоже были в обиходе, и собак своих называл Ванька, Дунька, выжлеца Динго он немедленно переименовал в Букета за присущий тому запах псины. Был очень доволен, когда пойнтера Гарсона в деревне мужики разом переименовали в Кальсона.

У семьи Тищенко вблизи станции Окуловка было небольшое поместье, приобретенное Вячеславом Евгеньевичем, когда он укрепился в жизни, став профессором университета. В этом поместье работали все его дети, работали на земле по-настоящему. Митя знал сельский труд, любил его, ценил и легко находил общий язык с деревенскими жителями. Помню его любимую поговорочку: «Баре дерутся, а изъян на крестьян», — он ее применял весьма широко. Естественно, что, познакомившись с нашей семьей, Митя сразу же полюбил моего отца, который был весьма сведущ в сельском хозяйстве, — разговаривать на эту тему они могли бесконечно.

Вскоре после знакомства Митя позвал нас с Юрием на охоту в Чащу, где сам еще не бывал, но имеет приглашение. Встретился ему в охотничьем магазине немолодой мужчина — по виду и говору деревенский человек, — покупал коробку пистонов. Продавщица заявила, что пистоны продаются только вместе с ружьем. Покупатель урезонивал: «Ест твою маненьку, говоришь неладное, — что ж, я приду на чугунку билет покупать, а мне: „Сначала купи паровик“?» Возмущен мужик. Митя купил для него пистоны. Новый знакомый, Алексей Яковлев, пригласил Митю приехать к нему — «станция Огорелье, деревня Чаща, инако — Язвинка». «Ой, рабята, — говорил Митя, — чувствую, что не врет, а ток обещает показать штук на двадцать пять!»

Весной мы поехали в Чащу. Теперь от нее остались только бугорки фундаментов, а тогда эта деревушка была из двух десятков домов. От Огорелья до нее было семь километров поразительно грязной дороги. Дом Алексея Яковлевича Яковлева — у околицы, большой, со многими пристройками. В семье четыре сына и три дочки, все взрослые. Двор не пустой — две коровы, нетель, овцы, две лошади. Приняли хозяева нас радушно.

На глухариный ток Алексей Яковлевич повел сам. Вот он вышел из дома, высокий, широкоплечий, за плечами небольшая сумочка и довольно поношенное ружье, а на ногах… лапти. Это когда в лесу еще снег, а все колеи, ямки залиты студеной водой! Да, обычные лапти. Правда, надеты они были на длинные, выше колена, кожаные чулки, а в них, конечно, толстые шерстяные носки. Я вспомнил «Кожаный чулок» Купера. Наш проводник шагал легко, нам, за зиму отвыкшим от ходьбы, поспевать за ним было трудно.

Обещанный ток лежал километрах в двадцати с лишним от деревни, в самом верховье большой реки.

Мы добрались до места только к вечеру, едва успели кое-как подготовить ночевку и пошли на подслух. Слушали на «тележнике», так назывался проселок в глухую деревушку, давно не езженный, заросший. Не обманул Алексей Яковлевич — еще солнце было высоко, как всем нам, расположившимся вдоль тележника, стали слышны прилеты, громкие, тихие, а затем глухариные разговоры и вскоре — шум, как в курятнике! В сумерках сразу заточили несколько петухов. Вернулись к костру возбужденные, предвкушая завтрашнюю удачу. Алексей выпил с нами пару стопок, от курева отказался: «Этого зелья в рот не беру». Подремал минут десять и заявил: «Захвачу мошника на щи — и к дому». Мы все не новички в глухарином деле, могли бы удивиться, как это он в такую пору добудет мошника, если бы уже не поняли, что к этому лесовику подходить с обычными мерками нельзя. Взошла полная луна, высыпали звезды. Алексей шагнул от костра, бесшумно исчез в темноте. Довольно скоро послышался выстрел. Наш проводник вернулся с глухарем в мешке. Тут уж мы не удержались, спросили: как он сумел? Ответил, ничуть не гордясь: «Да простым-просто, когда лунит. Недалеча на островине точишко: лес — наголима осина. Походил, пригляделся. Вижу — на суку чернина, не маленькая, как кубач, я и стрелил».

С той поры начались наши охоты в деревне Чаща-Язвинка с Алексеем Яковлевым. Примечательный он человек и в охотничьем деле имел свою повадку. Сейчас это сочли бы браконьерством, тогда было не так строго. Удивляться приходилось, как он осенью или летом, без снега, километрами выслеживал и брал лося. Молодцы-сыновья запрягали лошадку и привозили разделанную тушу домой, могли и вынести в мешках на плечах. В конце лета ходил в лес с торбой и сачком. Особо обученная лайка выискивала выводки тетеревов и глухарей; найдя, останавливалась, и Алексей накрывал молодых по одному сачком. Поймав несколько штук, увозил в город, продавал охотничьим кружкам. Алексей хорошо стрелял влет, что необычно для деревенского охотника, и с помощью той же своей лайки добывал дупелей и продавал в петроградские рестораны.

Дом Алексей Яковлевич держал строго. Скажем, требовал от дочерей мыть полы каждый день, но так, чтобы он за этим делом не заставал. Увидит — сразу же повысит голос: «Ну, задумали неладное — полы мыть! Людям не пройти». Сыновья его, особенно младшие — кстати, тоже охотники, — ребята плечистые, силы невероятной и задиристые до крайности. Неоднократно после деревенских праздников их сажали за драку, а потом выпускали досрочно — отлично они работали на лесозаготовках. Помнится, спросил Сашу, по прозвищу «Хозяин», только что отбывшего наказание, за что сидел? Ответил: «Да так, ни за что, по дурости». Я настаиваю: «А все же?» — «Было так. В Покров мы дома немного выпили, пиво было наварёно и вино привезли. Мне люди сказали, что, пока дома не был, Моряковы нашу собаку отравили. Решил узнать. Зашел к ним в избу, а они стали в окна рыться, выскакивать. Мне досадно — кинул им вслед в окошко самовар со стола и домой пошел. Пальцем не тронул, а они доказали в милицию». Спрашиваю: «Хозяин, ты, верно, с ружьем пришел или с ножом?» — «Да нет, ничего такого. Трёсточка в руках была». — «Какая трёсточка?» — «Ну пруток железный».

Встретился с Хозяином после войны. Спросил, как воевалось. Рассказывал охотно, подробно, потом, ухмыльнувшись, добавил: «Скажи пожалуйста, сколько нам с братом за драку доставалось, а тут бей сколь хошь — война».

Вот с какими людьми мы познакомились. Митя Тищенко прямо-таки купался в их разговорах, в любимом им быте. В городе, в гостях, обычно рассказывал сельские истории, сохраняя манеру говорить и жаргон, без купюр.

Хоть я и ушел в сторону от повествования о Мите, но нельзя не досказать об Алексее Яковлеве. Грустная это будет история, да из песни слова не выкинешь. Приносит мне Митя телеграмму: «Тятенька сильно заболевши. Приезжайте на токи. Корову отдали. Лиза». Митя попросил своего любимого доктора — моего отца — поехать с ним в Язвинку. Как всегда, на станции их встретили братья Яковлевы, Хозяин и

Володя. Посадили гостей в седла, а сами шли рядом, ведя лошадей под уздцы и освещая фонарями разбитую дорогу. Мой отец осмотрел Алексея Яковлевича и поставил диагноз: рак. Предложил операцию, объяснил, что придется вставить серебряную трубку. Алексей отказался, сказал: «Мне и от колхоза тошно, а с вашей трубкой и вовсе не жизнь!»

В сентябре мы приехали в Язвинку поохотиться на белых куропаток. Алексей Яковлевич сильно изменился, похудел, прямо высох. Как всегда, был приветлив, усадил за стол. Лиза успела шепнуть:

— Татенька только сырые яйца глотает и сахар сосет, другое не проходит…

Стали на охоту собираться, смотрим — Алексей патроны набивает. Раньше-то мы всегда вместе ходили. Отговариваем. Заупрямился:

— Сброжу последний разок.

Мы ходили по упругим мхам болота вокруг озера Бебро. Алексей Яковлевич не отставал, вышагивал рядом с нами в неизменных лаптях и кожаных чулках. Внимательно наблюдал за поиском собак, помогал охоте, запоминая, куда сядут после подъема разлетевшиеся птицы. Радовался удачным выстрелам, негромко, тактично хмыкал по поводу промахов. День выдался погожий, тихий, печально украшенный золотом березовой кромы, алыми вспышками одиноких осинок. На большой высоте, среди уже не летних, перистых, облаков косяк за косяком шли гуси. Грустен был их непрерывный, приглушенный расстоянием гогот. С утра не ярко, но настойчиво бормотал тетерев. Его песня, такая весенняя, в осеннюю пору была предсказанием неизбежного и довольно скорого прихода зимы.

Грустно у нас было на душе, в каждом перерыве охотничьего дела возвращалась боль за друга-охотника, думалось: как-то ему? Плохая охота.

Затаборились на сосновой островине, приготовили на костре чай. Неловко было вытаскивать из рюкзаков взятую с собой снедь: булку, колбасу, когда Алексей сидел рядом с нами и сосал, вынув из чистого полотняного мешочка, кусок колотого сахара. Обсуждали охоту, Алексей Яковлевич, вспомнив моего брата, сказал: «Вот Егор ловок стрелять — редко мимо». Это было мягкое осуждение нашей мазни. После привала мы уговаривали Алексея идти домой. Он отказался. Конечно, мы, как могли, сократили поход.

Он умер вскоре после этой охоты. Нам не удалось попасть на похороны — были в отъезде.

Через год в хмурое предзимье мы с Митей, захватив с собой мою англичанку Эрну, поехали в огорельские края. Искали вдоль поймы Рыденки поздних вальдшнепов. Охота не заладилась, с полдня в воздухе закружились снежинки. Странное и не очень веселое зрелище — легавая на пороше, но не возвращаться же домой. Подошли к небольшому острову высокоствольного ельника у берега речки. Решили передохнуть, укрыться под разлапистыми ветками елок от ставшего сильным снегопада. Под деревьями оказалось небольшое кладбище. «Куболовский погост, — догадался Митя, — подожди, здесь, наверно, Алексей Яковлевич». Среди покосившихся крестов, осыпавшихся могильных холмиков мы скоро нашли то, что искали. Могилка была обихожена: железная оградка, свежепокрашенный белый крест с четкой надписью. Мы молча и долго стояли у могилы, живо вспомнился этот простой и необыкновенный, милый нашим сердцам человек.

Вернусь к Мите. Какой он был охотник? Необычный. Стрелял плохо и при этом был до крайности самолюбив. Очередной его промах никогда не был просто промахом: либо солнце попало в глаза, либо «он взлетел, а моя нога как раз попала в яму», либо запотело пенсне — много было причин. Особенно плохо стало получаться, когда он, следуя нашему с Юрием примеру, купил себе тройник. Если стрелял по летящей птице, палец по ошибке включал пулевой ствол, при стрельбе пулей, скажем, сидящего далеко на вершине дерева косача, получалась «такая дурость — я его по ошибке семеркой шарахнул».

След рыси.

Дмитрий Вячеславович с «кошечками» в Университетском саду.

Мы все знали эту Митину слабинку, соглашались, что промах совершенно случайный, иногда помогали, стреляя с ним одновременно. Птица падала, а тот, кто стрелял, просил прощения: «Я видел, что падает, — не удержался». Лучше, если выстрелы сливались: можно было незаметно вынуть гильзу и не говорить, что стрелял. И с зайцами так бывало. Тот, кому удавалось взять зайца после промаха Мити,

преподносил ему добычу со словами: «Это твой подранок, еле полз мимо».

Однажды случилось, что и на его долю выпала большая удача. Его пригласили на рысиную охоту в Бековo, где жили у егеря его лайки. Облава была по псковскому методу: два стрелка и один загонщик. Митя стоял в довольно густом лесу, справа тянулась поросшая ивняком канава. В одном месте в ивняке прогал. Начался загон, и очень скоро в прогале появилась рысь. Митя выстрелил — зверь исчез и через минуту снова показался на том же месте. Митя выстрелил из другого ствола — рысь пропала. Подошел егерь. На льду канавы лежали две крупных рыси.

Характерна для Мити-охотника была крайняя непритязательность в одежде. Некоторых забавляет охотничий антураж иногда больше, чем сама охота: ружья, патроны, особая одежда, кепи, обувь… Митя был внимателен только к ружью и патронам, — всем остальным пренебрегал. Летом и зимой ходил в той же курточке и в зависимости от температуры воздуха (в диапазоне от +25 до -25 градусов) только застегивал ее или расстегивал. Перчаток не носил никогда.

Как я говорил уже, Митя сблизился с нашей семьей. Проводил с нами почти каждое лето. Помню, как он пришел на хутор Голи пешком со станции, в рюкзаке принес патроны, немного провианта и трехлитровую бутыль с одеколоном, который сделал сам, добавив к спирту какие-то замечательные одоранты. Одеколон предназначался моей сестре Татьяне, тогда еще незамужней. На бутылке была наклеена этикетка со стихами тоже Митиного производства:

Пусть тощая дева рвет свои в
ы́чески,
Задыхаясь от злобы натужной,—
Танечка, действуйте диалектически
И внутренне, и наружно…

Постелили Мите, как и обычно гостям, на сеновале.

От полога отказался. Мы затревожились: «Комары съедят!» А он свое: «Не влияет». Время проводил своеобразно. После завтрака в одних трусах уходил со спиннингом на берег. На урезе воды изящным движением бедер сбрасывал трусы — они оставались на песке до самого обеда, — а их владелец, как говорится, в одном пенсне исхлестывал спиннингом вдоль и поперек все Гольское плёсо. Иногда приносил небольших щурят — самые крупные, как водится, срывались… Впрочем, и тут был исключительный случай. Однажды Митя вернулся домой необычно рано и торжественно преподнес хозяйкам огромного окуня. Мы тогда его не взвесили, но по виду он потянул бы килограмма два, не меньше.

Когда началась охота, Митя ходил с нами и одновременно, по его выражению, ботанизировал. Приглядывался к цветам и травам, что-то срывал, прятал в карман и продолжал охоту. Но, как всегда, стоило ему заполевать дичину, он немедленно бросал компанию и уходил в деревню, чтобы побеседовать с местными жителями, показать моему отцу сорванное растение: «Доктор, посмотрите — довольно редкий вид, я в этом районе такого не видел».

На озере в одном из походов с Митей произошел нелепый случай. Все челны были разобраны, Мите достался челн под названием «Убитик», — узкий, кривой, неустойчивый. Захватив с собой тройник, Митя отъехал от берега и вскоре увидел летящую гагару. Последовал боковой выстрел — стрелок оказался в воде, тройник на дне. Я пытался достать, нырял, но неопределенность места, илистое дно и значительная глубина не позволили найти ружье. Один из гольских, дядя Петя, взялся достать. Соорудил специальное орудие типа широких грабель, нагруженных тремя кирпичами и с длиннющей ручкой. Через два-три часа траления ружье удалось зацепить за погон и вытащить. Обрадованный Митя выдал дяде Пете немалое вознаграждение. Деньги пошли на покупку ржи и хмеля. Через неделю хутор Голи, все три дома, гуляли,

поминая добром Дмитрия Вячеславовича.

В этот же год Митя ушел из университета. Надо сказать, что по характеру он был добрым и застенчивым человеком. Его доброту ценили и пользовались ею иногда корыстно. Повышенную застенчивость, как это часто бывает, маскировал грубоватостью и цинизмом. Он мог, например, на заседании Русского химического общества во время доклада своего дядюшки, академика Фаворского, выбежать к доске и в полемическом задоре стереть ладонью только что написанные, по его мнению неправильно, какие-то радикалы в реакции и при этом еще и ворчать что-то нелестное.

Все это явно мешало ему в отношениях с людьми, особенно с начальством.

У нас в Лесотехнической академии в это время освободилась кафедра органической химии, и Дмитрий Вячеславович возглавил ее, не без облегчения уйдя из университета. Возможно, некоторую роль здесь сыграла и перспектива совместных охот в нашем знаменитом приписном охотхозяйстве.

Я уже говорил, что Дмитрий Вячеславович был блестящим ученым. В нашем научном совете его выступления всегда вызывали глубокий интерес и некоторое беспокойство. Звали его доктором всех наук. Действительно, он легко мог оппонировать не только по химии, но и в других областях, используя энциклопедические знания по ботанике, физике и даже математике. К тому же знание языков позволяло ему делать жесткие и справедливые замечания ученым, пренебрегающим иностранной литературой.

Вокруг него всегда группировалась способная молодежь. Тищенко умел ее пестовать, щедро делился своими знаниями, помогал дружескими советами, а иногда и материально. В науке был высокопринципиален. Помнится заседание ученого совета в трудное время борьбы с «космополитизмом». Шла докторская защита. Работа хорошая талантливого человека. И вдруг… выступления против, одно за другим. Дмитрий Вячеславович встал и сказал во всеуслышание: «Работа отличная, а ее хотят провалить. Грешен, сам люблю рассказывать еврейские анекдоты, но жидоедства не терплю». Диссертация была утверждена, правда, с преимуществом в один голос.

Мне довелось быть свидетелем и такого эпизода. Резко распахивается дверь кабинета Мити — оттуда вылетает человек, по виду иностранец, а за ним директор и секретарь парторганизации. Слышу Митин голос: «Вон! Уходите, уходите! Не надо мне таких ученых!» Захожу в кабинет. Митя успокаивается, говорит уже с улыбкой: «Привели „ученого“ из Америки — для академии непривычно, начальству лестно. Разговариваю — чувствую, — в науке полная невинность. На языковый барьер не списать, на его родном поговорили… А вопросы по технологии и производству у него заранее заготовлены. Прогнал его к чертовой матери. Ученый… Пусть начальство сердится, не влияет».

Дирекция разобралась, и к Мите претензий не было предъявлено.

Неудобный был Митя человек для дирекции. Раздражал и его категорический отказ защищать докторскую диссертацию. В академии план выпуска докторов, уговаривают, жмут, сердятся: «Что вам стоит, такая масса публикаций и неопубликованных работ, больших, интересных, каждую можно защитить как докторскую». А он: «Не хочу, не буду. Я настоящим делом занят, а вы хотите, чтобы я все бросил и выжимал из себя научное дерьмо, как пасту из тюбика!» Не добились. Вскоре он получил звание доктора гонорис кауза.

Началась война. Митя как никто другой знал военный потенциал немцев, понимал серьезность положения и никогда не разделял «шапкозакидательских» настроений, господствующих в нашем обществе. Но при этом был абсолютно уверен, что немцев мы все-таки победим. Приехал ко мне наш общий друг. Рассказывал, что в Москве, о «железной поступи немецких полчищ», — «нас сомнут, как автомашина лягушек!» Советовал немедленно уезжать в глубь Сибири. Митя слушал, слушал, а потом говорит: «Лешка, давай его выпорем!» Полушутя-полусерьезно завалили мы гостя на кушетку и угостили

Митиным поясным ремнем.

Моя кафедральная группа еще в финскую войну работала по оборонной тематике. Этот опыт мы с Митей решили использовать и организовали спецхимцех. Привлекли к работам на оборону всех академических химиков, выхлопотали для них рабочие карточки. Я был назначен руководителем, Митя консультантом. На первых порах работа сводилась к химическим анализам различных материалов.

Прислали нам как-то на исследование целый бензобак немецкого самолета. Неясно было, почему попадание пули в бензобак не выводит его из строя. Оказалось, что между двумя стенками бака находится специальная резина, которая набухает от действия бензина, таким образом закрывая пробоины. Попутно Митя сам исследовал бензин. Пришел с результатами анализа, радостно улыбаясь: «Алеша, они много не навоюют, у них бензин синтетический с большим количеством добавок, которые нужны им и для других целей. Я знаю — в Германии этих веществ мало!» Теперь мы знаем — немцы воевали долго, но авиационного давления разом по всему фронту не было. Может быть, здесь сказался состав бензина?

Многодневная и многолюдная охота в Сыркоиицах Ленинградской области 1956 год. Стоят слева направо: И. Тиме, И. В Селюгин, С. Я. Коротов, Д. Е. Тищенко, Е. И. и Н. Н. Урнанцены, А. А. Ливеровский, Е. Н. Фрейберг, В. А. Тиме. На переднем плане: Оля Ливеровская и Борис Ермолов. Фотография М. Калинина.

Митя сильно ослаб от голода и однажды сказал мне: «Научную работу вести невозможно: в холодильники Либиха воду подаем вручную из ведер, с электричеством все время перебои. Остались только технические анализы. Я простаиваю. Мои мозги не используются. Хочу уехать. Зарплату мою пошли в Казань доктору».

Больного, слабого, его перевезли через Ладогу.

Сначала он попал в Архангельск, затем работал в Москве, в ЦНИИЛХИ, директором по науке. Помог наладить там производство взрывчатки, необходимой для фронта, разработал технологию получения антифриза для танков из древесной пирогенной смолы.

В 1944 году Дмитрий Вячеславович вернулся в Ленинград. Снова мы работали и охотились — конечно, вместе. После военного перерыва вся наша компания, кто остался, с какой-то особенной страстью

возобновила совместные выезды на охоту. У некоторых появились автомашины. Это облегчало провоз собак, хотя тогда на железных дорогах таких драконовских законов не было.

Собирались большими и малыми компаниями, но была одна охота, на которую мы с Митей ездили только вдвоем — в последних числах сентября на утиный пролет на Ладогу.

В Шлиссельбурге с невского парохода пересаживались на канальский и оказывались в старинном и уютном мире: отдельная каютка, маленький салон, неторопливое постукивание машины. Старик-официант готов хоть всю ночь поить чаем. Пароходик шел невероятно медленно: если кто опаздывал к отвалу, можно было пробежать по тропке вдоль канала и поспеть к пароходу на следующей пристани. В моих дневниках сохранилось описание одной их таких поездок. Приведу эту запись почти полностью.

«По-моему, воды в Ладоге больше, чем в море, — или это от дождя? В море как-то бывает, что либо одна вода, либо настоящий сухой берег. Здесь вода везде: сразу за левой стороной канала, где щетинятся хвощ и ситник, и в лужах на берегу, и в рыбачьих лодках, и даже на палубе нашего парохода, политой косым дождем.

Длинный гудок — и ответный хрип буксира. Отмашка белым флагом, глуховатый звонок в машинном отделении, и мы почтительно, на тихом ходу, пропускаем длинную ленту „гонок“: лес идет в Ленинград.

Пристань — Черное.

Получили у егеря стрельную лодку. Толкаться будем по очереди… Вяло разгорается солнце над камышами. В заводинах тихо, можно закурить, не закрываясь, на зарубье свежий ветер захлестывает водяную пыль в челнок и тонконогая треста часто кланяется набегающим озерным волнам.

Глухо стукнет пропёшка о подводные камни — луду. Ни с чем не сравним всплеск воды, потревоженной резким взлетом утки. Я еще не вижу, но твердо знаю, что сейчас она поднимется над зеленой стеной рогоза, сторожко поворачивая длинную шею. Мало уток в камышах, только на открытой воде видны мелкие стайки гогольков и морянок, — это первые путники. Скоро, как только водоемы далекой тундры подернутся первым льдом, двинутся в путь тысячные утиные стаи.

А сейчас нет утки, и челнок, раздвигая под нажимом пропёшки утомительно упругую поросль водных растений, то выплывает на синеватый простор хвоща, то скрипит по коротким пальцам телореза, а то совсем пропадает в свистящей на ветру заросли тресты.

Пусты камышовые заросли, нет еще пролета. Далеко вдается камышовый „нос“ в ладожскую белесую бескрайность, еще мористее — островки, горсти гранитных валунов, побитая волной щеточка тресты — и все. С ходу пробегают камышовую изгородку пенные гребни, хлюпают, шипят по камням, студят их.

Бежит нам навстречу рыбацкая высокая лодка, туго налилось ветром упругое крыло паруса. Спокойно держит румпель рослая ладожская девчонка. Привстав над грудой мокрых мереж, кричит нам что-то, неслышное за ветром, седой дед-рыбак, тычет веслом — указывает на дальнюю островину.

Танцует наш челнок на крутом озерном валу, близится лудяная гряда островины. Не на уток показывал дед — нет их тут, — на камне лежит черный скользкий тюлень, смотрит немигающими глазами-пуговицами на челнок, на людей и чуть шевелит усами. Удивился, загнул рыбий хвост выше головы, набок с камня свалился, похлюпал ластами по мелководью и пропал.

Уезжаем из Черного. На пристани вся деревня. В сумерках канал кажется синим. Холодные огни парохода приближаются томительно долго. Девушки в платках и ватниках поют резкими, как озерный ветер, голосами.

В ночь ударил морозец, густо вызвездило — и пошла утка. Мы стояли на палубе. Высоко в студеной черноте, стая за стаей, посвистывая и взволнованно перекликаясь, шла на юг. Непонятно, как в ночной

темноте находят они свою зовущую дорогу…»

На всю жизнь запомнились и полюбились просторы и осенняя трогательность Ладоги и как хорошо, что рядом был друг, который все это чувствовал, может быть, еще тоньше и полнее.

Жил Митя в университетском доме. На входной двери долго сохранялась медная дощечка с фамилией отца. Большая квартира, обставленная старинной мебелью, с прекрасными картинами и художественным антиквариатом. Наиболее ценные вещи потом были переданы братом Мити Русскому музею. Я видел буклет — опись дара семьи Тищенко.

В квартире, кроме Мити, жил его брат Владимир Вячеславович с сыном Андреем и пожилая домработница. Уклад семьи издавна строгий. Обедали дома. Но Митя, хоть и приучен был к регулярному образу жизни: гимнастика, еда, работа, игра в теннис, сон — все в определенное время, часто подолгу задерживался на кафедре. В еде был неприхотлив. Если голова была чем-то занята, не замечал, что в тарелке. Однажды мы пришли с ним в гости. На столе лежала коробка шоколадных конфет-ассорти — в те годы редкость, с трудом добытая хозяйкой. Остальное еще не было подано. Митя подсел к столу и за разговором одну за другой отправлял конфеты в рот. Очевидно, к тому времени проголодался. Если бы я не остановил его, вероятно опустошил коробку. К алкоголю был равнодушен, нальют — выпьет. Объяснял: «Не пью, потому что не влияет». Правда, — не пьянел. Курил много. Папиросу за папиросой и дома, и на улице. Покупал одну и ту же недорогую марку. Если папирос не хватало, протягивал мне два растопыренных пальца: «Выдай!» Я отвечал: «У меня не те!» А он свое: «Не влияет».

По воскресеньям и на праздники семья ездила в Лугу. Там у них была дача с большой усадьбой, включающей кусок леса и сад. Братья выращивали выписанные из разных мест уникальные сорта яблок, груш, слив… Дачу и сад окарауливал пскович, дядя Ваня, человек глубоковерующий — член лужской церковной десятки — и предельно первобытный. Братья любили с ним беседовать, слегка поддразнивали, потом пересказывали в гостях и при застолицах, прекрасно сохраняя манеру рассказчика.

Дядя Ваня:

— Нехорошо, Вяцеславовиц, часто ЕГО поминаешь.

— Почему? Всё выдумки — нет никаких чертей.

— Нет, есть.

— Ты его видел, что ли?

— А как же. Раз с соседом на озеро пошли. На плеце удоцки, пять штук, связаны вместе. Подхожу к воде. У берега — он. Удит. Я сразу удоцками хрясь ему по горбу. Он в воду пал и поплыл. Вода волнами идет. Из-за кустов сосед кричит: «Зачем, Иван, плёскаешь, всю рыбу распугал!» Так ОН и уплыл.

— Зря ты, Иван, так. Лучше бы закрестил и сдал в зоосад. Тебе бы за него тысяч тридцать дали. Ни в одном зоологическом живого черта нет.

— Неужели тридцать тыщ? (Иван-то скупущий.)

— Конечно.

Иван долго думает. Жалко ему денег. Потом решает:

— Не, ня взяли бы — цем кормить не знают.

Дома братья Тищенко музицировали. Племянник Мити, Андрей, учился у первой скрипки Ленинградской филармонии Заветновского. Митя неплохо играл на рояле, Володя, кажется, на альте.

Семейное трио распалось трагически.

Андрей рос без матери. Красивый мальчик, умница, со школьных лет был увлечен химией. Горячо любим отцом и дядей. Студентом первого курса он погиб в альпинистском походе на Кавказе. Митя ездил на похороны, вернулся неузнаваемым. Жизнь обоих братьев опустела и сломалась. Митя замкнулся, посуровел, на охоту почти не ездил. Все силы, а они заметно падали, отдавал работе.

В то время у нас в академии была организована Проблемная лаборатория древесных смол и пластиков, научным руководителем которой мне довелось быть. Здесь группой Тищенко была выполнена одна интересная работа. Хочу рассказать о ней, поскольку началась она с мыслей охотничьих. Мы знали, что при добывании живицы из сосны, так называемой подсочке, страдают глухари. Рабочие-вздымщики ходят от сосны к сосне с острым кривым ножом на палке-гаком, делают неглубокие надрезы, чтобы живица текла в специальные горшочки. Тем же путем ходят и сборщики, чаще всего женщины и подростки. Они постоянно находят гнезда глухарей и собирают яйца.

Возникла идея, конечно, не только ради сохранения глухарей, получить конечный продукт подсочки — канифоль — синтетически. Группа Тищенко исследовала и нашла такую возможность, получив образцы прекрасной и недорогой канифоли. К сожалению, работа, уже опробованная в крупном полузаводском масштабе, до сих пор не нашла широкого промышленного применения, а она и одна могла бы прославить имя Дмитрия Вячеславовича Тищенко. Талантлив русский народ…

Митя умер при неясных для нас обстоятельствах. Он возвращался из Луги, в поезде ему стало плохо, — был снят милицией.

Я много с эвенками выкурил трубок И не слыхал осуждающих слов Про верный жакан — про свинцовый обрубок, Охотничью пулю для гладких стволов.

ПАТРОНЫ ОТ ЧИЖОВА

Но если берлогу под старой сушиной
Собаки найдут твои, злы и упрямы,
И зверь — Словно выброшен кверху пружиной —
Огромный, косматый, метнется из ямы,
Роняя
Хвои порыжевшей иголки,
Знай: чтоб отрезать пути великану,
Оружия нету надежней двустволки,
Имеющей
В каждом стволе по жакану!
……
Я много с эвенками выкурил трубок
И не слыхал осуждающих слов
Про верный жакан — про свинцовый обрубок,
Охотничью пулю для гладких стволов.

Председателю охотничьего кружка Ленинградского Дома ученых, академику А. А. Заварзину пришло письмо из Толмачева. Егерь нашего охотничьего хозяйства, расположенного вокруг санатория «Железо», эстонец Андерсен сообщал, что нашел медвежью берлогу.

Алексей Алексеевич пригласил меня, секретаря кружка, в свою большую уютную квартиру на Кировском проспекте. Прочитали внимательно письмо, посмеялись над наивной конспирацией: слова «медведь» не было, сказано только — «я ее нашел, и она там». И приписка: «Торопитесь — стала тепла». Андерсен — человек и охотник надежный, а приписка обязывала не тянуть дело. Решили собрать экстренное совещание, оповестив членов кружка как можно скорее: кого по телефону, кого телеграммой.

В шикарной гостиной бывшего княжеского особняка на берегу Невы собрались человек тридцать. Решились ехать на облаву двадцать, а приехало… ну, об этом позже.

Группа членов охотничьего кружка Ленинградского Дома ученых. Фотография конца 1930-х годов.

Распорядителем охоты выбрали меня, это очень лестно — я был моложе почти всех членов нашего кружка. Однако в этом был некоторый практический смысл: распорядок таких охот я знал со студенческих лет по кружку научного охотоведения Лесотехнической академии. Руководил им первый в СССР профессор-охотовед Д. К. Соловьев. Он бывал с нами не только в кабинете, но и в лесу. Охотился я в те годы на медведей азартно, не упуская ни одной возможности. Охотники же Дома ученых на медведя ходили редко. Некоторым и видеть этого зверя в лесу не приходилось.

Я согласился с условием, что всю административно-хозяйственную часть возьмет на себя кто-то другой, и в тот же вечер последним поездом выехал на станцию Толмачево.

Переночевав в санатории, еще в сумерках быстро добежал на лыжах к Андерсену на кордон. Пил у него чай в аккуратной, чистенькой комнате; Андерсен рассказывал, что нашел берлогу случайно: шел по обходу, услышал лай своей собачонки, подошел — понял, отозвал. Медведь лежит километрах в двух от кордона на краю елового леса, большим клином вдающегося в открытое, с мелким корявым сосняком болото. Я попросил показать обход.

С проселочной дороги, усыпанной сеном, испещренной по легкой свежей пороше заячьими следами, мы свернули резко в сторону и вышли на кромку открытого болота. Оно растянулось на добрые два километра, окаймленное синеющим вдалеке лесом. Это слева. А справа тянулся густой ельник мыса.

Мы пошли по лыжне, припорошенной, но явно заметной, я бы сказал — нахоженной вдоль кромки леса. Андерсен впереди, я позади. Прошли метров четыреста, пятьсот, Андерсен остановился и показал палкой вправо на толстую сухую осину с обломанной вершиной.

Сейчас же у корня этого дерева поднялась широколобая круглоухая медвежья голова и пристально посмотрела на нас. До нее было метров двести. Я с досадой, прямо с ужасом подумал: «Все пропало, все кончено — сейчас выскочит и уйдет!» — коснулся палкой спины Андерсена и прошипел:

— Не останавливайтесь, молчите.

Андерсен пошел; отойдя порядочно, обернулся и негромко сказал:

— Не бойсь — смерный, кажный рааз мотрит.

Мы обошли мыс, и я наметил поперек его основания, по старой дороге стрелковую линию. Не знал, сколько охотников приедет, решил — по прежнему опыту — не больше половины записавшихся. Тихо, стараясь не только не ломать, даже не задевать ветки, прошли мы с егерем стрелковую линию туда и обратно, я лыжной палкой на снегу крупно чертил номера.

За завтраком Андерсен деликатно поинтересовался, получит ли он что-нибудь за берлогу. Он был лесником в нашем хозяйстве, а не штатным егерем, потому имел право на полное вознаграждение. Я назвал цифру из расчета с пуда зверя. Видимо, довольный, он только спросил:

— Если мимо — не битый?

— Промажем — все равно будем платить.

Андерсен рассмеялся:

— Упежал — какой пут? Как весить?

Тут уж я рассмеялся — верно: убежит — не взвесишь. Пояснил, что в таких случаях принято считать шесть пудов, — из этого и расчет.

С великим трудом я дозвонился из Толмачева до Заварзина, сообщил, что все хорошо, проверено и можно устраивать охоту.

Охотники приехали в санаторий «Железо» на следующий день: восемь членов кружка и Николай Золотарев из Зоологического института. Он привез отношение из ЗИНа, содержащее просьбу разрешить взять из туши медведя кое-какие интересующие исследователей органы: поджелудочную железу и что-то еще, уже не помню.

Приезду Коли я обрадовался: знал его со студенческих лет как члена охотничьего кружка и рассчитывал на его помощь. Дело в том, что облаву я задумал не простую, точнее, не обычную. Стрелковая линия пролегала через довольно узкую часть мыса при переходе его в основной лесной массив. Если кричан поставить близко к линии, зверь не пойдет куда надо, несмотря на то, что пята именно там. Вот я и решил сильно увеличить количество молчунов и, так как медведь лежит почти открыто, заводить облаву с двух сторон. С таким делом немолодой Андерсен не справится, а наш старший егерь Махутин, если выпьет — что почти неизбежно, — может все напутать. Коля сразу все понял.

Алексей Алексеевич Заварзин.

Приехали наши самые азартные охотники и милые для меня люди: большой, грузный Алексей Алексеевич Заварзин, всегда веселый, умно-ироничный и беспредельно доброжелательный, в будущем академик, лауреат, автор классических учебников гистологии, по которым учились и сейчас учатся тысячи студентов; Илья Васильевич Гребенщиков, также будущий академик, один из отцов советского оптического стекла, технологии поверхностной обработки оптических деталей, так называемой просветленной оптики (до сих пор храню в письменном столе его памятный подарок — кусочек зеленой палочки пасты ГОИ), крупнейший ученый-горняк профессор Сольдау и другие, тогда еще менее известные ученые, члены кружка.

После ужина — в те годы традиционно обильного, однако при скромнейших возлияниях — все собрались в одной комнате. Алексей Алексеевич сказал:

— Тезка! Как забавно — люди явно побаиваются: охота ведь необычная. Шумели, шумели: «Едем! И я! И я!» На собрании было тридцать, записалось шестнадцать человек, а на вокзале — восемь.

Все слышали и промолчали. Каждый приехавший почувствовал себя немного героем.

Спрашивали меня о медведе: где? какой?

Я рассказал, не опустив и такой редкой подробности, что зверь подымал голову при нашем обходе. Предположил, что это медведица и в берлоге медвежата.

— Это опасно? — сразу вырвалось у кого-то из присутствующих.

Не простой вопрос, ох не простой!

По обывательским сведениям, медведица зло и самоотверженно бережет свое потомство.

Обязательно расскажут: «Вот в соседней деревне один мужик встретил в лесу медвежонка, запихнул в мешок, понес домой, так она догнала, отняла и таких плюх мужику надавала, что его с лесу прямо в больницу на полгода». Или: «А вот в нашей деревне одна женщина в малиннике — нос к носу, а малыши ей в ноги, медведица пошла наверёх и уж катала-катала бабу по земле, и всю-то всю обхаркала, оплевала. Женщина эта полгода говорить не могла: от страха язык потеряла. Не дай бог встретиться!»

Так утверждает людская молва. Однако все, без исключения, лесники и промышленники, что не раз и не два встречались с медвежьими семейками, говорят другое: «Попугать попугает, если нарвешься, зафырчит, сделает несколько прыжков в сторону человека и отвернет, обязательно отвернет».

И еще удивительно. Из многолетнего опыта, описанного в «Книге охот Лисинского хозяйства», можно вывести заключение, что, поднятая из берлоги, напуганная людьми, медведица не всегда возвращается к медвежатам, — уходит и ложится одна в новую берлогу. Даже на охотах, где я участвовал, было два таких случая.

Пожилой, очень дельный и выдержанный охотник, профессор Сольдау сказал: «Пожалуй, лучше всего стрелять медведя, когда он, перед тем как напасть, поднимается на задние лапы — тут он неподвижен и открывает самые убойные места».

«Перед тем как напасть, поднимается на задние лапы», или, как говорят в деревне, «идет наверёх», — и это устоявшееся мнение пришлось мне опровергнуть. Когда медведь встает на дыбы, он насторожен, удивлен, он хочет разобраться — сверху и видно лучше — в том, что перед ним. Тут нет ни озлобленности, ни воинственности.

Бросается медведь на человека низом, на всех четырех. Редко это бывает, очень редко, — раненый или когда застанут его за трапезой.

Ко мне подошел Илья Васильевич Гребенщиков. Я его хорошо знал по кружку, не раз бывал с ним на охоте. Высокий, широкоплечий, очень красивый, постоянные темные круги у глаз придавали его лицу что-то театральное. Илья Васильевич, как всегда стесняясь, если дело касалось его личных интересов, спросил:

— Алексей Алексеевич, можно мне взять с собой на номер сына Ильюшу? Под мою ответственность. Я его буду охранять. Вот он.

Ко мне подошел высокий, совсем еще молодой мужчина, пожал руку:

— Илья. Если можно — возьмите.

Я спросил, есть ли у него ружье, какое, просил показать.

Илья Васильевич Гребенщиков.

Илья Гребенщиков — младший.

Ружья всех приехавших охотников, как положено, осмотрел еще до ужина. Илья Ильич принес

фроловку — одностволку двадцать восьмого калибра. Не очень подходящее оружие! Подумалось: с отцом на одном номере, — разрешил. Конечно, это была слабость с моей стороны, некоторое попущение. Уже второе. До этого Коля Золотарев с улыбкой принес и вынул из чехла винтовку-маузер. Я сказал, что у нас на медвежьих охотах нарезное оружие категорически запрещено. Он ответил: «Знаю, я ведь не на номере и стрелять не буду — это так, для самообороны». И тут я уступил. Золотарев, по моему замыслу, должен был завести крыло загонщиков и стать молчуном, ближайшим к последнему номеру стрелковой линии.

С выездом задерживаемся, хотя лошади были поданы вовремя, еще в полной темноте. Безалаберность. Канитель. Я разрываюсь на части. Бог ты мой!

— Алексей Алексеевич, ружья здесь расчехлить или там?

— Что надевать, сапоги или валенки?

— Термос с чаем можно взять на номер?

— Алексей Алексеевич, как же так: вы сказали, с места не сходить, а если он на соседа кинется?

— Сколько надо пуль? У меня патронташ на восемь — хватит?

Я и смеюсь, и начинаю сердиться. Все это вчера было оговорено, рассказано. Не слушали, что ли?

«Где моя шапка? Я не могу на морозе без шапки!» — пожилой, с черепом голым, как куриное яйцо, охотник мечется по всем комнатам, разыскивая свою пропажу. Старается не слышать советов доброжелателей: «Повяжите на голову шарф, косыночкой», «Хотите шерстяные носки? — у меня есть очень большие — как раз». Потерпевший в отчаянии надевает полушубок — и… там, в рукаве, его шапка. «Никогда, — ворчит он, — не запихиваю в рукав, это кто-нибудь поднял».

На улице шум, перебранка. Выскакиваю — так и знал, Махутин. Он наш старший егерь, из семьи известных в Ленинграде профессиональных егерей, мастеров на все руки, от зверовых охот до тонкого дела натаски легавых. Я был невысокого мнения о нашем Махутине по двум причинам. Первая — его приверженность к выпивке. Этой зимой Махутин поехал встречать в Толмачево наших кружковцев и пропал. Лошадь с санями нашли у кого-то в деревне, двустволку — кружковское имущество — со сломанным прикладом в милиции. Алексей Алексеевич Заварзин по доброте душевной и глубокому убеждению в неразрывности и неизбежности дубля «егерь — водка» до поры до времени миловал Махутина. Вторая причина моего неодобрительного отношения — неоднократно приходилось мне сталкиваться с Махутиным на облавах. Терпеть не могу «лихих», шумных облав, когда егеря и кричане палят, благо патроны казенные, во все стволы, испуганные звери мчатся куда попало. Наш Махутин — приверженец именно такой системы. На меня он смотрит снисходительно.

На этот раз причина шума — ссора с подводчиком. Несмотря на категорическое распоряжение председателя из санатория никуда не отлучаться и ночевать в отведенной ему комнате, наш доблестный егерь навестил — «имею полное право!» — куму в поселке и пришел сильно навеселе. Обрушился на старика эстонца, что тот приехал за седоками на простых дровнях и запряг в них старого мерина: «Чертов пень! Сказал тебе — розвальни и побольше сена, на молодой кобыле, чтобы с вожжей — мигом доставить! Твой серый, гляди, по дороге копыта откинет».

Старик подводчик был невозмутимо ироничен:

— Не кричи, Мишка, мой лошадь водка меньше пьет, тебя на кладбище свезет. Тумать надо — молодой лошадь к стреляный медведь близко не идет. Как везешь?

Задержались с выездом. Сразу от санатория попали в лес. Вереница саней долго и нудно ныряла по ухабам и болталась по раскатам разъезженной дороги. И возчики, и седоки облегченно вздохнули, когда передовые сани круто свернули и пошли вцелик прямиком через открытое, большое, как озеро, болото.

Остались позади пестрая канитель света и теней в разреженном сосняке, талые кольца у подножья рыжих стволов, присыпанный палой хвоей и древесным мусором снег. Впереди гладь, девственная снежная ослепительность. Глазам больно.

Сани пошли ровнее и тише. Сразу стало слышно, что в нескольких местах — кажется близко — поют тетерева, славят яркое солнце и голубые глаза марта: «О-го-ро-уа-уа-уа! О-горро-уа-уа-уа! О-горро-уа-уа-уа-уа!» Дивная песня — никого не оставляет равнодушным. Оживились, повеселели седоки, переглядываются, руками показывают туда, где — «ей-богу, совсем рядом» — на вершине дерева гремит веселая, синяя, плотная пером птица.

Что-то странное делается на передних дровнях: все встали, поддерживают друг друга. Побежал выяснять развеселый Махутин, а нам и без него ясно: на середине мшарины под снегом вода — выше копыльев. Не беда, дно еще не вышло, лошади идут легко и смело. Беда не в деле, а, как часто бывает, в пустяках. Махутин хотел прыгнуть на ходу в сани, промахнулся и под общий хохот грохнулся мимо, разбрызгивая шматки снежноводяной каши. Что с ним делать? Он грубо отказался вернуться домой переодеться, заявил, что просушится у костра загонщиков. Ну и черт с ним! В конце концов, взрослый человек, сам за себя отвечает. Надоело с ним возиться.

В лесу на поляне большой костер. Греются, болтают загонщики, возятся, кто помоложе. Не обманул Андерсен — привел вовремя. А вот он сам:

— Тэре, Алексеич. Все порядке. И она там.

— Обходил? Я же не советовал…

— Верней будет.

— Сколько набрал загонщиков?

— Двадцать пять.

— Отбери восемь понадежнее — в молчуны.

— Сейчас.

Замечаю, что к разговору прислушивается младший Гребенщиков, а подойти ближе стесняется. Понимаю его: бывало, сам интересовался разговорами старших охотников, егерей. Подозвал Илью Ильича, при нем доканчивал разговор с Андерсеном. Договорились, что облава будет стоячая — берлога-то известна, — что молчунов поставим по четыре с каждой стороны, заводить облаву будем с двух сторон. Один фланг поведут Золотарев с Махутиным, другой — Андерсен. Он же, не торопясь, поднимет медведя.

Подводы оставили у костра примерно в километре от оклада. Дальше всем придется идти на лыжах. Минут через сорок после стрелков тронутся в путь загонщики. Стрелки расчехлили ружья, надели белые халаты и шапочки. Кинули жребий. В его порядке потянулись за мной цепочкой на широких лыжах (имущество нашего кружка).

Иду еле-еле, нога за ногу, и не позволяю себя обгонять. Только бы не вспотели люди — тогда трудно будет неподвижно стоять на номере. Правда, желающих обгонять и не нашлось. Тяжело идут люди по рыхлому снегу — нетренированные, за зиму засидевшиеся. Еще на лыжах кое-как, а когда за сотню метров до первого номера я распорядился лыжи снять и идти пешком, — совсем стало плохо: запыхавшись, останавливались.

Трудно было, хотя я и мои помощники егеря старались протаптывать снег как можно сильнее. Получилась на стрелковой линии глубокая канава. Становились на номера потихоньку, без вопросов: заметит стрелок на снегу свой номер — шаг в сторону и на меня посмотрит. Я кивну — дескать, верно,

желаю удачи.

Поставил последнего, восьмого, вернулся на свой второй номер. Осторожно отоптался, показался соседям, они мне: слева профессор Кротов, знаменитый лесопильщик, справа Заварзин, дальше за ним хорошо видны Гребенщиковы — отец сидит на раскладном трехногом стуле, сын стоит рядом. Стрелковая линия чуть поворачивает в густом ельнике — никого не видно. Знаю, что там Мокринский.

В охотничьем нашем деле частенько и подолгу приходится ждать — на облавах, глухарином подслухе, с хорошими гончими. Для многих тягостно. Знаю охотников, что никогда не сядут в шалаш на тетеревином току, в скрадок с утиными чучелами, даже на вальдшнепиной тяге им не стоится, если лет плохой — бегают с места на место. А я люблю затаенное охотничье выжидание. И нигде никогда так хорошо не думается.

С хода жарко. Халат завязан на спине — ватник не расстегнешь, только шапку снял — голову остудил. Оглядываюсь. Лес уже не зимний: солнце согнало-скинуло нависть с деревьев. Хвоя зеленая-зеленая, и весь ельник как бы распахнулся — то там, то тут видны чистинки, прогалинки. На старой канаве как кровью налились ветки краснотала. Юркий пухляк бесконечно перепархивает около меня, вот совсем рядом с моим плечом — могу рукой достать — застыл в изумлении: пытливый глаз, клюв-шильце. Прошуршала крыльями стайка белых куропаток. Славные чернохвостики, ловко скользя между ветками, опустились на снег и разом побежали, как шарики, брошенные быстрой рукой, и скрылись из глаз. Все ясно — правое крыло загонщиков спугнуло их на болоте.

В левой стороне на вершине высокого дерева застрекотала и не хочет замолчать сорока. Так, понятно, — заходит и левый фланг.

Тишина, тишина.

Чуть слышный шорох… широко растопыривая лапы, не торопясь, выбежал заяц. Сначала только черные ушки замелькали, потом вот и он сам — большой, белый, по сравнению со снегом — чуть с легкой желтинкой. Рядом со мной он выскочил на гребень протоптанной стрелковой линии, побоялся спуститься вниз, побежал вдоль нее, вернулся и скинулся резвым прыжком в сторону оклада. Вот заячья двойка, сделанная на глазах, — обычно мы видим только след на снегу.

Рассказываю, что видел, стоя на номере. Можно подумать: весело стоять — то одно, то другое, прямо как на бойком перекрестке. Нет-нет, не так, — время тянется томительно долго, а думы? Это верно, больше хорошие, но…

Как часто бывает в эту пору — откуда ни возьмись тучка, плотная, серая. Быстро набежала, разрослась, погасила солнце и все теплые краски леса. Обильно посыпалась, застучала по плечам, запрыгала хлесткая крупа. Холодно вокруг, и мне зябко и страшно. Нет! Не медведя боюсь — не в первый раз, уверен в себе, в ружье, патронах и в спокойном прицеле. За других страшно. Как я, распорядитель, мог допустить пьяного Махутина в оклад? Позволить Коле стать на номер с винтовкой? И хуже всего, из ума не идет, — эта трубочка-кочерга, фроловка у младшего Гребенщикова. Одно утешение — отец, старый охотник, рядом.

Непростительно все это, непростительно.

В ныряющем полете появился черный дятел-желна. Прилепился, как приклеился, к березовому стволу, спрятался за него, высунул длинноклювую голову, поглядел на меня, закричал плачуще: «Кья-у-у!»

Неожиданно и нелепо грохнул выстрел. Неожиданно — потому что до условленного сигнала, нелепо — потому что не на стрелковой линии, а в стороне берлоги. За первым выстрелом — второй. И только тогда запел рожок Андерсена, возвещая начало охоты. Как далекий прибой, зашумела облава. Разом появилось солнце — будто выстрелы проткнули тучу, стих ветер, и на стрелковой линии воцарилась настороженная

тишина.

Сухо, как пастушеский кнут, хлестнул выстрел — явно винтовочный и в противоположной стороне от первых выстрелов. Знаю, там Коля — крайний молчун у стрелковой. Не выдержал, значит, не сдержал слова.

Впереди, в окладе, легкий треск сломанного сучка. Шуршание снега. Что-то темное мелькнуло среди елок.

Илья Васильевич, не вставая со стула, целится.

Из оклада, косолапя, галопом, легко, будто не по глубокому снегу, а по твердому, ровному бежит на стрелковую медведь.

Илья Васильевич стреляет. Выстрел странный — глухой и как бы с оттяжкой.

Зверь — вижу хорошо — чуть споткнулся и пошел тише.

Второй выстрел — осечка. Гребенщиков резко переламывает ружье, успевает перезарядить — эжекторы выручили, — тщательно, спокойно целится.

Медведь выскочил на стрелковую линию, опустил передние лапы в траншею — замер, оглядывается.

Тишина, страшная тишина.

Зверь зол, но не видит и не слышит никого.

«Зиньк!» — звонко, на весь лес, лязгнул боек.

В ту же секунду медведь кинулся на звук по снежному желобу прямо на Гребенщикова.

Второй осечки я не слышал — бежал на помощь. Соскочил в сторону, чтобы не мешать стрелять, мчался изо всех сил; проваливаясь, помню, застонал визгливо от досады, от беды — ведь если и не смерть, так больница несомненно! Правее меня в ту же сторону, задыхаясь, проламывал снег Заварзин. Стрелять нельзя — впереди люди.

Вижу — встал Илья Васильевич со стула, ружье в снег бросил, тащит из ножен кинжал, громко кричит: «Дура! Дура!» Не нашел впопыхах других слов.

И вдруг слабенький щелчок выстрела.

Медведь ткнулся носом в снег в двух шагах от Ильи Васильевича. Недвижим. Подбегаю — зверь живой: уши прижаты. Стреляю в упор в ухо — конец.

Как же все так получилось?

Поднимать медведицу направился Андерсен. За ним увязался Махутин — знал, где берлога, — обогнал старика и, подойдя почти вплотную, выпалил из двустволки. Андерсен был вынужден подать в рожок начало охоты. Медведица вскочила, пошла сразу большим ходом — и не на стрелковую линию, а на правый фланг. Показалась из чащи на кромке болота. Здесь выстрелил из винтовки Коля Золотарев. «Не в нее, — говорит, — а перед ней в снег, чтобы завернуть в оклад». Так или не так, но медведица вернулась в оклад и вышла на стрелковую между Заварзиным и Гребенщиковым, ближе к ним. Первый и единственный выстрел Ильи Васильевича пришелся неудачно — пуля попала в плечевую кость. Звук осечки привлек внимание раненого зверя, и он «пошел на драку».

Илья Ильич стрелял из своей фроловки на штык. Маленький жакан попал в ребро, раскрылся и ушел вдоль бока, там остался под кожей. Кусочек пули величиной с горошину (может быть, чуть больше) отщепился и поразил спинной мозг между двумя позвонками.

Все это я узнал позже, когда Коля Золотарев, несколько смущенный — то ли герой, то ли нарушитель порядка, с помощью двух егерей снял шкуру и разделал тушу.

Тогда же на месте, когда я убедился, что дело кончено, просигналил отбой и предложил всем идти к костру. Обогнал всех, встал на лыжи — и к берлоге: помнил, что зверь голову поднимал. Под корнями сломанной осины в неглубокой яме, неаккуратно устланной еловыми ветками, вяло копошились, попискивали три медвежонка. Только стал соображать, как снять с себя что-нибудь, чтобы укрыть зверят, как увидел Андерсена. Прямо по снежной целине он подъезжал к берлоге. Ясно, что и тулуп захватил.

У большого костра оживление. Выпили уже по чарочке «на крови». Хоть и не молодые люди, но почти у каждого на поясе фляга с пробкой-чарочкой. Потчуют друг друга: «У меня грузинский». — «У меня собственной выделки». — «Бросьте вы ваши крепкие, у меня чистейшее сухое напареули».

Илья Васильевич пьет коньячок. Смущен — такие безобразные осечки! Подхожу. Торопится и меня угостить:

— Держите чарку — отличный ереванский, презент друга.

— Спасибо! С удовольствием. А что у вас с патронами?

Гребенщиков откидывает крышку восьмигнездного патронташа:

— Вот они… что осталось.

Я беру первую пару, заряжаю ружье. Все на меня смотрят. Стреляю в воздух. Тик! Тик! — две осечки. Беру следующие — осечки. Так ни один и не выстрелил.

— Илья Васильевич, откуда у вас это?!

— Ну, уж извините, — прекрасные, по моему заказу. От Чижова. Чижов — на Литейном магазин.

— Сколько же им лет?

* * *

Из оружейного магазина Чижова.

ЛЮБИМЫЙ ПОМЕРАНЦЕВ

В приемной у стола с целым выводком разнокалиберных и разноцветных телефонов сидела важная очкастая дама-секретарша. Напротив нее — невысокий, часто улыбающийся человек. Посетитель вел негромкий, но оживленный разговор, доставляющий явное удовольствие собеседнице.

Я сидел поодаль, сонный, потому что почти не спал. Приехал в министерство еще днем, показал вызов, мне сказали:

— Министр вас примет в три часа.

Часы показывали четыре. Я спросил:

— Завтра?

— Нет, сегодня ночью. Где вы остановились? За вами придет машина.

Удивился. Давно не бывал в Москве и не знал, что все высокие чины теперь ведут особый образ жизни. Они почти не выходят из своих кабинетов, для обеспечения существования рядом имеется дополнительная комнатка: можно подремать — и туда же подается завтрак и чай. Работа длится всю ночь, затем краткий утренний отдых — это уже дома — и вскоре опять на работу. Такой распорядок принят потому, что «Сталин никогда не спит, светится его одинокое окно в Кремле, оттуда в любое время может прозвучать телефонный вызов нужного человека».

Дверь открылась; мягко ступая по ковру и что-то договаривая, вышли несколько человек. Секретарша встала, развела и соединила руки, как бы объединяя меня и человека, с которым болтала, пригласила:

— Проходите.

Уступая друг другу в дверях большого тамбура, мы вошли в обширный высокопотолочный кабинет. За широкими окнами с очень низкими подоконниками виднелся оживленный проспект Горького. Министр был один, сидел в генеральском мундире за массивным столом под портретом Сталина такого размера, что крупная фигура Георгия Михайловича Орлова казалась миниатюрной.

Не вставая с места, министр показал на два стула перед его столом:

— Садитесь.

После рукопожатий и маленькой паузы:

— Знакомьтесь — Виктор Владимирович Померанцев, доцент Ленинградского политехнического института, — кивок в сторону моего спутника. Так же с кивком в мою сторону был представлен и я. Затем

сразу к делу: — Хотим на заводе «Вахтан» отработанную щепу не просто сжигать в топках котла, а использовать комплексно, заняться новым делом — энергохимией, брать от твердого топлива не только тепло, но и химические продукты. У нас еще пока никому не удавалось — правда, Академия наук занялась этим, но для углей, а не для древесины. Мне сказали, что ваша топка — (поклон в сторону Померанцева) — подойдет для такой задачи. Вот и давайте стройте топку на «Вахтане», а химическую часть, улавливание продуктов, поручим Ливеровскому — (кивок в мою сторону). — Все детали в главке, там знают.

Чтобы больше не возвращаться к этому кабинету, где многие, не только я, чувствовали себя неуютно, расскажу о втором и последнем его посещении. Через несколько месяцев мы с Померанцевым по собственной инициативе, без вызова, привезли проектные материалы. К этому времени, работая над проектом и «пробивая» все дело по инстанциям, мы очень подружились, в главке и министерстве даже получили кличку — «братья-разбойники».

В приемной было многолюдно, но секретарша что-то сказала в трубку, и мы были приняты без очереди. Министр встал, пошел к нам навстречу, сказал сидящим за огромным столом:

— Все вон к… Впрочем, пусть… вот вы, вы и вы, — тыкал он пальцем, — останьтесь, поучитесь настоящему делу!

Он снял мундир, повесил его на спинку стула и просил развернуть чертежи. Со вкусом стал их разглядывать, разбирать, временами утвердительно вполголоса матерясь — уж такой стиль был у него, да и у многих других руководящих в то время.

Здесь надо пояснить, что по образованию он был инженер, кончил тот же, что и я, химико-технологический факультет, построил в ГУЛаге несколько заводов и был назначен министром. О том, как это произошло, рассказывают так: на докладе у Сталина несколько крупных строителей; Сталин не в духе, торопит, куда-то ему надо было ехать, говорит: «Осталось пять минут, кто возьмется доложить?» Взялся Орлов, развернул два альбома фотографий, толково доложил основное, уложившись в срок, — и Сталин назначил его министром. Так рассказывают.

Георгий Михайлович Орлов, внимательно рассматривая наши чертежи, поглядывал на оставшихся в кабинете презрительным взором инженера, — они-де бюрократы! Два раза по ходу дела поднимал трубку телефона: «Лаврентий Павлович! Тут у меня наука. Помоги в одном деле, ладно?» Первый разговор, помню, был по поводу дефицитной нержавейки, второй — забыл.

После первого приема мы с Померанцевым выходили вместе. Тут меня ждало маленькое приключение. Пропускали тогда, особенно в министерский этаж, строго: в трех местах проверяли пропуск, зорко и неоднократно переводя взор от карточки на паспорте к вашему лицу. И на этот раз я, ничего не подозревая, спокойно предъявил подписанный пропуск и паспорт. Проверяющий неожиданно сказал: «Подождите. Отойдите в сторону!» Нажал какую-то кнопку. Мигом появился начальник. Проверяющий объяснил: «Пропуск на одну фамилию, паспорт — на другую». Я не мог ничего понять, чувствовал себя виноватым. Задержали, увели в особую комнату. Оказалось, что вместо моей фамилии на пропуске написали «доцент», взяв это слово из командировочного удостоверения. Выясняли дело довольно долго. Виктор терпеливо ждал меня, прогуливаясь перед входом в министерство под недовольными взглядами наружной охраны.

Впечатлений было столько, что мы решили не разъезжаться по домам, забрались в ближайшей пивной за угловой столик. Сидели долго. На улице повалил снег, я сказал:

— Эх, поскорей бы из Москвы — первая пороша!

Виктор обрадовался:

— А вы охотник?

Понравились мы друг другу. Решили возвращаться в Ленинград вместе, взяли билеты на «Красную стрелу» в один вагон. Купе было двухместное, и мы болтали до поздней ночи. На технические темы уже наговорились досыта, шла речь об охоте.

«Как хорошо здесь!» (Май 1963 г.).

Он любил природу всякую и в любое время года.

Оказалось, что он начал охотиться на родине, на Амуре. Страшно хвалил те места, что касается самой охоты — мне не удалось вытащить из него что-нибудь вразумительное. Больше всего рассказывал про рыбу калугу, которая достигает невероятных размера и веса. Однако оказалось, что у него есть охотничья собака, и мы договорились в первую же субботу поехать вместе. Поехали на машине Померанцева на Волхов, рассчитывая застать там еще гаршнепов, а может быть, и тетерева в теплый полдень подпустят.

Не буду рассказывать о той неудачной охоте. Джойс — крупный ирландский кобель — гонял все, что взлетало, гонял настойчиво и страстно. Виктора Владимировича утешило и даже порадовало, что за этот поход Джойс извлек из камышей и притащил ему двух живых кряковых подранков. Мне стало совершенно ясно, что Джойс чистейший утятник, и, скажу откровенно, это наложило известную тень, с моей точки зрения, и на его хозяина, как на охотника. Утятники в нашей компании уважением не пользовались.

Меня интересовало, почему такой чисто технический, далекий, казалось бы, от природы человек был таким страстным охотником. Позже пришел к выводу, что он любил природу всякую: и лес, и реки, и озера, и горы. Любил нежно, постоянно и активно. Бывало, выйдем из машины — раскинет руки, вдохнет несколько раз глубоко-глубоко и, совершенно не считаясь с погодой, будь то жара, снег или холод, скажет: «Ой, ребята, как хорошо здесь!» Кроме того, Виктор был человек компанейский. Совершенно не представляю себе, чтобы он мог поехать на охоту один, даже со своей любимой собакой. Не менее чем от самой охоты, он получал удовольствие, находясь в компании. Он был постоянно весел, оживлен, остроумен и неутомим. У него всегда были собака и машина, которые, как он шутил, выгоняли его из дому.

У нас в компании вначале машин не было, и мы с удовольствием пользовались его услугами. Хорошо помню эти поездки: в зеркальце видны внимательные голубые глаза Виктора, а когда он на секунду

поворачивал голову, показывалась гладкая розовая щека, седые виски, квадратный подбородок — принадлежность мужественного лица, — однако под ним прятался другой, маленький, круглый. Перед ветровым стеклом, на фоне бегущей под колеса серой ленты асфальта, неизменная замурзанная кепка Померанцева. В нашей компании уверяли, будто она служит для мытья кузова перед въездом в город, из нее же доливают в двигатель масло; больше того, если машина забуксует, хозяин кидает кепку под колеса вновь и вновь, пока не выберется; и был случай — при ночной аварии знаменитый головной убор, пропитанный бензином, послужил отличным факелом.

Померанцев был шофер-первооткрыватель. Первая машина — «Мерседес-Бенц» — появилась у него с незапамятных лет, когда автомобили вообще были редкостью. Он с нежностью вспоминал ту первобытную телегу. Здорово знает современные машины, но относится к ним как к той, первой. Считает, например, что заводится двигатель или не заводится — это вроде как от бога. Никогда не отвечает на вопрос о времени приезда: «Машина — не лошадь», или: «Это вам не пешком». Тут он на уровне бородатого пращура, отправлявшегося в путь, уповая на благосклонность родовых идолов. Заправляет он машину не заранее, а укомплектовав полностью пассажирами; бесконечно заезжает по попутным делам, считая, что, если вы сели в машину, должны быть счастливы, так как попадете куда нужно все равно раньше, чем на трамвае, поезде и прочих устарелых видах передвижения. Получается это не всегда. Любимые привычки: высадить пассажира на повороте за полкилометра от дома, заставить на глазах у вашей спутницы помогать демонтировать колесо или мыть кузов.

Теперь у всех его друзей завелись машины, и каждый хочет угостить своей. Виктор соглашается на это неохотно и, уж если поедет, любого водителя считает своим учеником, садится рядом и орет на него, как одесская базарная торговка. При всем том добрее и милее его нет человека на свете. Виктор нежно любил кошек, собак и женщин. Мужчин — избирательно, и они ему отвечали тем же. Он был совершенно неумолим к любой халтуре в науке, сам был великолепным, чрезвычайно эрудированным ученым, с глубоким знанием фундаментальных наук — математики и физики. Ему приходилось давать самые жесткие отзывы — правда, всегда по делу и нелицеприятные — соискателям всяческих степеней и наград.

Что касается его любви к животным — трогательно было наблюдать, как он стеснялся согнать кота, если тот раскинулся и спит на его стуле, или ударить собаку, даже когда она этого вполне заслуживала. В результате все его охотничьи собаки были отчаянно распущенны и с ними было даже нам, его друзьям-соохотникам, трудновато. Они не приходили на свисток, не знали своего места. Можете себе представить, например, такую картину: после дня работы в болоте мокрый и грязный до ушей любимец Померанцева выжлец Пиф врывается в избу лесника, где мы остановились, и с ходу прыгает на ослепительное покрывало кровати хозяйки.

На речке Кересть. 1965 г.

Мы устремлялись на призывный клич Виктора и определяли след.

Виктор Владимирович любил всяческое мастерство и старался его достигнуть. Помнится, он лазал в теплую топку котла, чтобы посмотреть, как делается ремонт прогоревшего свода, и сам принимал в этом участие. Познакомившись с нашей компанией, он понял, что перед ним охотники опытные, особого толка, строгой этики, и безоговорочно присоединился. И здесь он проходил ускоренное обучение. Он постиг тайны глухариного тока, научился подстаивать зверя на гону, разыскивать тетеревиные выводки и стрелять из-под собаки юрких бекасов. Единственное, чего он так и не постиг (и я до сих пор не могу понять почему), — это определение следов на снегу, то, что в нашей компании было азбукой и высоко ценилось. К примеру, там, где мало было зайцев, мы, стараясь помочь гончим, ходили, искали следы. Тот, кто найдет след-малик, должен был оповестить криком или трубой. И вот частенько раздавался призывный клич Виктора, мы устремлялись к нему — и определяли след… белки. Это бывало настолько часто, что беличий след мы стали называть МПЗ — малый померанцевский зайчик. Досады большой тут не было, только веселый смех.

А вот доброта и потакание Виктора собакам частенько нас огорчали. Помнится, мы вчетвером: Померанцев, профессор А. С. Мальчевский, научный сотрудник Модест Калинин и я — поехали на охоту по серым куропаткам на Псковщину к дяде Осе. Помимо надежды хорошо поохотиться, к чему имелись все основания, так как моя ирландка Искра к тому времени вышла победителем на полевом чемпионате области, было намерение с помощью опытной собаки поднатаскать молодого померанцевского ирландца Ясного.

Красивая осень, уютная избушка, маленький сад с великолепными яблоками, которые можно было (большой урожай и отсутствие сбыта) рвать неограниченно, делали эту поездку очень приятной. Сам дядя Ося, дед уже в больших годах, — охотник страстный. Любопытно, что он, деревенский охотник, всегда

держал кровных английских сеттеров и, что еще примечательнее, всех натаскивал сразу с анонсом. С первого же поля приучал легавую, найдя птицу, немедленно вернуться, «доложить» хозяину и повести.

В первую половину дня мы добыли несколько куропаток, а потом, по-прежнему все вместе, пошли обучать Ясного. Помню прекрасно широкое жнивье, отдельные кустики, бархат озимей. Виктор держал Ясного на канате (так мы называли чок-корду, толщенную веревку, привязанную к ошейнику кобеля). Потертая веревка часто рвалась, и мы советовали Виктору завести якорную цепь для его дикого зверя. На середине небольшого лужка перед кустиками ивняка Искра уверенно потянула и стала. Я обернулся, поманил Виктора рукой: «Подводи!» Стоя рядом с моей изящной ирландкой, я услышал сзади хриплое дыхание Ясного, затем звук — как от лопнувшей басовой струны, энергичный карьер. Ударив меня боком по ногам, Ясный грудью сшиб Искру — она покатилась в траву, а он почти поймал одну из пары взлетевших куропаток и проводил их до горизонта.

Мы были опять изрядно огорчены. Сошлись вместе. Все, кроме Мальчевского. Он, как всегда, отошел в сторону, слушал голоса птиц, великим знатоком которых был. Слышим, кричит: «Давайте сюда!» — показывает рукой вниз. В полном недоумении подходим. «Смотрите — шампиньоны!» Действительно, на опушке росла масса этих грибов, в те годы для нас еще малоизвестных. Собирали — правда, с некоторым недоверием — прямо в рюкзаки. Вечером, когда к молодой картошке подали искусно поджаренные Алексеем Сергеевичем шампиньоны в сметане, все разом заявили: ничего вкуснее не ели в жизни!

Остался в светлом уголке памяти ясный день и прозрачное небо Псковщины, яблоки такие сочные, что в них можно захлебнуться, впервые узнанный вкус замечательных грибов шампиньонов и, как всегда, — радость охотничьей дружбы.

По работе жизнь нас с Виктором связала накрепко. Хотя оба мы были доцентами высших учебных заведений в Ленинграде, много дней и даже месяцев проводили в Горьковской области, на заводе «Вахтан». На этом канифольно-экстракционном заводе в топке Померанцева сжигалась щепа, из которой предварительно были извлечены основные продукты: канифоль, скипидар, талловое масло. Скоростная топка Померанцева (таково ее полное название) позволяла не только получить тепло для парового котла, но и выдавала жидкие продукты химического распада древесины. Рядом с котельной был построен химический цех — это уже мое владение, где надо было получать дополнительные продукты: смолу и уксусно-кальциевую соль. Впоследствии оказалось, что можно получить в этом же комплексном процессе крепители для литейных земель и коптильные препараты. Один из них я назвал в честь завода «вахтолем», — он до сих пор имеет широкое применение. Так впервые в Союзе был осуществлен — и мы с Виктором этим гордились — экономически выгодный комплексный процесс сжигания твердого топлива. За эту работу мы с Померанцевым получили медали ВДНХ.

Мы часто бывали на заводе; дело не простое, и не все шло гладко. Сначала у Виктора в котельной случались взрывы — небольшие, — он называл их деликатно и утешительно для администрации «хлопками». Хотя при одном из таких хлопков, помнится, нас ночью вызвали из Дома приезжих — начисто вылетели все стекла котельного отделения. Виктор был тверд и на следующий день готов был обсуждать с до смерти перепуганной администрацией это происшествие только как хлопок, а не взрыв, — уверял, что это нормально при освоении новой технологии.

Конечно, мы, сводная бригада ленинградских научных работников, для небольшого химического предприятия, расположенного в глубине области, в лесах, были публикой необычной и запомнились. Приехав туда через много лет, услышали от местных жителей, которые нас не знали, забавные легенды о себе. Однажды на прогулке я застал в лесу рабочих-лесорубов. Посидели, покурили, слышу: «Ты Померанцева знал? Вот человек был! А собака! Пойдет в лес — ружья не берет, только мешок. Собака ему дичи — рябчиков да тетеревов — наловит, он полный мешок снесет в столовую, на кухню, и говорит:

„Кормите всю мою бригаду“». Я понял, что речь идет о перманентной натаске собаки и некоторой невоздержанности Ясного, который мог поймать зазевавшегося тетеревенка — случае, конечно, единичном.

Спросил:

— Померанцев из Москвы?

— Нет, из Ленинграда.

— Зачем он приезжал?

— Он — инженер. Ну, скажу… — тут рассказчик замялся, — про это болтать не надо. У него здесь взрывная топка!

— Зачем это?

— Ну, ты знаешь, с Америкой у нас как. С ним и Неверовский приезжал, тоже из Ленинграда.

— А он что?

— Тоже по этому делу, но тот — мужик серьезный. Утром рано, в столовой, официантка подходит — он ей одно слово: «Мое!» Та уже знает, тащит двести грамм и кружку пива. Неверовский водку выпьет разом, воздух выдохнет — так сделает: ху! — рукавом утрется, пивом запьет, ничем не закусит, идет на производство.

Я не стал опровергать. Знал, что с точки зрения местных жителей умение выпить всегда считалось основным признаком мужской доблести.

Вскоре после нашего знакомства у Померанцева появилась гончая — щенок англо-русской породы Пышма. Кличка ей была дана в память о том времени, когда Виктор помощником машиниста работал на Урале и забирал в свой паровоз воду на станции у этой живописной речки. Выжловочка быстро принялась работать и оказалась весьма талантливой: верно держала зайца, так что впору нашим, уже опытным гончим, а было у нас в компании два смычка.

Очень любил ее Виктор. Однажды не мог поехать на охоту, предложил нам с Романовым взять Пышму в лес. Привез ее ко мне с вечера. Поехали мы со смычком гончих на станцию Еглино — это километров восемьдесят от Ленинграда. Зима была не очень морозная, но снежная. В первый же день после прекрасного гона наших собачек волки догнали и убили Пышму. Она была общей любимицей. В подавленном настроении я входил в дом к Виктору. Как сообщить ему ужасную новость?

Пышма погибла. Мы поклялись отомстить.

В самый разгар зимы большой компанией отправились на охоту за волками. До этого шла большая подготовительная работа. Виктор спроектировал и заказал в мастерских Политехнического института катушки для флагов. Опыта в этом деле не было, получились они очень громоздкими: станины, алюминиевые боковые диски, зубчатая передача, ручки — в общем, тяжело и сложновато. Шнур и кумач доставал я. Три километра флагов шили семьи охотников.

В морозные дни мы поехали в наши любимые и привычные Домовичи, мороз там оказался еще крепче: все дни около сорока градусов. Трудно дышалось и бегалось на лыжах — и все равно было хорошо.

Все члены нашей бригады с вечера получали задание и кроки — карандашные планы местности, куда надо идти. По утрам расходились от дома по радиусам примерно на десять километров и должны были возможно скорее вернуться, доложить «штабу» о всех замеченных следах. Двое из нас — я с зятем Борисом — составляли бригаду «отравителей». Мы уходили за озеро, подальше от жилья и деревенских собак, и там на волчьих тропах, известных нам с прошлого года, намораживали на кустики сальные шарики

с ядом.

Однако нашей отравой волки не прельщались, следов обнаружить не удавалось, морозы не спадали, усиливались. Тем ярче запомнились вечера; изба уже прогрелась, только у порога и в одном углу сохранился иней. Мы сидим у топящейся печи, фантазируем на тему об ужине (а Модест Калинин уже чистит своим ножичком картошку), обсуждаем завтрашние дела — «при температуре ниже семидесяти градусов выход отменяется». С подъемом принимается мой рассказ, подкрепленный «вещественными доказательствами». Я из леса завернул в магазин соседней деревни, он оказался закрытым. Из всех изб слышались голоса и нестройное пение. Оказалось, что все «счастье» в инструкции, по которой в неотапливаемых магазинах водка в мороз ниже сорока пяти градусов должна погибнуть и быть списанной. Местное радио объявило желанный предел, и деревня гуляла на казенный счет. Продавщица в своем доме, не подымаясь с места, указала мне на полный ящик — бери сколько хочешь.

Виктор, хоть и просил меня купить водку, ни в коей мере не был пьяницей, но выпить любил, и — что самое удивительное — никто из нас не видел его в глупом состоянии: выпив, он мог разговаривать на самую серьезную тему, даже оперировать математическими формулами и, к сожалению (или к счастью), водить машину.

В ту поездку отомстить за Пышму не удалось. Ездили мы и с другими компаниями на облавы волков — все безрезультатно, волки уходили. Виктор Владимирович опять завел гончую; мы продолжали всей компанией выезжать на охоты, чаще всего с гончими.

Жизнь шла. За эти годы Померанцев выдвинулся в ряд ведущих теплофизиков Союза, — профессор, доктор наук, заведующий кафедрой в Политехническом институте, потом — заслуженный деятель науки и, как он сам смеялся, постоянный кандидат в члены-корреспонденты АН СССР. По слухам, ему предлагали звание академика, если он переедет в Белоруссию, но он остался на своей любимой, большой и очень активной кафедре.

«Топки Померанцева» строились и работали во всех — к сожалению, очень удаленных — уголках Советского Союза. Мы стали беспокоиться за Виктора: он жил нерасчетливо, жадно, не сбрасывая и малейшего балласта, — таков характер! Ему необходимо было бешено работать: писать книги, читать лекции, пускать и осваивать десятки своих топок — и одновременно активно отдыхать: плавать, бегать на лыжах, гулять по парку с собаками и, конечно, охотиться. Нельзя было так жить. Особенно изматывали его поездки. Бесконечные командировки, всегда торопливо — на самолете; там встреча любимого профессора у трапа, сразу же выпивка и закуска, целый день в котельной, вечером опять застолица, а ночью отлет в другой город — и снова работа и застолица, ночной полет обратно в Ленинград, в семь часов утра — бассейн. И так день за днем.

А. А. Ливеровский. Е. Н. Фрейберг, В. Г. Максимушкин. В. В. Померанцев и «Взбесившийся огнетушитель» (так окрестил В. Бианки машину Ливеровского «Москвич-410» за красный цвет и пристрастие к охотничьим тропам). Лисино. 1972 г.

Как-то Виктор решил поехать со мной на охоту. Сговорились ехать на его машине в четыре ночи, чтобы поспеть в лес к утру, когда конечные следы зайца еще свежие — легче подымать. Гончие наши жили в деревне, нужно было только доехать до них. Я поставил на три часа будильник, приготовился. Ровно в четыре часа услышал рокот машины. Из нее никто не вышел. Я взял ружье, мешок, запер квартиру. В «Волге» на заднем сиденье крепко спал Виктор. Ключ в зажигании. Объяснять ничего не надо было. Я сел за руль и повел машину за город. Виктор проснулся и сладко потягивался, когда я уже ставил машину во двор деревенского дома.

На последней охоте, а может быть, предпоследней, мы были в Лисине. С нами три гончие: его Пиф и Пышма-вторая, моя Шелонь. Как всегда, перед запуском — спор: я традиционно предлагаю разделить охоту на две части, одна — с его собаками, другая — с моей. Так было, конечно, целесообразней, но не таков был Виктор, ему всегда хотелось все сразу. Я, ворча, подбросил к его смычку свою Шелонь. Зайца подняли быстро, и, когда за снежной стеной молодого леса заголосила вся наша тройка, Виктор сразу побежал к месту подъема. Я немного задержался; когда догнал Виктора, он стоял, слушая собак, и вдруг сказал мне: «Не могу идти — вот дурацкое дело, беги, я потихоньку». Вот потихоньку-то он не умел, и невыносимо было смотреть нам, близким, как ему становилось все хуже и хуже.

Мне не пришлось проводить Виктора. Когда он умер, я жил далеко.

Ночной залп у глухариного костра на этот раз не очень громок — нас оставалось все меньше и меньше.

ИЛЬЮША

— Просьба у меня — посмотри, пожалуйста, собаку. Все у нее: кровь, выкормка, лад*ы*, чутьишко… Работал много. В чем дело — не пойму.

Удивила просьба друга. Илья — сын знаменитого собаковода, сам знаток подружейных, и вдруг: посмотри. Похвастать, что ли, хочет? Нет, исключено, не в его духе.

Как только начал спадать полуденный зной, пошел к Илье, жившему в доме доярки, на краю деревни. В комнате Селюгина на высокой пружинной кровати, на чистом одеяле под ярмарочным ковриком с красавицей и лебедями, положив лапы крест-накрест, в позе тигрицы в полудреме нежилась ирландка Лада. Перед ее носом на куске клеенки лежал недоеденный кусок колбасы. Узнав меня, собачонка приветливо постучала пером по лебедям, но с кровати не сошла.

Заметив мой взгляд, Илья поморщился:

— Ничего не могу поделать — Наташа балует ее со щенков, носится как с куклой, все на руках да на диванах. Сколько раз говорил, да разве… Пойдем, Ладушка.

Из деревни вышли в час, когда вот-вот снова закричит коростель и чайки летят с озера на берег: день на повороте к вечеру. Илья с собакой у ноги шел впереди легкой походкой лесовика. Длинные ноги, обутые в поршни, аккуратно перетянутые по оберткам тесьмой, казалось, не ступали, а спорко скользили по намятой обочине проселка. Когда он оборачивался и привычным жестом откидывал прядь не по годам темных и густых волос, я замечал досаду и озабоченность в обычно веселых и всегда чуть иронических глазах.

Разговаривая, мы не сразу заметили, что Лада отстала. Обернулись — стоит на мостике через открытую воду между двумя мочажинами. Стоит в напряженной и красивой стойке, высоко подняв, прямо задрав, голову. Вернулись.

— Посылать? Там вязель — нам не пройти.

— И хорошо, посмотрим, как она одна. Если не боишься, конечно.

— Что ты! Ни боже мой, нисколько.

Илья ласково стер с морды недвижной собаки серую массу успевших налететь комаров, скомандовал:

— Вперед, Ладушка, вперед!

Ирландка охотно стронулась, перескочила придорожную канаву, плавно повела, с трудом вытягивая тонкие лапки из бурой жижи. Шагах в тридцати от дороги, прямо по носу собаки, сочно крякнув, взлетел

бекас. Лада обернулась к нам, помахала пером, ставшим похожим на палку, и вернулась на дорогу.

— Что тебе надо от первопольной? — не выдержал я. — Чутьиста, стойка крепкая, подводит легко, а уж вежлива…

— Мне надо, — ответил Илья, отскакивая от грязевого душа отряхивающейся Лады, — чтобы ты не торопился с выводами.

После гудящего комарами ольшаника, где вяло пели и рюмили зяблики, а в колеях на влажной глине, расправив крылья, сидели сотни голубых мотыльков, дорога стала круто подниматься. Открылся чудесный вид на лесные покосы. Свечи берез окаймляли десятки некошеных полянок, а дальше, в синей дымке еще жаркого дня, раскинулась просторная мшарина. Сколько раз я поднимался на эту высотку и всегда с душевным трепетом смотрел на любимые и зовущие места.

Ирландка плавно повела.

На первой поляне Илья пустил собаку. Лада весело пошла в поиск, — нет, это слово здесь не подходит, — она не искала, она бегала вокруг хозяина, часто останавливаясь и оглядываясь. Казалось, она гуляет или играет в детскую игру, где в главной роли он, а не она. В дальнем углу покоса Лада причуяла, вздрогнула и, не торопясь, пошла в кусты.

Мы нашли ее на небольшой чистинке в молодом лесу. Лада лежала, утонув в пестром цветочном ковре, и покусывала лепестки ромашки. Мне захотелось сказать: «Любит — не любит, плюнет…»

— Птица здесь, — твердо заявил Илья.

— Где здесь?

— Это уж другое дело. Установить можно. Она не пойдет в сторону птицы. Сейчас найдем.

С этими словами Илья пересек чистинку и позвал. Лада охотно поднялась. Илья скомандовал: «Даун!» — и пошел в другую сторону. Все повторилось в том же порядке. Наконец он позвал собаку, подойдя к одинокому корявому дубку на опушке. Лада не встала, прижалась к земле, голову в траву спрятала.

— Ко мне, Лада! — громко приказал Илья.

Собачонка не пошевелилась. Под дубком зашуршала трава. Резко хлопая крыльями на подъеме, взлетел выводок тетеревов — матка, второй, четвертый, седьмой — сама девятая. Лада скусила еще один лепесток ромашки и пошла к хозяину.

— Дурочка, — сказал он, — все равно не спрячешь. — И добавил для меня: — Теперь будет хуже —

совсем оробеет.

Пошел слепой дождь, такой теплый и солнечный, что не захотелось от него прятаться, но птичьи набродыон смыл, и мы долго ходили попусту, хотя знали, что поблизости еще есть выводки.

— Пойдем к большому сенному сараю, — решил Илья, — там выводок позднышков, цыплята с дрозда, чуть побольше, — далеко не уйдут. И место узкое, найдем сразу.

Еще не дошли до сарая, Лада почуяла, легла, тут же вскочила и принялась взволнованно рыть землю. Тонкие лапки мелькали часто-часто, трава и песок летели в разные стороны.

Я догадался:

— Здесь выводок!

— Рядом, — отозвался Илья.

Мы молча наблюдали, как быстро росла и углублялась яма.

Илья невесело улыбнулся:

— Могилу роет. Выроет — убью.

— Пальцем не тронешь. Сами виноваты: в одной кровати спали, из одной тарелки ели, вырастили комнатную собачку — птичьего взлета боится. Не тронешь.

— Нельзя собаку бить, — согласился Ильюша и улыбнулся так добро, так искренне, что и я вслед за ним, хотя и был раздосадован собакой, весело рассмеялся. Так со смехом и шутками домой пошли.

Мягкий, добрейший и радостный человек Илья Владимирович. Удивляться приходится: ведь с детских лет жизнь поворачивалась к нему довольно острыми гранями.

Родился Ильюша в городке малом на реке Великой, что берет начало с Бежаницкой возвышенности, голубыми четками озер украшает лесистое верховье, принимает со всей Псковщины уйму быстрых и тихих речек, вольно и полноводно разливается в устье. И по всему-то течению Великой — так издревле было — хороши охотничьи угодья. В лесистых верховьях — глухарь и белая куропатка, заяц-беляк; в холмистых, напольных местах — тетерев, русак, серая куропатка; в поймах реки — бекас и дупель; в разливном островитом устье — утиное царство. И много-много по всему течению Великой было охотников, воскресных и подлинных.

Природным охотником был отец Ильюши — Владимир Александрович Селюгин. Вспоминает о нем Н. П. Пахомов: «Судьба поступила с Селюгиным довольно жестоко. До революции он почтен был избранием в городские головы маленького городка Опочки… Эта почетная должность в невзрачном захолустном городке сделала его лишенцем, хотя, как он мне писал, землевладельцем ни он, ни отец его никогда не были и происходили из крепостных графа Разумовского…» [15]Трудное то было время для Селюгина-старшего. Любовь к охоте и гончим спасла его от пагубного пристрастия. Мрачный период жизни окончился. Он сделался одним из самых крупных специалистов-кинологов того времени. Судил на выставках и полевых испытаниях, печатался в охотничьей литературе. Известно, что островск *а*я стая англо-русских гончих, принадлежавшая Листаку и Тихомирову, сыграла большую роль в становлении и развитии породы русских пегих гончих. Там же Н. П. Пахомов пишет: «Стая эта — поистине детище Селюгина».

Не удивительно, что сын Владимира Александровича Илья с малых лет стал ярым охотником, а при своей вдумчивости и чувстве ответственности — большим знатоком гончих. Впрочем, не только гончих: в Опочке, где провел молодые годы, увлекались и легавыми.

Охота — увлечение. А жизнь? Жизнь человека можно представить в виде кривой: подъемы, спуски, резкие или пологие изгибы… Жизнь Ильюши лучше всего представить в виде прямой: короткое (прерванное не по его вине, — сын лишенца) учение — и шофер всю жизнь, до пенсии. Совершенно прямая — две войны, это не изгибы, а взлеты той же прямой. Его трудовая книжка — длиннейший перечень благодарностей и поощрений. Все в той же должности и на том же месте, — менялась только принадлежность его организации к разным объединениям и ведомствам.

А жизнь? Каждый день — недели, месяцы, годы! — поездка с молочной цистерной (далеко ли, близко ли от города) в колхозы и совхозы. Из шумного города в сельскую тишину и обратно. Дорога, дорога, дорога… Кажется, просто: ровная лента асфальта, привычка, мастерство, ухоженная машина — кати спокойно. Нет. Не всегда так. Бывает гололед, туман, заливные дожди, лихие обгонщики, утомительное перемигивание фар в темноте, подъездные пути, размешанные в зыбкую глубочайшую грязь. Дорога, дорога, дорога — бесконечная лента обочины, за ней в медленной годовой перемене то задутые снегом спящие поля и леса, то первые проталины, ручьи, бурный ледоход, широкие разливы, потом нарядная зелень лугов и рощ, краса осеннего разноцветья, грусть листопада, первый иней утренников…

У лесного костра рассказы Ильи… (1974 г.).

Час за часом наедине с машиной. Одиночество? Отрешенность? Нет! Напротив: друзья в гараже, знакомые на фермах и в придорожных деревнях, попутчики. В обширную кабину «молокана», конечно, попадали люди. Наверно, это запрещено инструкцией, но не могу представить, как Ильюша промчится мимо старушки, что бредет с клюкой из одной деревни в другую, откажет подвезти больного. И при этом помыслить нельзя, чтобы деньги взял.

В выходные дни, если сезон, — с охотничьей компанией за город. И вот тогда — по дороге в машине, у лесного костра или в избушке лесника — рассказы Ильюши. Нет, не про себя — он человек обыкновенный, и жизнь у него такая же, ничего примечательного. Вокруг него — это дело другое. Еще в компании отца были дела, и случаи, и замечательные люди, а сегодня попутчик интересный попался, а в гараже сменщик…

Быстрый ум, наблюдательность охотника, большой жизненный опыт и слегка иронический взгляд на жизнь позволяют ему замечать и запоминать интересное. Рассказы самые разные: взволнованные и раздумчивые, живые и степенные. Если веселые, хитроватые, то это обычно от сменщика по «молокану»:

— Вот у моего сменщика, Петра Ивановича, был полушубок — шерсть росла. Семь лет его стриг. Спрашиваю: «Часто ли?» — «Два раза в год, говорит, приходится». — «А ты брось». — «Рукава зарастают, руку не просунуть». Я заинтересовался: «Приду посмотреть». А он: «Нельзя, вчера украли».

Нет! Трудно передать! Тут нужен спокойный, правдивый тон, милое выразительное лицо Ильюши, глаза с хитринкой. Левый, кажется, даже подмигивает!.. Но вернемся к рассказу:

— Сменщик мой парень шутной и замечательно умеет подражать разным голосам. Раз шел из бани, запихнул в водосточную трубу сверток белья, наклонился, мяукает. Люди подходят, интересуются, а он будто тащит — «она» не идет, фырчит, царапается. Кучу народа собрал. Надоело — взял сверток под мышку, раскланялся и пошел.

Подселили Петру Ивановичу в квартиру кляузную бабу, — житья не дает. Решил проучить. Принялся носить пустые кастрюли на чердак и там хрюкать. Пришел участковый, поднялись на чердак — там пустой чистый закуток: «Вот видите, какой она вредный человек? И что пишет!»

Серьезные, даже грустные жизненные случаи передавал Ильюша со слов попутчиков, или происходили они на местах, в деревнях, где он брал молоко. Охотничьи байки — тоже не от себя, чаще всего от знакомого в детские годы приятеля отца и земляка, пана Гарабурды. Я записал несколько таких рассказов, добавил свое, и вот в альманахе «Охотничьи просторы», а затем в книжке «Радоль» появилась небольшая повесть «Из рассказов о пане Гарабурде». Посвятил эту работу Илье Селюгину.

Большой мастер охотничьего дела был пан Гарабурда, любому охотнику не зазорно взять у него совет. Жалуется молодой гончатник: «Кровного щенка вырастил — и вот досада! — работать не принимается, не понимает ни следа, ни зверя. Что я ни делал… даже так: стропил зайца, заметил, в кусту лежит, потихоньку подвел выжлеца, взял на руки и кинул прямо на спину русака. Не помогло — заяц в одну сторону, гончак в другую». — «Не так надо, не так, — посоветовал Гарабурда, — аж и у меня был гончий, русский, кличка Финиш, тоже два года не принимался. Я его свел в кусты, вынул из мешка здорового русачищу, живого, — к соседу в хлев забежал — и ка-ак дал этим зайцем по Финишу. Обидчивый был выжлец, бросился за русаком с голосом, — да каким породным, трехтонным! И пошло. Аж надо не выжлецом по зайцу, а зайцем по выжлецу».

Укоряет Гарабурда спутника: «Ты что это? Бах да бах! Лес гудит, а все мимо. Говоришь, в густом вылетел? И я был рядом, только первым выстрелом всегда в гущарке просеку вырублю, вторым — аж как на чистом».

Надоели легавые гонялы. «Мне нужна собака с мертвой стойкой», — заявил в компании молодой охотник. Гарабурда головой покачал, говорит: «Не дай бог! Аж была у меня ирландка с такой стойкой, и, скажи, почуяла бекаса на островине, потянула вплавь через протоку, все тише, тише — и стала мертво на глубоком. Утонула! Аж забыть не могу, до сих пор жалко — богатое чутье у сучки было».

Как я уже сказал, В. А. Селюгин, отец Ильюши, был кинологом, экспертом высокого класса. Сам Илья к судейству не стремился, однако знатоком этого дела стал отличным. Стоя с ним на выставках у канатов

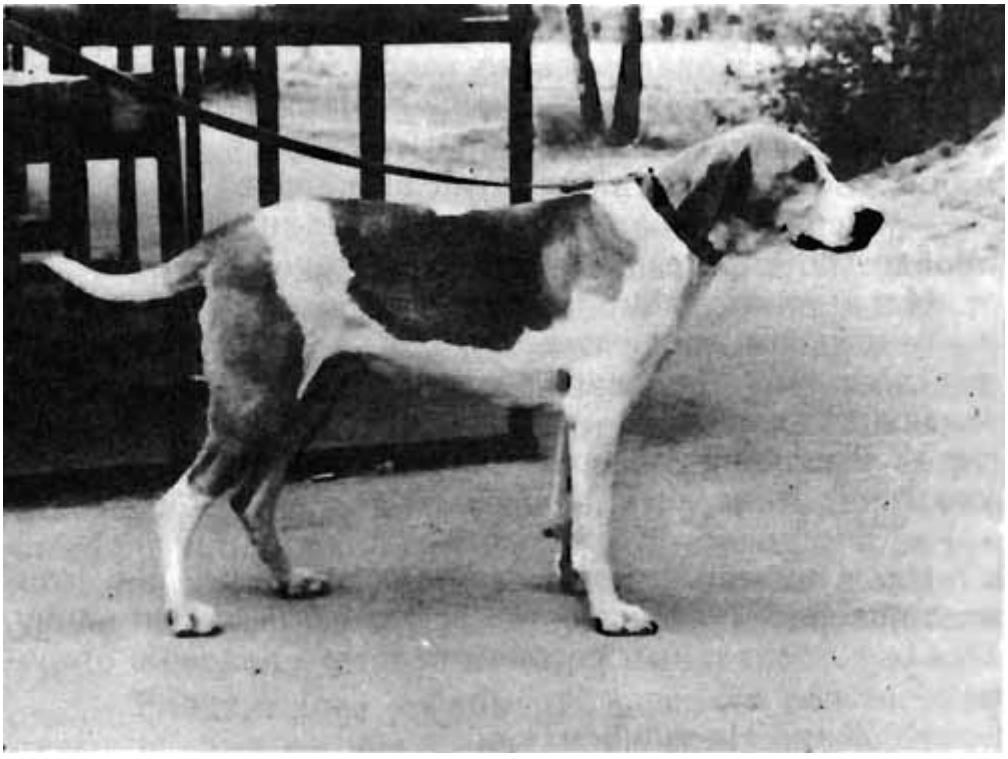
ринга, я неоднократно убеждался в верности его прогнозов. Если судья квалифицирован и нелицеприятен, собака, примеченная Ильей в начале судейства даже в самом хвосте ринга, подвигалась вперед неукоснительно. И натасчик он отменный.

История с Ладой, рассказанная мной в начале, чтобы показать мягкость характера Ильи, в какой-то мере случайна. Поставленные им собаки отличались вежливостью и, можно сказать, добровольным послушанием. Не раз мы встречались с Ильей на картах Пробы и Владыкина, занимаясь одним и тем же любимым делом — обучением молодых собак. Неторопко, заложив руки за спину, идет он по высокой уже отаве. Ни плетки у него, ни прутика, даже поводок спрятан в карман (ударить собаку — избави боже!). Следит за ученицей и все время негромко с ней разговаривает:

— Хорошо, хорошо, ну вот, а это зачем? Брось! Птичка! Тише! Тише! Тут надо поаккуратнее, бекас не дупель, разом столкнешь. Тише!

Понимает работу легавой. Помнится, я решил показать ему работу только что поставленной в поле ирландки. Недолго мы ходили по болоту: он смотрел на работу собаки внимательно, не отрываясь. Сказал: «Будешь дипломами баню оклеивать». Оказался прав: это была будущий всесоюзный чемпион Искра. Совсем не значит, что Илья снисходительно подходил к оценке полевого досуга собаки. Крепко запомнил я обидный для меня, собаковода, случай.

Была у меня гончая, англо-русская выжловка Радоль. Илья слушал ее, когда выжловочке не было еще года. Сказал: «Работать будет, старательная, но… голос, голос — льет хорошо, двоит, но писк, доносчивости нет. Нельзя таких в породу пускать: у гончих первая цена голос, а тут…» Прошло несколько лет. К тому времени Радоль имела четыре диплома первой степени, дважды — звание чемпиона области и всесоюзную известность за второе и третье места на межобластных состязаниях при твердой семерке за голос.



Чемпион Радоль Ливеровского на выставке.

На наших встречах друзей-гончатников Илья твердил свое. Мне казалось это обидным и неверным, говорил: «Ильюша, ты Дольку первопольной слушал, она же щенилась, взматерела — послушал бы теперь, а?» Он был не против. И вот так сошлось, что в охотничий сезон мы вдвоем оказались на охоте в новгородской деревне Изонье, что на реке Увери. Удивительная вещь — человеческая память! Бывает, что года не вспомнить, какой он был и что в нем было, а бывает день — так врежется в память, будто вчера все случилось. Так запомнился мне один красивый день первозимья.

В ночь была перенова — на довольно глубокий уже снег пала легкая порошка пальца на полтора. Мы с Ильей и Радолью-Долькой на поводке спустились с деревенского бугра на поле по Чебеневской дороге. Солнце встало и зажгло в снегах искры. Разноцветные. Мне особенно приглянулась одна, густо- и ярко-красная. Захотелось посмотреть, как это получается. Не поворачивая головы — иначе искра пропадала, — я присел как можно ниже, убедился, что горела льдистая пластиночка — скорее иней, чем снега, — и… опрокинулся на спину: Долька рванулась на какой-то след.

— Держи, держи, — закричал Илья, — не спускай!

С поля вышел и потянулся по дороге свежайший малик. Вот отчего так дернула выжловка.

— Держи, — повторил Илья, — бог знает сколько он пройдет по дороге, набросим — отстанем.

Илья внимательно пригляделся к следу, сказал:

— С поля пришел; подумалось — не с черным ли надхвостьем? Нет, гляди, беляк.

Я посмеялся:

— В книжках теперь и беляков принято с черными хвостиками рисовать.

— Это точно. Мать-дорога!

Илья поскользнулся, совершил в воздухе немыслимый поворот и грохнулся во всю свою немалую длину. Ружье с оборванным погоном отлетело далеко в сторону.

— Жив? Не ушибся?

— Ничуть. Хорошо, ГАИ поблизости нет. Твердый прокол.

— За что?

— Покрышки лысые, рисунка протектора не видать, и занесло — скорость не обеспечивала безопасности. Подожди маленько: ремень подвяжу, есть веревочка.

Кончились поля, дорога идет вдоль склона в лиственном молодняке. Долька попискивает и тянет. Прошли с полкилометра. И вот она, скидка! Издалека заметили сияющую голубую лунку за обочиной. Подошли. Налево березняк вплотную. Направо, начиная с дороги вниз, долинка, открытая до опушки леса. На скате два густых ивовых куста, малик уходит к первому, а дальше…

Илья потихоньку смеется:

— Гляди! Ну и нахал! Рядом с дорогой…

Сверху нам хорошо видно: от первого куста ко второму цепочка концевых прыжков — и все. Дальше вокруг чистейший ровный снег. Принудить Дольку стоять со снятым ошейником, как полагается перед набросом, было трудно. Гоном молотит, попискивает, с трудом заставил, наконец:

— Арря! Давай!

Выжловка бросилась по следу, обошла первый куст и перед вторым стала. Ну прямо легавая! Гон задран и неподвижен, передняя лапа поднята. Снежный прах с легким шуршанием запылил в ветках куста

— на открытое выкатился большой, чисто выкуневший беляк. Посовываясь на резком ходу в рыхлом, он выбрался к опушке, справился и бойко замелькал между деревьями. Рыдая и захлебываясь, навзрячь мчалась Долька.

Зарядили ружья. Илья предложил:

— Постоим на дороге: наверняка сюда выпрет.

Заяц на дорогу не вышел. Ровный неумолчный гон то приближался, то отдалялся, шел внизу в заснеженном лиственном лесу, куда очень не хотелось идти. Пришлось, да и зазябли, стоять, хоть мороз и небольшой. Болотистый хламной лесок был исхлестан во все стороны следами зайца и выжловки. Передвигаться здесь было трудно: тонкий лед под снегом то и дело не выдерживал, сапоги с хрустом проваливались в черную жижу. И густо, только кое-где небольшие плешины рубок. Илья сказал:

— Гляди, дрова у бабы рублены: сто раз топором стукнуто, пни на конус, как у бобров. Эх, бедолаги! Мужиков-то раз-два…

Подстоять не получилось. Настойчивый звонкий гон проходил иногда совсем рядом. В прогалах мелькали пестрые бока Дольки. Два раза я слышал легкий шорох, видел в гущине осыпь снега — по тому месту, неистово трубя, проносилась выжловка. Рядом за белой стеной глухо хлопнул торопливый дуплет. Желанное «до-о-шел!» не последовало. Я вышел на боковую опушку леса, откуда не раз доносился голос Дольки, и обрадовался: на поле по кромке березняка шла натоптанная тропа, целая канава, — видимо, не раз тут проходил гон. Лаз неплохой — стал прямо на следах. Гон приблизился. Далеко в поле заметил выжловку — шла с голосом в мою сторону. Где же заяц? Подумал — и тут же увидел: он близко и бойко катил по тропе мне в ноги. Срываю с плеча ружье — досада! — он заметил, скинулся в два прыжка в кусты. Бесполезный выстрел вдогонку. Долька промчалась, срезав угол.

На опушку вышел Илья. Ну и вид — шапка и плечи белые, на выпущенных сверх голенищ брюках бугрятся черные наледи. Заметил мой взгляд, улыбнулся:

— Даже в карманах снег. Промахнулся?

— Ага. Дурацкий случай. Дуплет твой?

— Мой. Стрелял по какой-то бешеной тени в густом. Видать, она нажала — он и намылился. Слышишь гон?

— На грани слуха. Давай чай пить.

— Это можно. Далеко угнала. Отстает сильно. Не удивительно: он верхом — она впровал.

— Впровал не впровал — все равно трудно.

Желтоватый огонек в снежной ложбинке придал уют случайному месту у старой сушины.

Солнце чуть поднялось над вершинками берез — и все равно день разгорелся. На опушке цветущая яблоня с красными плодами; томно посвистывая, в заснеженных ветках копошились снегири. Высоко над нашими головами по голубизне пролетела стайка косачей. Илья проводил их взглядом, сказал с восхищением:

— Красивые кавалеры, во фраках, только фалды закручены.

Я возился с костром, заваркой чая и раскладывал на куске пластиката еду. Ильюша ножом соскабливал с брюк пласты грязного льда. Приговаривал:

— Ну и проклятое же место! Болотина, ивняк, а на островках еловая поросль — не продраться. Думалось, вот сейчас на медвежью берлогу напорюсь. Говорят, летом все вокруг деревни шастал. Не

слышно Дольки — пожалуй, все, не вернет. Вот спасибо — к месту чаек, не обожгись… — Ильюша неожиданно рассмеялся: — Про медведя вспомнил. Вернулся сменщик с Карельского перешейка. Был у знакомых егерей в Сосновском хозяйстве. Там новый начальник — отставной полковник. В охоте делает вид, что понимает, а так старательный, порядок любит. Доложили ему, что в хозяйство пришел медведь, держится в одном месте, яму вырыл, мох таскает. Начальник сказал: «Ясно, наметил берлогу». Скомандовал: «Подвезти стройматериалы!» Пригнали самосвал бревен, досок, веток — свалили у ямы. Медведь ушел.

По дороге, заглушив все лесные звуки, прошел трактор. Не успели мы выпить по второму стакану чая, как услышали далекий-далекий гон, и тут же в Изонье загремел многоголосый собачий хор.

— Так, — сказал Илья, — в деревню вогнала. Как от дворняг отделается? Бросит?

— Едва ли. Сами отстанут. Больше не будешь пить?

— Хватит… Смотри, смотри!

На дороге, в двух выстрелах от нас, замелькали черные кончики ушей — и вот он, заяц! Желтоватый на фоне чистого снега обочины, он мчался по накатанному следу трактора. Два раза посидел, слушая, скинулся у одинокой большой березы и покатил чистым полем к речке. Скоро показалась Долька. С полным, уже чуть хрипловатым голосом, поблескивая на солнце пегими боками, она уверенно гнала и свернула, не пропустив скидки. За ней появился лохматый черный пес. Выбежал из леса, покрутился у придорожного столба и повернул домой в деревню. Гон быстро уходил со слуха.

— Ну, как тебе моя Долька?

Илья минуты не задумался, поднял большой палец:

— Когда придет, подними за хвост и поцелуй в торец. — Добавил: — Надо, Леша, снимать, запорем выжловку. Четвертый час по трудной тропе…

— Сказать легче, чем сделать.

— Дай рог.

— Бесполезно. Надо идти за ней. Может быть, на сколе поймаем.

Мастер трубить Ильюша — чистый высокий звук полетел над полем к дальнему лесу и повторился в ближнем.

Не торопясь пошли тонным следом. Один раз я испугался: след подвел к речке — на льду темное пятно. Заяц проскочил, под выжловкой лед обломился: текущая вода, битый лед. Выскочила! — на той стороне след двойной.

С трудом по поваленному дереву перебрались на другой берег и разом услышали голос Дольки. Мы стояли на бугре над разбежистой долиной, на ней лохматые древесно-земляные валы. Мелиорация. Там гон, туда дорожка. Илья пошел по ней, я — в обход. Вижу, прямо на него бежит заяц. Илья целится, стреляет, кричит:

— Дошел!

Подхожу. Илья отжимает на колене небольшого беляка с коричневым пятном на голове. Поздравляю. Илья недоволен:

— Сколько раз собирался, как ты, — сначала крикнуть, потом стрелять. Никак не получается.

Смеюсь:

— Жадность.

— Какой там — просто, как говорит наша бабка, терпления нет. Ни я, ни жена зайца не едим. Гляди, белячишка не тот, не гонный — как гончатники называют, чумовой.

— Похоже. Точно, смотри куда гон пошел — на старое место. Дьявол! Опять через речку!

Снова мы в проклятом болотном березняке, становимся на тропах, пробитых до листвы или льда. Гон идет на малых кругах, непрерывный, настойчивый. В голосе Дольки мне чудится новое: то ли победные нотки, то ли вопль отчаяния. И так час за часом и без пользы.

Вечерняя зорька позеленила снега на закатной стороне. Мы вышли из леса на дорогу. Далеко впереди выбрался с поля и пересек дорогу зеленоватый заяц. Мы побежали туда наперехват собаки, стали по сторонам следа. Скупо подавая хриплый, похожий на кашель голос, пришла Долька. Не вышла на твердое, легла в рыхлом снегу кювета. У меня екнуло сердце. На что была похожа собака! Черные ноги и грудь, даже на ушах примерзли шлепки болотной грязи. На спине у гона клок шерсти дыбом. Не встает.

— Придется нести, — сказал Илья.

— Подожди — думаю, отлежится.

В избе жарко, и это очень хорошо: сидим в исподнем, на ногах валенки — от двери по полу тянет холодок. Все верхнее распихано по горячим местам у подтопка. На плите закипает картошка. Блаженствуем, сидя за столом в предвкушении ужина. У печки на коврике просыхает и отдыхает Долька. Во сне дергается и попискивает. Она там еще, в лесу. И мы там же, разговаривать поэтому легко — не надо много слов.

Илья:

— Совсем рядом; вижу кусты пылят — не успел. И она за ним близко.

Я:

— Подхожу — черное пятно, и вода течет. Подумал — конец.

— И я испугался.

Помолчали, и дальше такой же разорванный разговор.

Илья:

— Зайца много. Шумовые были. Не переменила. Такая и не переменит, ни боже мой! И знаешь…

С подоконника звучно потекла на пол струя воды: оттаивает на стеклах наледь. Звонко заплескала на красную плиту кастрюля с картошкой. Ильюша снял крышку, вернулся, продолжил:

— Знаешь, если бы не снег, она бы его сгоняла. Это факт. Бывает?

— Бывает, не часто. Если прибылой. Старый после долгого гона прячется в завал, под бревна, в деревню, в дома, из куч хвороста за уши вынимал.

— Частенько путают. Отберут словленного, хвастают — «согнал» или «согнала». Отличить просто: подними согнанного за задние лапы — он, как флаг на ветру, не гнется. Знаешь?

— Знаю, проверял.

— Удивительная выжловка. Вязкость и чутье смертельные… И все равно, не сердись, Алеша, я бы ее в племя не пустил — слабый голос, а это основа. Потеряли мы голоса! Ой, как вспомнишь — рев и музыка!

Каково мне было это слушать. И за Дольку обидно. Но не в характере Ильи менять свои решения, и судит он обо всем по-своему.

Наша компания любила собираться у Ильи Владимировича в маленькой темноватой квартирке во

дворе на улице Чернышевского. Где охотники — там споры. Горячие и путаные по причине некоторой вольности обращения с фактами, присущей охотничьей среде. Говорю это не в упрек, ибо сам охотник и понимаю, сколь трудно иногда оставаться на позициях принижающего разума в общении с таинственными силами природы. И надо сказать, что мы частенько обращались к хозяину дома за разрешением неясного. В компании нашей, наряду с людьми рядовыми, были и преуспевающие, и высокопоставленные по различным линиям. Никто из них не пренебрегал возможностью спросить совета у Ильи Владимировича — и не только по охотничьей и автомобильной части, а и по разным житейским вопросам. Многие называют его просто Ильюшей, за честь почитают, отнюдь не уничижительно.

Кое-кто из дальних знакомых ставил Илье в упрек любовь к застолице. Выпивал он довольно крепко, особенно после смерти Наташи — жены, с которой душа в душу прожил тридцать два года. Под хмелем становился разговорчивым, еще более упрямым в суждениях, но никогда — крикливым и задиристым. И, что совсем удивительно, наутро всегда был в полной форме. Курит безудержно, в жизни я не видел еще такого курильщика. Сколько бы он ни запасал, сколько бы ни захватывал с собой любимых сигарет, все равно очень скоро просил у курящих: «У меня все».

Детей у Ильюши не было. Может быть, потому он любит возиться с чужими. Без всякого сюсюканья, обращается с ними как с равными. В деревне типичная картина: где-то внизу, задрав голову, карапуз; наверху Илья, склонив голову, слушает и советует: «Говоришь, не клюет? И не удивительно, — что за крючок? Багор! Погоди, я схожу домой, принесу, навяжем какой надо».

Раздумывая о жизненном пути моего героя, я испытываю двойственное чувство: любуюсь человеком и досадую на то, что он ничем высоко почетным не отмечен, — медалей и тех немного. Годы безупречной работы, две кампании — не в тылах, чернорабочим войны, два ранения…

— Ильюша! Как тебя первый раз ранило? В атаке?

— Да нет, по-глупому. Вез раненых с какого-то, уж не помню точно, в общем, Ярви. Он вышел из леса на лыжах и с автомата вот сюда, — палец упирается в грудь под правой ключицей, — и насквозь, пуля на спине под кожей.

— Кто же раненых дальше повез?

— Сам. Еле-еле.

— Почему нет отметки в воинском билете?

— Долго лежал, сами не поставили: надо было идти — не до того было.

— В Отечественную был ранен?

— У Замогильной, под Гдовом. Выходили из окружения — пулевые в обе ноги.

— И как?

— Добрался, вышли к Сланцам, а оттуда меня в Буй. Лежал.

— Опять не отметил?

— А зачем?

— Ильюша! Шел к тебе — внизу, в парадной, объявление, регистрация участников Великой Отечественной к сорокалетию Победы. Записался?

— Зачем?

— Как зачем? Ну хоть прикрепят тебя к особому магазину…

— У меня все есть.

И опять думаю. Сколько людей, мало сделавших в жизни, считают себя обойденными, обижаются, сердятся, напористо хлопочут. Противно. Но… видимо, такова жизнь, что иногда нужно о себе напоминать.

Пишу об Илье и боюсь, очень боюсь момента, когда он прочтет эти строки, — застесняется, запротестует. А я его и не спрошу.

Есть у Владимира Высоцкого песня о шофере. Вы помните: «Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу, не помыкал, не понукал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил как жил, и голове своей руками помогал».

Как она подходит к Ильюше!

Перед пенсией Илья Владимирович купил в новгородской деревне на берегу красивой тихой Увери избушку. Теперь каждое лето живет там подолгу, до осени. Жизнь простая: с утра надо спуститься к реке, помыться, принести попутно воду, убрать комнату, сварить завтрак и обед себе и собаке, а потом, потом — покой, созерцание. Выходит Ильюша из дома, садится под окнами на лавочку — справа ирландка Веста, слева банка из-под сайры в томате для окурков. На ногах домашние кожаные тапочки на босу ногу. Сидит не шевелясь; сузит глаза, приглядываясь, что за машина запылила за рекой по дороге, куда полетела стайка диких уток. Все видит, ничего не пропустит. Заметит, кто, столкнув с берега лодку, отправился блеснить щук, кто по спешной надобности пошел в лавку, чья корова не вернулась со стадом, куда крадется соседский кот.

В щуке 10 кг. (На озере Городно. 1965 г.).

Отдыхает Ильюша. Подсаживаются к нему люди покурить, побеседовать. (Владыкино, 1981 г.).

Отдыхает Ильюша, пока солнце не спрячется за лес. Сильно курит «Шипку» — консервная баночка как белоигольный еж.

Люди Илью знают и любят; проходя мимо, присядут, побеседуют или за руку поздороваются, постоят. Кому уж очень некогда, пройдет мимо — и все же шапку рукой приподнимет.

Побывал и я там, пришел прямо с автобуса.

— Привет, Ильюша!

— Привет! Приехали, значит. Письмо получил?

— Нет.

— Так я и думал. Почта стала плохо ходить: на шестой, на седьмой день письмо в городе.

— Что так?

— Смотри туда. Видишь?

Вижу, против дома Ильи на стенке сарая висит синий почтовый ящик. Вокруг высоко поднялась крапива.

— Вижу, так что?

— В этом все дело. Девчонка-почтальонша приходит, она в мини-юбке. Ей же не попасть. Который день сижу и все думаю: то ли взять косу, выкосить крапиву, то ли перевесить ящик на мою избу?

И тут никак нельзя, чтобы повеселело лицо у рассказчика, улыбнулись губы или — избави бог! — самому рассмеяться. Какой тогда рассказчик? Разве что — в глубине глаз, прикрытых длинными ресницами, как искра, мелькнет смешинка, самая малая.

Сидит на лавочке у дома над древней и тихой Уверью милый мудрец-созерцатель. А я здесь, в городе, о нем раздумываю. Чем заслужил наш Ильюша стойкую и уважительную любовь друзей-охотников? Ответ нахожу сразу: хороший, добрый человек — этого мало; важно, что он твердый и точный хранитель охотничьих традиций, строгой этики, неподкупный арбитр в спорах.

Скажем, соберемся у костра на дневку при охоте по перу с легавыми. Разговоры, разговоры… Выясняется, что некто «молодой и горячий» заметил запавшего под стойкой в траве тетерева и застрелил. Илья непременно скажет: «Разбил, конечно, в лепеху… надо в таких случаях прицельно, по головкам, по головкам…»

Тут молодому уже становится тошно. Однако Илья беспощаден, обращается уже ко всем: «Ничего, у него все впереди. Дело так пойдет — бекасов без стойки начнет стрелять, гончих набросит, а зайца стукнет на подъеме, потом утят-шлепунцов, копалуху на глухарином току, потом Госбанк ограбит и зарежет жену. Это точно».

Услышит Ильюша в чужой компании жалобу: «Что этих бекасов стрелять, — есть нечего, а патронов, патронов…» — немедленно поддержит: «Это верно. Вот мой сменщик бросил такую охоту. Ездит с ружьем по деревням, помогает вдовам и старикам свиней резать: жаканом в ухо — и точка. Ему мяса уделят, еще и нальют. Получше бекасов».

Ильюша-Ильюша, дорогой человек! Какая удача, что ты встретился нам в жизни.

ЧЕМПИОН РОССИИ

Когда рассказывал о Жене Фрейберге, я почувствовал, что нельзя не рассказать про Волю Романова. Он был ближайшим другом и верным спутником Жени. Оба прожили немало лет, то совсем вместе, то расставаясь надолго. Начало их дружбы как бы территориальное: один жил в Павловске, другой в Царском Селе, — это в молодости. В самые бурные дни революции Женя Фрейберг случайно встретил на улице Волю, спросил: «Ты что, ты где?» — «Я в мотоциклистах при штабе». — «Пойдешь со мной на Волгу корабли из Балтики переводить?» — «Пойду». Так они начали поход — большой отрезок их жизни, — воюя с белыми от Камы до Охотского моря. Вернулись и снова надолго потеряли друг друга.

Я познакомился с Волей на футбольном поле Павловско-Тярлевского спортивного кружка. Играл мой брат Юрий, а я приехал в качестве болельщика (правда, тогда такого слова не было, но это не важно). Наш дядюшка и друг, Женя Фрейберг, представил нам высокого, стройного человека, сказал: «Познакомьтесь — Волька Романов. А это мои братцы-племяннички». Как всякий человек, кто впервые видел Владимира Константиновича Романова, я был поражен прежде всего его внешностью: высокий, широкоплечий, идеально сложенный атлет. Прекрасное, умное, чуть продолговатое лицо.

К этому времени Воля Романов уже известен в Петербурге, да, пожалуй, и гораздо шире. Он был первым чемпионом России по прыжкам в высоту, что окружало его имя ореолом, особенно для нас, мальчишек. А собой настолько хорош, что его постоянно рисовали или лепили художники, больше художницы. Ехидный наш дядюшка, встретив в Павловском парке Волю со спутницей, спрашивал несколько двусмысленно: «Рисовались?» А нам потихоньку говорил: «Волька дешевый натурщик: ему ничего не надо, кроме хорошего кофе и свежей сдобной булочки. Такой у него обычай». Через некоторое время кто-то рассказал нам и легенду о Воле Романове, ее «чрезвычайно секретно» передавали друг другу: будто Воля — сын великого князя Константина. В подтверждение этих слухов приводились факты: мама Воли жила в домике на краю Павловского парка, Воля был очаровательным кудрявым мальчиком, и великий князь любил заходить в этот домик и гулять с маленьким Волей. Больше того, находили даже его сходство с известным портретом Константина. Чтобы покончить с этой легендой, скажу, что Воля после гражданской войны окончил военную школу и стал преподавать в военных училищах физкультуру. Он был военнослужащим до выхода на пенсию. По тем временам родства с Константином было достаточно, чтобы такая карьера не состоялась.

За годы службы этот физически одаренный человек несколько раз становился чемпионом Красной Армии по лыжам и по теннису. Но — скромный — никогда нам об этом не говорил, узнавали стороной. Теннис он очень любил, играл до старости сам и вместе со своей женой, милейшей Екатериной

Владимировной, судил на состязаниях теннисистов в Ленинграде.

В. К. Романов.

Каким он был охотником? Страстным, неутомимым и большим знатоком звериных следов. Если кто-нибудь из нас обнаруживал в лесу сильно припорошенный, почти невидимый и запутанный след зайца, то стоило попросить Волю разобраться — долго ли, коротко ли, а заяц будет поднят!

Он очень любил собак и хорошо знал охоту с подружейной. Был такой случай. На станции Строганово я купил большого, лещеватого, не очень породистого поляка-гончего. Попробовали его раз летом — Донар работал прилично. В день открытия охоты на зайцев мы с Юрием поехали на станцию Двинская, где у лесника жил наш выжлец. Предвкушали радости нашей любимой забавы. Очень скоро Донар поднял зайца, прямо завыл на подъеме — такая горячая помычка у него была, — и тут же смолк, потерял след. Да, потерял свежеподнятого — зайца мы перевидели, ошибки не было, — проработав несколько минут. То же повторилось на втором, третьем и четвертом подъемах. Не теряя надежды, мы ходили по лесу до глубоких сумерек: результат один и тот же — короткий гон и возвращение к нашим ногам. Нам все стало ясно — собака потеряла чутье. Ни я, ни брат никогда не продавали собак, тем более ущербных. Значит, надо отдавать, что называется, в хорошие руки. Грустные, мы привезли Донара ко мне домой.

Зашел Воля, посмотрел на собаку — она его весело приветствовала. Он погладил, а собака улыбнулась во все зубы. Узнав о нашем решении, Воля сказал: «Знаете что, ребята, отдайте его мне. Славная псина, у-у-у какой здоровущий, для поляка борзоват, конечно, но главное же не экстерьер, а работа. У меня уже собачка живет, вы знаете — арлекин Попка, но что одну кормить, что двух. Может быть, поправится, погоняют в паре».

Через два месяца мы поехали к Воле в Павловск. В гости приехали, охотиться не думали, но он стал уговаривать: «Пойдемте, ребята, сходим, тут недалеко, по краю парка, у меня русачок есть, да не один…» Одетые в «цивильное», как приехали из города, черпая галошами снег, мы пришли на край высокоствольного леса и поля. В кустарнике небольшой долинки Попка и Донар побудили большого рыже-серого русака и быстро угнали со слуха. Воля уверенно сказал: «Вернут». Не буду подробно описывать гон,

скажу только, что смычок держал зайца твердо. Матерой русак уходил в соседнюю деревню, вваливался в парк, путая собак на топтаных дорогах и дорожках, — ничто его не могло спасти. Дело кончилось совсем необычно. На наших глазах после небольшого теперь уже круга русак выскочил из леса и помчался открытым полем по накатанной дороге. Тут же за ним вывалил смычок. Заметив уходящего зайца, Донар могучим рывком догнал его и схватил. Так мы, трое безружейных стрелков, принесли и отдали Волиной жене зайца. Уехали с братом в город с чувством хорошей зависти: стало ясно, что собака чутья не потеряла, просто приболела, а великий мастер собачьего дела, Воля, выправил ее и получил незаурядного гонца.

После демобилизации из армии Воля занялся делом, как теперь бы сказали, не престижным, но которое его, да, пожалуй, и нас, очень устраивало. Он стал «ловцом» на туляремийной станции. В его обязанности входило в случае подозрения на очаг туляремии среди грызунов выехать на место и отловить необходимое количество мышей. Он забирал с собой капканчики и выезжал за город на несколько дней, получив в дорогу узаконенную норму спирта. Между выездами Воля всегда мог поехать на охоту с нашей компанией. Это он ценил, и для нас он был приятный компаньон.

Я уже говорил, что Воля очень любил собак, трогательно любил. Вот такой случай. У него была ласковая, совсем домашняя англо-русская гончушка Кама. Имя он дал ей по нашей традиции называть гончих именами рек, а тут еще и память о днях гражданской войны. Мы поехали с Волей вдвоем в деревню Сырковицы. Собачонка гоняла отлично — правда, иногда подвирала. Воля говорил: «Она нервная». Мы взяли зайца почти на подъеме. Второй сделал два круга и замелькал передо мной на противоположной сосновой рёлке; между нами было небольшое, покрытое осокой, замерзшее болотце. Заяц быстро катил мне в ноги. Далеко позади него на рёлке показалась Кама. Я выстрелил, заяц кувыркнулся через голову — и вдруг раздался истошный визг. Я кинулся к собаке, Воля поспевал сбоку. Кама сидела на тропинке и плакала, из губы у нее текла кровь. Я понял, что крупная дробина, а может быть, и не одна, рикошетом отскочила от гладкого льда болотца. Кама плакала, но кровь шла не сильно. Осмотрев собаку, я больше никакого повреждения не нашел и обрадовался. Но не так к этому делу отнесся Воля. Страшно ругаясь, по-флотски понося «идиотов, которые стреляют куда попало», он схватил собаку в объятья и понес ее домой. Мне стало ясно, что, во-первых, охота безусловно окончена, а во-вторых, что Воля не скоро простит мне этот совершенно непредсказуемый и нелепый случай.

У Воли англо-русская гончушка Кама.

В компании Воля обычно говорил мало, спокойно, слегка растягивая слова и произнося чуть в нос. Мягко вступал в разговор, если Женя Фрейберг, рассказывая об их военной жизни, допускал хотя бы небольшую неточность. Женя никогда не хвастал, но, конечно, мог забыть какую-нибудь деталь. А Воля был абсолютно точным.

Много раз мы спрашивали его о том, как он поставил рекорд России в высотном прыжке. Воля нисколько не смущался, говорил: «Ну, теперь ребята куда сильнее прыгают — за два метра. Да, видишь, трудно было нам. Я, конечно, прыгал за девяносто, но ведь хорейном: мы должны были, приземляясь, обязательно встать на ноги, иначе прыжок не засчитывался. А теперь, смотри, как идут через планку и как ложатся, — абы как!»

Насчет «военных подвигов» тоже был туговат на рассказы и вместо геройских поступков вспоминал совершенно неожиданное: «Мы шли вниз, дело было к осени, вахтенный мне говорит: посмотрите, гусей-то, гусей! На отмели сидела огромная стая гусей-гуменников. Я пошел к Женьке, говорю: так и так, хорошо бы гусятинки. Он говорит: ладно, только поскорее и поменьше шума. Дали мы очередь из „максима“, подоспели на шлюпке к отмели, притащили на корабль пять здоровых жирных гусей…»

Не упомнить, сколько раз мы с компанией или вдвоем с Волей выезжали на охоту с гончими. Но не уходят из памяти подробности охоты с трагическим концом.

Мы поехали с Волей на станцию Еглино в охотхозяйство Лесотехнической академии. С нами было две собаки: Волина Кама и очень похожая на нее по рубашке Пышма Померанцева — любимица нашего кружка, изящная, веселая. Жила она у Померанцева, надо сказать, на правах любимой дочери: не слезала с его кровати или колен. По лесу она носилась как молния; подняв зайца, прямо висела у него на хвосте. Голос ее, льющийся ручейком, был доносчивым, хотя и довольно тонким. Было уже близко к закрытию охоты, лежал довольно глубокий снег, морозило. В ельниках у речки Еглинки смычок поднял зайца. Для собак тропа была тяжеловата, но они работали отлично, гон шел ровно, сколов почти не было. Но вот подстоять зайца, белого, мелькающего в густом, заснеженном ельнике, нам никак не удавалось. Прошел час, другой, третий… Мы остановились позавтракать. Пытались снять собак — ничего из этого не вышло: собаки обазартились, не шли ни на трубу, ни на голос. После пяти часов такого гона заяц стал ходить на мелких кругах по своим же следам, протаптывал целые канавы буквально вокруг нас. Ни на минуту мы не теряли голосов собак.

Вдруг горячий гон прервался страшным воплем, неистовым воплем какой-то из собак. Я кинулся на крик, Воля за мной. Навстречу нам в ноги бросилась Кама. Я выскочил на маленькую чистинку среди елового леса, заметил какие-то серые тени, исчезающие под еловыми лапами, и пятна крови на снегу. Прислонясь к поваленному дереву, закрыв глаза, сидела Пышма. Кишки вывалились из ее распоротого живота, на снегу — не могу забыть! — гладкий пласт печени. Подбежал Воля, сел рядом на снег, побоялся взять собачонку на руки, прислонился к ней головой и заплакал горько, громко заплакал. Пышма застонала. Я сказал: «Отойди». Он понял, отошел, говоря: «Уйду, уйду — не могу смотреть!» Я точно выделил и нажал курок.

Как сказать об этом Виктору?

На следующий же день Воля вернулся в Еглино с капканами, поставил их около места трагедии. Неделю жил в деревне, хотел отомстить «этой сволочи». Мы все поклялись отомстить волкам.

Брат мой Юрий тоже был очень огорчен, он знал и любил эту собачку и понимал, каково сейчас Виктору. Он написал и прислал нам стихи, мы прочли их, собравшись всей компанией перед закрытием сезона в домике лесника. Вот эти стихи:

Там, где ельник буреломный,
Где осинки точно спицы,
Спал в болоте волк огромный
И матерая волчица.
И, наверно, снились волку
Ярость бешеной погони,
Окровавленные телки,
Обезумевшие кони.
Но когда взлетели с веток
Перепуганные птички,
Расколола шорох ветра
Гончих яркая помычка,
И пошел беляк по чаще
После быстрого дуплета
Там, где ельник мелкий чаще,
В шубу снежную одетый.
А за ним до самой ночи,
Привороженная к следу,
Стала «плакать» пара гончих,
С тишиной ведя беседу.
Но когда припудрил вечер
Позолотой легкой елки,
Гону звонкому навстречу
Поднялись с болота волки.
Было видно белке ловкой
С высоты столетних сосен:
Серый зверь убил выжловку
И в сугроб лениво бросил…

Уйдя на пенсию, Воля вместе с женой Катей жил летом в наших Домовичах, на озере Городно. Они снимали «наземку» — зимнюю половину дома председателя колхоза. Воля завел лодочку с подвесным мотором, иногда ловил рыбку, но не очень любил выезжать на озеро, считая его бурным и коварным. В поздние годы, не увлекаясь ни охотой, ни рыбалкой, ни грибами, он часто сидел на лавочке у берега озера, наблюдал и думал. Выходил к нему из соседнего дома друг Женя, подсаживался, и начиналась неторопливая и почему-то всегда юмористическая беседа: «А помнишь…» Широка была география этих воспоминаний, звучали необычные туземные слова. По субботам, после бани, старики выпивали водочку помалу — совсем не так, ой не так, как в молодые годы! И опять шли воспоминания.

В. К. Романов и В. Н. Фрейберг в Домовичах соседи.

Е. В. и В. К. Романовы на берегу перед своим домом. А озеро карстовое: один год у самого крыльца, другой отступит, иногда уходит далеко.

Зимой, в день рождения Воли, мы традиционно собирались у него дома, в уютной квартире около Владимирской площади. Пользуясь близостью Невского, Воля припасал к этому дню всяческие деликатесы, а Катя, уютная Катя, с притворным ужасом закрывая глаза, говорила о том, что Воля вчера выпил «целые три рюмки коньяка». А затем разговор переходил к теннису, которым они оба увлекались. Заслуженные мастера спорта, все свободное время они проводили на кортах: играть уже не могли, но жили теннисом.

НЕОБОРИМАЯ СИЛА

Я уснул с леденцом во рту. В глухом лесу на кроме Липняжного мха. Спал крепко — смертельно устал, и было тепло.

Последнее время скупые городские приметы весны сбивали с толку. Грязные ручьи вдоль тротуаров, воробьиная канитель под окнами и томные вскрики ворон в голых вершинах парка, так непохожие на их обычное карканье, неведомым путем превращались в картины весны там, далеко за городом. В самой неподходящей обстановке: на службе, в людном метро, дома — чудились высокая просинь в тучах, прилетная песня жаворонка, радостный лепет подснежного ручья в овраге, и все чаще, упорнее, до предела зримо виднелась кромка большой мшаги, теплый красноватый отсвет заходящего солнца на стволах старых сосен и стремительная, шумная посадка глухарей на прилете.

Место это называется Липняжным, хотя кругом сосновый бор и только на прилегающей к болоту гриве растут две высокие старые липы. Именно там, неподалеку от гривы в болоте, я давным-давно нашел глухариный ток. Обнаружил по чертежам в пору крепких настов, проверил по талому, определил, что поет около десятка, а то и больше петухов. С тех пор охочусь на этом току, считаю только своим, и это почти верно. Почти… но об этом потом.

Так вот, когда больше невозможно стало сопротивляться лесным миражам, я кое-как устроил городские дела, дотащил на вокзал тяжеленный мешок с весенним полевым обиходом, сел на поезд и после мучительной бессонной ночи — самое большее час дремы, с головой, положенной на вагонный столик, — в три семнадцать по московскому, соскочил с высокой подножки на песчаный откос насыпи. Полустанок был безлюден. Заспанный дежурный в красной фуражке свернул флажок, долго присматривался ко мне и кивнул. То ли узнал, то ли так уж здесь в Новгородчине принято: знакомый, незнакомый — надо поздороваться. Утро пасмурное, света мало. Надо идти, путь неблизкий.

Люди по-разному представляют себе знакомую дорогу. Одни будто идут по ней или едут — знают, что за этим поворотом, что в конце поля или леса, когда минуют караулку лесника, мостик через реку, — помнят точно. Другие видят предстоящий путь как бы на подробной карте или, лучше сказать, с большой высоты, так что и начало и конец пути видны. Я привык так и еще в городе вообразил всю дорогу, прикинул, сколько она займет времени, шаг за шагом проследил, учитывая и расстояние, и каков, можно думать, будет ход: где тяжело, где и полегче. Рассчитал, что к вечеру, часам к семи, буду на месте, поспею к прилету глухарей — к подслуху, — должен поспеть.

С трудом взгромоздил на спину рюкзак и пошел к переезду. Миновал последний станционный

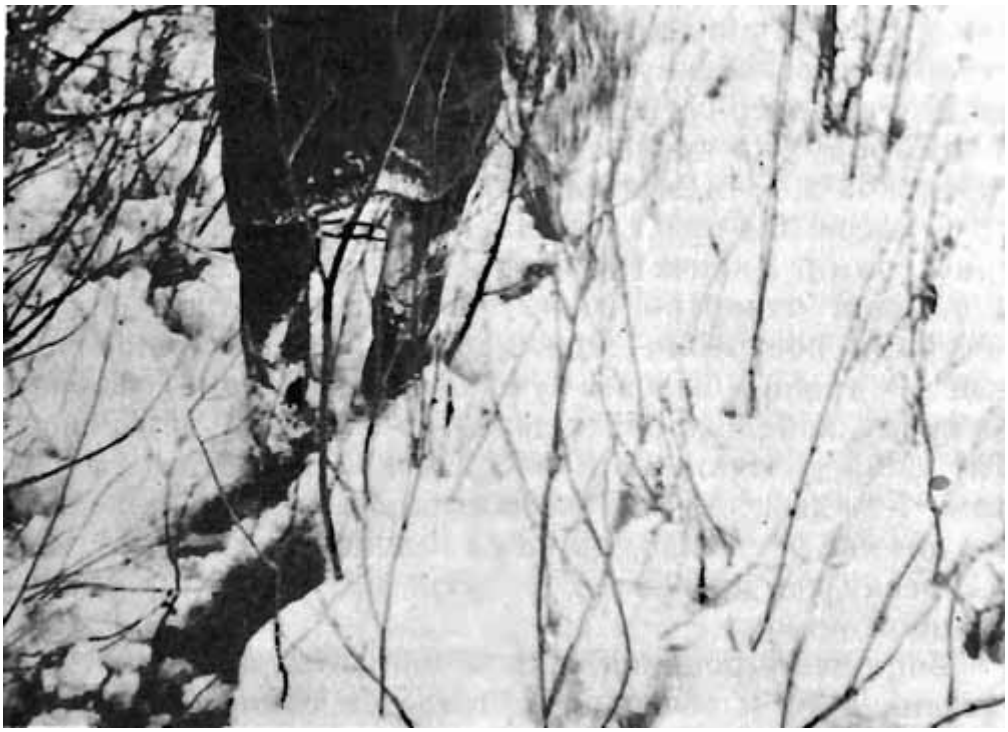
фонарь — стало светлее. Цыкнул вальдшнеп, показался над кустами, круто повернул и потянул, как поплыл, вдоль пути к семафору: на красный пошел. Я улыбнулся нелепой городской мысли, и стало хорошо.

От переезда проселок, еще с осени битый-перебитый тракторами. Километра полтора такой дороги, дальше, у вековой одинокой сосны, подпаленной пастушьими кострами, поверток — круто вправо, через молодой еловый лес, тропа к бывшим хуторам. Только сошел с дороги на тропу, забелело среди деревьев — пожалуйста, снег! Глубокий, усыпанный палой хвоей и древесным мусором. Каждый год так обманываюсь! В городе снега и в помине нет, пыль, трава на газонах — думаешь, как бы весну не прозевать, — здесь, на отрогах Валдая, ледяной ящик.

Заря без утренника, снег не занаст *ел*, не держит: до колена, а то и выше проваливается сапог в ледяную крупу. Тяжело идти. Чуть легче стало там, где некоторое время тянулись по тропе оплывшие лосиные следы. Спасибо длинноногим!Взмокли спина и лоб, застучало сердце. Пришлось остановиться, расстегнуть куртку, отдышаться.

Прохладный воздух остро пахнет талым снегом и хвоей. Птицы еще не распелись, да и немного их живет в чистом ельнике. С одной стороны томно посвистывает певчий дрозд, с другой, поближе, зяблик. Ныряющим полетом прилетел на сухую осину дятел, крикнул весело и прямо-таки оглушил барабанной дробью. Хорошо ему летать над снегом! А мне? Снег и снег — сколь глаз хватает, может быть до самого тока. Рыхлая, неподатливая толща, как стена крепости, не пускает, охраняет были и тайны леса. Подумалось: «Не повернуть ли вспять? Через два часа поезд пойдет обратно. И сколько недоделано в городе нужного, важного и неважного… Нет! Не вернусь — дойду не дойду, здесь хорошо: нет никого, и весна!»

Тяжело, ох тяжело! И все же кончился ельник, началась березовая редина, за ней кусты. Снег на тропе истончал и остался позади. Вот и хуторская поляна, просторная, покрытая рыжеватой некосью, ни клочка снега. Непривычно ногам после города идти по мягкому. Пара чибисов, радостно повизгивая, крутятся, падают, взмывают — сшивают заревое небо и теплую землю. Вспыхнул из-под ног бледный огонек бабочки-лимонницы.



В городе трава на газонах, а здесь…

На глазах истаяли туманные облака, показалось и разгорелось солнце. Его приветил тетерев, распушился и запел, — смешной петушок на вершине большой березы в дальнем углу поляны. Разом откликнулся одиночке большой ток на болоте, забурлил, стоном застонал, яро и гулко. Звуки торжествующей песни утвердили весну и не только для меня. Уверен, что по всей округе люди, причастные лесу, — рыбак, спозаранку проверяющий мережи, тракторист, спешащий на работу, даже дежурный по станции, что выйдет проводить очередной поезд, — услышат, улыбнутся, скажут: «Весна!»

Разноцветно отразились солнечные лучи в обильных водяных каплях на голых ветках кустов и деревьев. Бог знает откуда эта вода: то ли дождь был ночью, или туман осел. Не падали капли. Только пеночка-теньковка роняла на гладкую воду капельки неустанной песни: «Тинь-тюнь-тянь! Тинь-тюнь-тянь!»

Удивительно приятно, прямо роскошно, хоть ненадолго скинуть груз, посидеть на камне старого фундамента, оглядеться, отдохнуть, послушать. От бессонной ночи, усталости и чистейшего воздуха хмелеет голова.

На большом свету разом запели птицы, ожил лес. Сладко щебечет пеночка-весничка, зяблики соперничают частыми трелями. Из травы взлетел, урча, жаворонок, забрался повыше, залился протяжной песней, славя свет и тепло. Два зайца выбежали из кустов на открытое, бегают, щиплют что-то, играют, как дети. Полубелые, полусерые — пестрые, как клоуны. Для нас, охотников, в закрытое время это уже не дичь, не добыча, не вызывают они азарта. Приходит некое «мазайство». Не боялся бы напугать, крикнул громко: «Не бойтесь, косые мои братья! Вы сегодня радуетесь, и мне дивно хорошо в вашем доме!»

У серого камня фундамента сквозь прошлогоднюю сухую траву пробился один-единственный цветок мать-и-мачехи, похожий на маленькое рыжее солнце. Радует первый цветок событием и живой красотой. Знаю, на этом же лугу скоро вспыхнет большое разноцветье, и пойдешь по нему почти равнодушно: лето — так и полагается, всегда бывает. Но первый! Даже не подумаю срывать — наклонюсь, прикоснусь ласково, бережно к новорожденному, внимательно рассмотрю мудрую сложность нежного тельца. Люблю первые цветы за их храбрость. Покажутся в суровую еще пору, погреются на солнце — и вдруг холод, снег. Хоть бы что! Закроют резные чашечки, переждут непогоду, а чуть потеплеет — развернутся еще пышнее и открытее.

Зыбится гретый воздух над жадной к солнцу землей. Дятлы, зайцы, тетерева, рябчики, лоси, синицы, поползни — вы пережили зиму. Не хотите и вспоминать тяжелые дни. Ликуется вам от тепла, солнца, жизненной силы!

Гуси, зяблики, утки, кулики, дрозды, чибисы, жаворонки, пеночки — вы прилетели на холодную родную землю. Вы кричите и поете, славите день возвращения.

Я тоже былинка мира, такая же, как и вы, частица живого и, едва, самую малость, причастный к вашим тайнам, не оскорблю владычеством, буду ликовать вместе. Радость, радость! И ВАШЕ мне кажется все более понятным и важным, а МОЕ, человеческое, уходит — с улыбкой вспоминаешь то, что вчера еще казалось важным и душевно мучило.

Кончились дороги и тропы. За хуторской речкой просека, по ней идти три километра. Она с востока на запад — значит, один край вытаял. Это хорошо. Но как перейти речку, разлилась она сильно? Вся долина залита, прямо море; бежит вода по траве, по кустам, не видно главного русла. Помнится, на берегу речушки деревья были. Мешок и ружье оставил на сухом, топор в руки — побрел на разведку. Глубоко — по колено и выше, того и гляди зальется вода за голенище. Вот они, несколько корявых ольшин. Срублю одну — не жалко, только бы легла как надо. Качнулась, крякнула ольшина, точно перехлестнула главное

русло; забурлила вода в ветках — ничего, ствол поверху.

Весело и страшновато перебираться с тяжелым мешком и ружьем по мокрому скользкому стволу. Близко, над самой головой, просвистели крыльями утки, а я и взглянуть боюсь — грохнешься в быструю воду.

Следы медведя.

Речка позади, еще один этап пройден. Еще в городе думал, как переберусь? Получилось, только время, время идет.

Подул ветерок, теплый — с юга, принес запахи прелого листа и открытой земли. Просеку не сразу нашел: заросла она в начале, на покосах, пришлось идти круче к лесу по компасу, так выбрался. Верно, северный край вытаял. Ноги шуршат по кожистым листьям брусничника, по стебелькам черники. Солнце высоко, воздух прогрелся даже в тени. Стало жарко. Снял куртку, подсунул под клапан мешка.

На южном крае просеки снежный вал, и на нем следов, следов! Хоть и быстро отаивают — все равно много: заячьи свежие и старые, глухариные крупные кресты, беличьи поскоки, рябчиковые цепочки. Почти на выходе с просеки на выруб — медвежьи. Остановился, и хотелось шапку снять — вот это лапки! Рядом такие же отпечатки, только маленькие-маленькие. Мамаша с медвежатами. Поднялась из берлоги с двумя детишками и пошла; наверное, на болото поведет за клюквой. Только что были тут: снежная крупка лапами на талое выброшена и не потаяла ничуть.

Просека кончилась на высоком бугре перед вырубом. Пора завтракать. Нашел старое кострище, свое давнишнее, даже рогульки стоят — правда, совсем уже непригодные. Кусочек еловой серки, виток бересты, нижние ветки елки — ожил огонек. За водой далеко не ходить. Завтрак напомнил о городе: там нарезал этот хлеб, намазывал маслом, укладывал ломтики колбасы.

На вырубе, думалось, снега нет или неглубокий. Так и вышло — снег кое-где на буграх, плешины

покрыты сухой травой. Зато в низинах — беда. С осени водой залило, теперь лед, снежистый, хрупкий, держит плохо. Опускается под ногой целый пласт, бурно выбегает вода, и ух! — выше колена. Каждый шаг выбираешь, стараешься с кочки на пенек, с пенька на кочку. Попадается поваленное дерево — по нему идешь, покачиваясь, как канатоходец. Жарко!

В низине три осины с обломанными вершинами. На каждой по бекасу, покрикивают свое: «Тика-тэка! Тика-тэка!» Покричит, взлетит высоко-высоко, кинется вниз, крыльями зачастит — и вот таинственно возникает и разливается над потайным лесным болотом любовная песня небесного барашка: «Ее-е-е! Е-е-е!» Чудо как хорошо — будто сама весна приветствует и шутит!

На два километра вырубa — четыре ручья. Покатилось вниз солнце. Я вышел в какой-то раз на твердое. Сердце изо рта выскочить готово, спина мокрая, снег не белым — розовым кажется. Кинулся, не снимая мешка, на траву, не хочется двигаться, уснуть бы — черт с ними, с глухарями!

Похолодало — и день на уклон, и туча накрыла солнце. Усилился ветер. По старым листьям, по палой хвое застучала, запрыгала ледяная крупа. Неуютно стало в лесу. И время идет, время. Стало ясно, что на подслух не успеть, даже если не тратить время на удобство ночевки, хоть и плохо это — ночи долгие, холодные, — не успеть к вечерней заре.

После вырубки осталось два километра по старой дороге. Вечерними голосами перекликаются певчие дрозды. Я выдохся. Выберу сухой бугорок, валюсь на спину, не снимая мешка. Спину подпирает — и ладно, не надо будет снова напяливать. Полеживаю, сердце по ребрам: бух! бух! А думается спокойно, улыбчиво: «Силен мужик, силен! И необычный. Кто из сослуживцев, сверстников может представить, что ради того, чтобы зяблика послушать, весной подышать, до глухариного тока дойти, стоит так геройствовать, мужествовать? А сейчас плюнуть бы на все, затабориться вот здесь, под елками, поесть, поспать. Нет! Нет! Буду доламывать дело, как бы ни получилось, хоть целую ночь брести и мерзнуть без огня. Силен мужик, силен!»

Темнело, ветер стих, можно прикурить, не заслоняя огня спички, только он стал краснее, чем днем. Дымок папиросы, не рассеиваясь, плотной полоской поднялся вверх по склону, и ему вдогонку поползла от мшарины призрачная полоса тумана. Протрубили зорю журавли. Одна за другой смолкли птицы. Приближаясь, цыкнул вальдшнеп, раз, другой и, наконец, выплыл над вершиной елки и хоркнул над самой головой. Воздух похолодел и застыл: хорошо различаются запах машинного масла от ружья и кисловатая вонь подпорной воды. Идти стало легче. Я знал, что удобный для ходьбы вытаявший склон тянется до места обычной ночевки перед током, был уверен, что скоро дойду, побаивался только ручья — его не обойти. Он идет по оврагу, в старом ельнике.

Среди потемневших вершин прорезался серп месяца-молодика. Там, в его стороне, невидимо протянул еще один вальдшнеп. На последнем свету переходил ручей — неширокий, метров пять, за ним на бугре давно обжитый табор с запасом топлива.

Попробовал лед ногой, палкой постучал — не трещит, крепкий и не скользкий, много на нем хвои и оборванных ветром кусочков коры. Шел смело, уверенно, и уже близко к тому берегу лед под ногами рухнул разом! Я оказался по пояс в воде. Выскочил и лег на брусничник. Боже мой, как холодно! Все тело трясется, и стучат зубы. Скорее сапоги снять — льет из них, как из ведер, одежду прочь! Рюкзак не промок — там смена, в резиновом мешочке аварийный коробок спичек. Скорее костер! Длинной палкой достал со льда шапку. Глянул на часы — идут, не промокли. До зари около трех часов, ток рядом. Костер разгорелся скоро. Переоделся быстро, верхнюю одежду сушил как мог.

Я устал, смертельно устал… Отцы и братья охотники! Поймете ли, простите ли? Верьте, не захотелось идти дальше, опостылело все.

«Ху-ху-ху!» — тоскливо прокричал брачный призыв заяц совсем близко от костра. «Ху-ху-ху!» — прокричал еще раз, удаляясь. Журавли на болоте громко и плачуще отметили полночь. И, словно утверждая жуть и одиночество человека в ночном лесу, гулко и хрипло заухал филин.

Все стихло. Погасла последняя светлинка на севере, и надвинулась ночь, непроглядная, холодная, окоченевшая в неподвижности. Только искры от костра яркорыжими червячками струились в черноте еловых вершин, укорачивались в звездочки, пытались смешаться с небесными звездами, но были им чужие.

Сколько ночей я провел в лесу, — привык, подсмеиваюсь над друзьями, что не любят ночевать в одиночку, сам никогда не откажусь, если надо по охотничьему делу, и все же, и все же… Далеко ли, близко ли от дома, в темном бору или в светлом березняке приходит ночью душевное затмение, безволие и вялость. Не хочется выходить за освещенный костром круг, хочется лечь, притулиться к корням дерева у теплинки, сжаться в комок, уснуть, вожделеть утро.

Я устал, смертельно устал.

Никчемным показался весь поход, смешна моя гордость и радость преодоления. Отдохну и с первым же светом, не торопясь, легкой ногой пойду обратно, уеду в город. Настоящее там — не здесь. Там люди, нужное, зря отложенное важное дело…

Так я чувствовал, так думал и… сам не знаю почему — остаток ли охотничьей страсти, упрямство или близость цели, — пошел. Собрался, мокрое покидал в мешок, погасил костер и окунулся во мрак. Медленно, шаг за шагом, защищая глаза от веток, побрел к току.

Спустился на болото. Там, среди редких, корявых сосен, снег лунил, идти стало виднее. Заморозка не было, сапоги пробивали снег до воды. Время раннее — если и проснутся глухари, уснут опять и забудут.

Глаза привыкли, различали даже вдалеке обрыв темной кромки леса — место, давно облюбованное для вечернего подслуха. Дошел быстро. Здесь все, как было: среди высоких сосен одинокая раскидистая едка — под нижними ветками как в шалаше — и толстый присадистый корень. Сел, облегченно вздохнул. Звезды горели ярко, заря еще не скоро. Есть не хотелось. Я развернул конфету и уснул с леденцом во рту, в глухом лесу, на кроме Липняжного мха.

Проснулся не случайно, не потому, что пришла пора. Как только понял, что не сплю, что не дома на кровати — в лесу, стал прислушиваться, по охотничьей привычке, не шевелясь, не оглядываясь. Темная еще зорька была безмолвна. Однако я знал, что разбудил меня очень громкий шум. Слух, придавленный крепким сном усталости, пробудился и обострился. И сразу же я услышал совсем близко шепелявую песню глухаря. Странно, почему птица не испугалась близкого грохота, который, я уверен, был, твердо уверен в этом? Очень странно!

Точат глухари. Не один: слышу далекую песню за болотом, чуть-чуть она доносится, еще одну — поближе, справа позади меня, на еловой гриве, и совсем близко, кажется рядом надо мной, в сосновой куртине: «Тэ-ка, тэ-ка! Тэ-ка!» — как шарики в настольном теннисе, и все скорее и скорее: «Тэ-кере-ре-ре!» — и вот глухая песня: «Чи-чир-вить! Чи-чир-вить!» — будто хвоя на ветру. Странная песня, хоть не громкая, а все равно предательская для глухаря. Пока он молчит, встречая утро на вершине сосны, или, проснувшись, затэкает, защелкает — слышит превосходно: за сто шагов услышит треснувший под ногой сучок или потревоженную льдинку, но стоит только ему страстно забыться в глухой песне, совершенно перестает слышать, хоть из пушки пали. Зрения не теряет, но в полутьме раннего утра видит плохо. Подвела природа мошного тетерева, и этим пользуются охотники. Заслышав песню, дожидаются последнего колена, делают два-три скачка, не заботясь о шуме шагов, и замирают в полной

неподвижности. В сумерках под самое дерево можно подойти. Как говорят, хоть руками бери — это большую-то осторожную птицу.

Горячо пел глухарь, лил песню за песней, и вдруг… страшный шум, прямо грохот в утренней совершенной тишине: хруст снега, всплеск и бульканье воды, деревянный стук. И все это под глухую песню, точно под глухую песню, и оборвалось — стихло.

Проснулся глухарь, затекал, защелкал…

Я слушал и не мог понять. Лось? Так ему совершенно безразличен глухарь, будет идти себе и идти, ветки и кору пощипывая, — бывает, и подшумит ток. Медведь? Хоть и сильно, прямо по-человечески хитер мишка и глухарем закусить не прочь, да не додуматься ему до такого, нет, не сообразить. Человек? Нет, много раз слышал, как поблизости скачут под песню, — шаги слышно хорошо. Так кто же? Что за странное и шумное существо, что знает глухариную песню, гремит непомерно и затаивается при перемолчках? Черт знает что! Нет, не может быть такого!

Скажу честно, стало жутковато, как всегда в лесу, если встречается непонятное, особенно в ночную

пору. И есть один способ, я с детства его применяю, чтобы избавиться от неведомой жути, — пойти ей навстречу. Не отдавая себе отчета, почему так, не просто пошел в ту сторону, а поскакал под песню, не торопясь, с опаской; правда, недалеко и было.

Близко пел глухарь, я не пропускал ни одной песни, а оно, неведомое существо, «скакало» через две-три, будто плохо слышало или сложно готовилось. Замолчали все певцы, кроме ближнего. Скоро я почувствовал, что птица рядом: тэканье гремело, казалось, на весь лес, в уши било, хорошо слышался переходный от щелканья к глухой песне главный удар и шорох распускаемых перьев. Я стал приглядываться. Темно еще было, однако повезло — сразу оглядел глухаря. Он открыто сидел на верхушке невысокой сосны в куртине более рослых деревьев. Длинная, тонкая, как у гуся, шея, хвост опущен и раскрыт не полностью. Большая птица кажется огромной — значит, близко. В два прыжка я закрылся стволом толстой сосны.

Глухарь пел яростно.

А где же неведомое существо? Последний раз знакомый уже шум слышался шагах в двадцати от меня в густой щетке елового подроста. Ничего разглядеть не удалось. Решил подождать, посмотреть, что будет. Пропустил три песни. Вот четвертая: «Тэке! Тэ-ка! Тэка! Тэке-ре-ре-ре-ррре! Чи-чир-вить! Чи-чир-вить…» Из еловой черноты на светлом, близко от меня, появилось что-то высокое, темное, грохнулось в снег и затихло. Человек!

Человек лежал, не шевелясь, ничком, замерев к концу последнего колена песни. Глухарь пел яростно, безостановочно. Над снегом поднялся узкий темный ствол ружья, поколебался, пыхнул огнем. Черный силуэт мошняка качнулся и, с треском ломая сучки, обрушился вниз. Эхо выстрела прокатилось по кромке открытого мха и стихло.

Осторожничать и скрываться больше незачем. Я подошел к лежащему и наклонился над ним;

разглядел — глазам не поверил, почти наугад спросил:

— Миша?! Ты?

— Узнал? И я узнал!

Страшно было смотреть, как он, мокрый до горла, без шапки, ворочался в снежно-водяной каше, пытаясь встать. Я протянул руку. Он помотал головой, простонал:

— Не так! Костыль подай этот, другой рядом, в снегу! — и уже спокойнее, внятно: — Ружье подбери и птицу возьми, совсем забери, мне ни к чему.

— Ты же мокрый совсем, скорее сушиться!

— Выходи на гриву, давай огонь. Я за тобой пошахаю помаленьку на подпорках. Двигай, двигай — не жди.

Крепкий утренник заледенил снег, стянул ледком лужи. Красное негреющее солнце пробивалось между стволами деревьев. Я распалил костер на сухой гриве у толстой смолевой сушины и все подкладывал и подкладывал. Стеной встал огонь. На вешалах парила, сушилась одежда. Михаил, голый, медленно поворачивался на костылях, грея обе стороны тела. Я смотрел на него краем глаза — неловко было иначе. Видел, как постарел мой стародавний приятель, как изуродовали его время и война. От льняных вьющихся волос остался серый ободок за ушами, когда-то ярко-голубые глаза выцвели и погасли. От частокола зубов остались коричневые редкие колышки. И все это ничего — не первого близкого вижу после долгой военной разлуки, — страшны были прямые следы войны: левая рука тонкая и будто заново приставлена пониже плеча, голубой шрам-провал на впалой этой половине, и сине-багровая — много выше бывшего колена правой ноги — культя, стянутая понизу неровными складками.

Мы молчали, и это натолкнуло меня на раздумье, а раздумье увело далеко в прошлое, в тот год, когда мы впервые встретились с Михаилом Павловым.

Я говорил уже, что сам нашел Липняжный ток и считал его только своим. Догадывался, что это не совсем так, замечал неясные человеческие следы на мху, один раз нашел глухариное перо, обсеченное дробью. Гнал от себя эту мысль — мало ли что и когда в лесу бывает. Глухарей не убывало, вели они себя на току смело, непугано.

Однажды услышал на току в темнозорь близкий выстрел. И вскоре встретились на тропинке нос к носу, а у каждого в руке по глухарю; я огорчился, что увидел на току чужого. Парень, светловолосый богатырь, непритворно обрадовался. Назвался Мишей, просто Мишей, и никаких там отчеств, рассказал, что он из ближайшей деревни, километра три отсюда, что ток этот его отец знает еще от своего отца, — фамильный, можно сказать, ток, бьет по одному мошнику в весну и никому из деревенских и приезжих не выдает. Отец пристарел, на охоту не ходит, показал ток Мише, когда он женился и вышел в раздел. А женился он в прошлом году. Построился, корова, хоть и первотелок, дает хорошо, шесть овечек, куры, поросенок. И он и жена работают в колхозе. Я непременно прямо из леса сейчас должен к нему зайти — тут, напрямую через гать, совсем близко — посмотреть, как он живет, тем более что завтра праздник и дома припасено что полагается, и пиво варили, и все прочее…

И так это просто, так по-хорошему сказал, что я, не раздумывая, согласился. Пошел с ним в деревню и провел там три дня. Несмотря на праздник, мы с Мишей успели постоять на тяге, а на вторую зорю он посадил меня в поставленный с умом и толково сделанный шалаш на тетеревином току в деревенском поле. Просил больше пары косачей не брать. Дельный охотник, и отец его, по всему видно, был такой. У нас на Руси известно, к охоте и охотникам относятся любовно-иронически — «рыбка да рябки — пропали золотые деньки», — несмотря на это, Мишину семью уважают, видимо хорошо они работают на общем

деле.

И дома у Миши все складно да ладно: все есть, все на месте.

Светлая, чистая изба без перегородок. Стены без обоев, видны кое-где капли и потеки желтой сосновой смолы. Печка свежевыбелена. Мы сидим за праздничным столом, накрытым домотканой скатертью. Пахнет деревенской опрятностью: мытыми полами, свежим хлебом и кожей. На столе самовар, сахар, дешевые конфеты из местной лавочки, вареные яйца, мед, топленое молоко в кринке, холодец, разрезанный вдоль по корке рыбник из щуки, белый хлеб. В углу, на лавке, укрытое полотенцем ведро с пивом и ковш, — свой ли, чужой, подходи, наливай, пей, сколько душа просит и вместит.

Молодуха без излишней торопливости и приторности, свойственной некоторым деревенским хозяйкам, когда в дом пришел гость, принимала меня как своего. Она положила всем на колени чистые, расшитые красными узорами полотенца, сказала: «Доставайте, что есть. Не взыщите — особо беречь нечем».

Стыдно сказать, я тогда позавидовал Мише: его найденной, определенной жизни, простоте и ясности в семье, радости жизни с молодой любящей женой. Позавидовал, может быть, по свойству характера, а может быть, потому, что переживал в то время период большой душевной смуты. Плохо мне было тогда. И — что уже совершенно глупо, или это теперь так кажется? — всерьез раздумывал, не поселиться ли мне тут, рядом, построить такой же новый светлый дом, начать новую жизнь, и, главное, чтобы рядом такая же была жена, веселая, приветливая, манящая молодым сильным телом. Вот какая странная думка была тогда. Позже я не раз приезжал к Мише поохотиться и душевно отдохнуть.

Сразу после войны встретил в городе деревенского знакомого и узнал, что Миша погиб. А сегодня — такая встреча!

Миша оделся, вытянув костыли, присел на поваленное дерево, и мы принялись чаевничать. Я достал городские припасы и фляжку с самодельной настойкой. Миша выпил охотно, сразу полкружки, ел мало, безразлично, не по-деревенски. Я знал, что он заговорит, — молчал, не торопил. Он закурил, усмехнулся невесело:

— Только не жалей меня. Меня все жалеют, по самое горло, — тут он черкнул себя ладонью у подбородка, — просто жалеть, когда помочь нельзя. Знаешь, везло мне на войне. Пехота, людей, как косой, — мне ничего: ни разу не зацепило, не стукнуло. Не прятался. Что ты! Верно, будто бабка нашептала, до самого конца войны целехонек. И не болел ни грамма. Чирей один раз был… Дакось еще папироску, сам прикури.

Я прикурил от головешки сразу две папиросы. Подавая ему, близко глянул в глаза, увидел в них боль и отчаянность. Он говорил (в правой руке папироса, левой чуть-чуть пошевеливал в вынужденно скупом жесте):

— Воевал и воевал; сержант; конечно, медали, две «Славы»; начальство, хоть и молодой, уважает. Катилось долго мое колесо, мечтал, скоро назад покатится — конец войне. Конец, да оказалось не совсем, даже наоборот. Городишко там есть, в Германии, Зеебург, небольшенький, вроде наших Борович, только почище. Стояли там. Так у них все с умом, обихожено. Места? Больше напольные. И везде дома торчат. Все равно кое-какая живность есть, а зайцев сила — обязательно русаки, и куропаток, по-нашему полевых рябков, много. Коза есть. Тетерев по месту должен быть, однако весна, а не слышно…

— У них и кабана много. — Я старался, видя, что Мише тяжело, как-то разбавить, смягчить рассказ.

— Кабаны? Как тебе сказать, вроде есть, видел разок прямо с машины пор*о*й, не скажу точно. Должны быть. Ладно, вызывают меня в роту, одного. Шел по большаку — дороги у

них, прямо сказать, хорошие, — тепло уже, без шинели, поля кругом подсохли, несеяны. Подумал, как-то у нас дома там, поди еще снегу-снегу. Самое время по насту ток проверить. Мошных у немцев вовсе нет, и где быть? Лесишки дырявые, топтаные. Про глухарей подумал — дальше не помню. Очнулся в Сибири, в городе Ачинске. Вижу, слышу — говорить не могу. И долго так было. Думать надо, миной накрыло меня, рядом. Налей-ка еще чайку.

— А водочки? Погрейся.

— Все равно, налей.

Расстроился , вспоминая , Миша. Я ему настойку налил, а он поставил кружку на чурку и помешал палочкой. Заметил, отбросил сердито, продолжал:

— Долго, ой долго по госпиталям, сколько раз операции — сосчитать не могу…

Рассказывал о себе Миша, а я слушал горькую, такую горькую, но будто давно знакомую историю. И про то, что не писал домой писем, а сам узнал, что пришла на него похоронка, умерли в тяжелые годы отец и дочка Грунюшка от воспаления легких. Про то, как глянул на себя в ванне — «был деловой кряж, осталась оторцовка» — и решил не возвращаться домой. И все же вернулся. И как подвезли его на санях к родному дому. «Жена выскочила, слова не сказала, выдернула меня с дровней, как куль с сеном, на спину навалила — и в избу, будто боя лась, что убегу или дальше повезут». Кривились у Миши губы, когда описывал, что застал дома: «Изба, что пустая пчел *и*на колода, даже без вощины. Что нажито — прибралось. Кота на печке — и того нет».

Говорил Миша не торопясь, роняя слова, как жгучие капли, отмеривая их коротким жестом калеченой руки. С обидой сетовал на район, куда не раз вызывали на комиссию: «Что таскали? Нога не борода — не вырастет», а потом оставили в покое. Разок присылали фельдшерицу с порошками и шприцем: «А что меня колоть? Сам чуть живой, и не во что — задница, как у дохлого зайца».

Отвернувшись от жара костра, Миша замолк надолго; казалось, внимательно наблюдал, как широкие солнечные лучи пронизывают крученые космы дыма. Прилетел зяблик, уселся над нашими головами и частыми трелями старался перекричать ровный гул и потрескивание костра. Еловые лапы в теплом восходящем дыму плавно покачивались, будто подтверждая рассказ: «Да! Да! Так! Так!» Я понимал, что главное еще не сказано, но он молчал. Тогда я стал расспрашивать по обычной схеме разговора при встречах — как живешь, что поделываешь? — не очень пригодной для данного случая.

Миша отвечал нехотя, схематично, иногда выпячивая памятную деталь: «Картошка-матушка — и та не вдоволь. Пестыши собирали, ели, сосновый сок» — это про послевоенную жизнь. А про сегодняшнее, когда, как я понял, справились, завели хозяйство, заключил, улыбаясь: «Кот откуда-то, видать издалека, пришел и остался жить». И вдруг неожиданно зло, с болью в голосе: «И я, не суди, вроде того кота».

Тут-то я и понял, что печалило моего приятеля. На войну уходил хозяином, основным работником. Теперь что? Жена на работе день и ночь, он — домашничает. Правда, «есть теперь кому курям корм подбросить». Хоть одной рукой. Был природным пахарем, ремесла никакого не знал. Теперь бы, как все, в механизаторы, комбайнеры, трактористы — не выходит при его калечестве. Сиди дома. Ой! Не по характеру. И он подтвердил, сказал в конце моих расспросов: «Так и стал котом-домовником, только что мышей не ловил».

Один котелок мы выпили, я пошел за водой. Солнце поднялось высоко, разгорелось, распаяло снег. Зашумела, забуянила вешняя вода. Быстро вытаивал угор над болотом. Из каждого островка снежной крупы струился язычок прозрачной влаги, сливался с соседним и с легким шумом бежал вниз по склону. На глазах верховодка синила, заливала белую гладь мшаги. В высокой голубизне вихлялась в брачном полете пара воронов. Плавно, одна за другой летели чайки, все в одну сторону: искали или нашли уже где-то

открытую воду. На проталинах земля парила и пахла весной.

Осторожно черпая кружкой в котелок, отодвигая плавающую хвою и палые листья, я думал о Мише, пытаясь угадать, почему в его, в общем-то, печальных глазах иногда проскакивали веселые, живые искры.

Костер догорал: Мише трудно было подсовывать тяжелые плахи. Он устроился поудобнее на чурбане, курил, посматривая на солнце, видимо прикидывая, который час. О чем-то сосредоточенно думал, то хмурился, то улыбался. Я сел рядом и доверительно положил руку на его здоровое колено. Он пошевелился, бросил папироску в огонь, проследил, как она вспыхнула, сказал: «Не надоело? Я все про свое. Да ладно, скажу…»

Совсем рядом дико затрубили журавли. Они шли по кромке болота, поклевывая клюкву, поравнялись с лагерем, заметили нас и костер, взлетели с криком. Миша проводил их глазами, хитро прищурился:

— У Опроски-то, у жены, ружье было припрятано. Понял? Та самая тулка. Помнишь? Шестнадцатого калибра, левый ствол от пули раздутый.

— Помню, помню.

— Ну вот. Было в первый год, как вернулся. Перед праздником у жены большая приборка. Тащит, прячет, мимо меня ружье. Я ей: «Оставь, не выноси, пусть дома. Есть не просит». Повесили на стенку. Привык и не замечал. Ко всему привык — жил.

Миша костылем вернул в костер откатившуюся головню, положил костыль рядом, протянул обе руки — одну повыше, другую пониже — в грустном жесте отрицания, повторил: «Жил, — и добавил: — И не жил». Тут же оживился, как бы разгорелся, продолжал весело и торопясь:

— Знаешь, в тот год какая весна была? Всю зиму морозищи, снега… и разом! Как с печки. Потаяло, потекло. Вышел на крыльцо — гуси… Летят. И так меня зацепило, потянуло, ну и не выразить. Вошел в избу, дома никого, я за ружье. Снял со стенки, пробую: левой рукой, порченой, снизу поддерживаю, правой навожу на спуск — пальцы, те владеют нормально. Будто получается. Залез в ящик, смотрю, какой припас сохранился. Давай патрон сготовлю один — спробую. Зарядил ружье, из печи уголек в карман, ползу во двор. Прокостылял к сараю, на двери углем мошника обрисовал, большого, хвост распущенный. Отошел, на костылях укрепился, целил, целил — ка-ак грохну! Курицы лётом через забор, меня отдачей — наземь. Барахтаюсь в навозе. Из сеней Опроска бежит, лица нет: «Ты что, ты что?!» Плачет, смеется; а я, хоть издалека, вижу — попал: дробин десять, не меньше.

И, скажи пожалуйста, в тот же день гляжу из окна — летят. Пара кряковых: матка, за ней селезень увязавши. Круг над деревней сделали и сели в проточину за баней. Мечтаю, баня от воды близко — с угла аккурат будет. Зарядил еще два патрона, ружье на плечи, покостылял. До бани натоптано, дальше —. ползком по целику. Выглянул — здесь! Стрелил — утка улетела, селезень остался. Мальчишки на выстрел прибежали, достали длинной палкой.

С тех пор началась моя мука и радость. Летом на речке в грязной заводинке уток караулил. Мало когда прилетали, а бывало. Терпенье большое надо, когда ходишь худо. Снег выпал, сам саночки уделал: стоечки для костылей, два крючка для ружья. Опроска помогала шалашки строить, тетеревиные чучелки поднимать. По темному вывезет меня, в обед увезет, конечно. Смехи! Один раз — погода морозлива, солнце высоко, пора домой, озяб дюже — жены нет и нет. У нее как раз корова никак растелиться не могла, с фермы не уйти. Бежала до самой шалашки, самогон в бутылке принесла: «Пей скорей! Бедный ты мой!»

Потом навадился таким манером, с бабьим транспортом, в лунные ночи зайцев со стога караулить. Наконец стакнулся с дедом Николаем по лисьему делу. Он — так ничего, бойкий, ходит хорошо, стрелять

не может, руки трясутся. По порошке зафлажит лисицу, придет: «Готов? Опроска, подавай автомобиль!» Завезут меня вдвоем в круг, сами гонят. Веришь ли, в первую же зиму восемь лисиц добыли.

Сначала совестно было. Идешь по деревне с ружьем, бабка, не суди, вроде чертовой Гришшихи, вякает: «Куда ты, убогий? Полесник без ног. Не смеши людей. Торнешься где в бочаг — и концы, ищи тебя всей деревней». Потом привыкли, ничего.

Так и жил. Нынче, как завесняло — нет покою! Знаю, что на Липняжном обязательно поют, и тянет, и тянет. Помнишь, как я на мошниковы токи любил ходить? Страсть как любил. Сам себя уговариваю: «Куда ты, черт, дурак, собрался? Зачем тебе глухарь? Мясо постное, путних щей не сваришь. На санках не проехать, пешком не добраться, пропадешь ни за грош с мошниками-то. Брось и думать». Куда там! День пройдет — весна все ярче. Опять мечтаю: «Не так далеко до тока. Может, на гривке поют, там, поди, вытаяло, тропина ровная, чистая. Дошахаю как ни на то». И вот пошел, дурость такая, а он не на гриве — в болото утянул. Хорошо, тебя бог принес. Прикури-ка еще папироску.

Миша взял ее, затянулся, закончил раздумчиво и уверенно:

— Охота, охота… сила необоримая.

БОРХОВ

Мой брат по приглашению неизвестного мне охотника раза два ездил куда-то на полигон и привозил большую добычу. Что это за полигон, я не знал, но корзиночки дичи, в которых лежали тетерева и белые куропатки, выглядели весьма соблазнительно. Узнал я еще, что у этого охотника хорошая легавая. Первый раз появился в нашей квартире на полчаса и стал другом на всю жизнь — адвокат Андрей Юрьевич Борхов. Толстенький, весь какой-то круглообкатанный, неизменно веселый, сыпавший рассказами из своей богатой юридической практики. Постепенно я узнал все, что касалось его как человека, а потом и как охотника.

Он был сыном петербургского дельца — очевидно, состоятельного человека. Сам Андрей кончил в Петрограде реальное училище, а высшее учебное заведение — в Гейдельберге. Естественно, бегло говорил по-немецки, знал и английский. Вскоре получил хорошую практику. Будучи еще студентом, попал в Архангельск, влюбился там в красавицу Серафиму, купеческую дочь, и отпраздновал пышную свадьбу. Серафима Николаевна — женщина редкой красоты, чисто северной, волоокая, с дивными светлыми волосами. Андрей, хвастаясь, говорил: «Надоели Мишке, — так он называл жену, почему неизвестно, — художники, все время предлагают ее рисовать». Будучи девушкой образованной и эмансипированной, она принципиально не захотела быть только женой и после переезда в Петроград устроилась в школе преподавать русский язык. Позже окончила высшее учебное заведение и стала уже лингвистом, научным работником. Андрей обожал свою жену и в нашем клане в этом отношении был образцом. Когда заходил разговор о прочности и непрочности брачных уз, об очередном разводе и кто-нибудь из скептиков говорил: «Нет на свете счастливых браков!» — все хором возражали: «А Борховы?» Детей у них не было. Может быть, потому они были особо внимательны и нежны друг к другу.

«Увенчанный лаврами» А. Ю. Борхов и маленькая Оля Ливеровская.

Самое удивительное, что охотник он был страстный — охотился смолоду, как позволяло свободное время, — но очень узкий. Знал только охоту с подружейной легавой, стаивал на вальдшнепиной тяге, не знал охоты с гончими, совершенно не понимал никакой следовой охоты, скажем, по пороше, или на лисиц с флагами, не бывал на глухариных токах.

Наши семьи подружились, и Андрей Юрьевич с Серафимой долгие годы все летние каникулы проводили вместе с нами. Вообще — тут я сделаю маленькое отступление — наша семья в силу каких-то причин привлекала другие семьи, и они, так же как и Борховы, начинали кочевать вместе с нами по красивейшим — и в первую очередь, конечно, охотничьим — уголкам. Постепенно этот кочующий лагерь становился многочисленней, — скажем, на Селигере из деревни Заплавье, где остановилась наша компания, в озеро выходили четыре большие парусные лодки. В Новгородской, Псковской, близко под Ленинградом, на Карельском перешейке, — где мы только не были! Похоже было на слетевший рой, многочисленный, дружный. Любопытно, что весь этот рой в конце концов привился около красивого озера Городно, в деревне Домовичи, Новгородской области. Прошли годы; мало того, что вместе с моей семьей в этой деревне перебывало гораздо больше ста человек, самых различных, но и половина домов оказалась принадлежащей нашей компании. Обдумывая причину этого, пришел к выводу, что первоначально объединяющей была охота, я же фанатик этой страсти, потому наша семья оказалась центром этого роя.

Андрей Юрьевич, хотя был старше многих в компании, быстро сошелся со всеми, особенно с молодыми. Сколько веселья, оживления он приносил с собой! Одновременно и житейский опыт. Из уст в уста со смехом передавались у нас «правила Борхова»: «Если ты попал под следствие, — молчи, ни в чем не признавайся, помни, что ты знаешь гораздо больше, чем допрашивающий…» Мы знали, что совет не умозрительный, а из опыта. Еще в царское время Андрей Юрьевич был два раза арестован за участие в студенческих демонстрациях, якобы в составе эсеровской группы. Сидел недолго.

Другое, несколько циничное, правило — а молодежь ценит такую категорию — звучало так:

«Берегите ваших жен, не сообщайте им о своих случайных отклонениях от супружеского долга».

Для охотничьего образования Андрея я в первую же весну после нашего знакомства взял его на глухариный ток. И ему не удалось сразу взять глухаря. Когда же он, счастливый, возбужденный, держа в руках красавца глухаря, встретился мне на просеке, заявил: «Не знаю, Леша, пойду ли я еще на глухариный ток, ведь после этой охоты надо сразу по крайней мере на месяц уехать в сердечный санаторий».

Следующая совместная наша охота с ним была, так уж сложилось, на Дону. Две наши семьи по рекомендации моей сослуживицы Ещенко, доцента кафедры истории партии, добрались до станции Кантемировка и в городе Богучаре попали буквально в объятия ее родителей. Не забыть, каким украинским борщом нас угощали: ярко-красным, раскаленным, содержащим, видимо, все ингредиенты щедрой хохлацкой земли. А красочные рассказы пожилого хозяина дома, механика местной мельницы, тоже не забудешь! Скажем, такую фразу: «Я был у себя на работе, а в это время крестьяне под видом бандитов заняли город Богучар». Чувствовалась направляющая рука дочери.

От Богучара мы ехали на волах. Сухая, выжженная степь, жара. Возница на вопрос Андрея: «Скажите, лес у вас есть?» — гордо ответил: «Эге, есть целых три леса!» Надо было видеть расстроенное лицо Андрея — попал в место, где лес учитывался в штуках. Галиёвка — чисто украинский хутор, большой, протянувшийся вдоль Дона. Вверх по течению — меловые горы; ниже, после двух поворотов, знаменитая ныне шолоховская станица Вешенская.

Жили мы хорошо, весело. На хуторе полнейшее изобилие овощей, всяческих фруктов, бахчевых и, конечно, кур, уток. С питанием было чрезвычайно просто и дешево. Каждое утро уходили на пески через старицу на берег Дона: я с малюткой Ольгой на плечах, Борхов с парусиновым шезлонгом, грудой каких-то вещей, провиантом и непременным гамаком. Гамак подвешивали между двумя осокорями. Серафима возлежала на нем целый день, строго держа лицо в тени, чтобы не загореть и не облупиться. Андрей освоился с местом и хуторянами быстро, уверял нас, что нет ничего проще украинского языка, щеголял «синенькими», «красненькими», называл арбуз кавуном, тыкву гарбузом, говорил, что картошка «дрибненька».

Отлично мы жили на хуторе Галиёвка. Страдали только от мух, которых приходилось выгонять в открытое окно, махая простыней, от блох, что несметно водились на земляном полу, и театральных условий уборной: во дворе невысокая загородка из тальниковых прутьев — человек исчезал, когда сидел, и появлялся, когда вставал.

Запомнилась первая охота. Сначала — переправа через Дон, совершенно удивительная: идешь поперек русла по дну, вода по грудь. Торопись — идет пароход! Через минуты по тому же месту, только вдоль реки, пройдет корабль, груженный телегами, лошадьми, коровами, тюками и бесчисленными пассажирами. За Доном несколько вильменей — так называются поросшие водорослями озерки (видимо, отголосок старославянского «ильмень»).

Охота не задалась, была трудной. Пришлось бродить по густым зарослям телореза по пояс в воде. Через десять — пятнадцать минут наши ноги, проколотые сквозь брюки иголками проклятого растения, кроваво покраснели и горели огнем. Пришлось срочно выбираться. У Борхова кряковая, у меня чирок.

Ровно через год, день в день, как раз в открытие охоты — жили мы с Андреем в это время на хуторе в новгородской глуши, — у него с утра температура сорок; хорошо, что рядом мой отец, врач, определил лихорадку и дал хину. Через день и у меня — сорок. Тяжелая была болезнь. Отец объяснил, что это оттуда, из тех самых вильменей.

Старел Борхов — старела и его собака. У него был английский сеттер сине-крапчатый (точнее, трехколерный) Бонар. Он был большой мастер своего дела, работал с анонсом (то есть докладывал о

найденной дичи). Проделывал это с большим удовольствием, что можно было определить по выражению его пегой морды, когда он осторожно выходил из леса, чуть пригибаясь, и ложился у ног хозяина. Андрей говорил: «Бонечка, отлично! Покажи, пожалуйста». И мы, приготовив ружья, шли за собакой, иногда довольно далеко. Из многих виденных мною анонсирующих собак он отличался тем, что рассчитывал темп своего движения: не пропадал из виду и не заставлял хозяина бежать. Ближе, ближе — и вот он на стойке: «Тут они, стреляйте, только, пожалуйста, без промахов».

Однажды на привале приготовили мы рогульки для костра, принесли в котелке воду — все готово для чаепития. Появляется Бонар, подошел и лег. Возник спор: мне показалось, что он пришел не пустой, с докладом, а Юрич не видел, как он подходил, и решил, что Бонюшка просто хочет отдохнуть. Сели позавтракать. Когда погасили костер и собрали вещи, Бонар сразу повел нас за собой — он-то знал и помнил, с чем пришел. Кончилось все весьма удачно: выводок крупных, взматеревших тетеревов в то время, когда его нашел Бонар, тоже собрался на отдых и далеко не отбежал.

Был у Бонара недостаток — тугая подводка; тугая — мало сказать, он оплясывал дичь. Подойдем к нему на стойке, Андрей посылает вперед, Бонар делает огромный круг и становится там же, где был. «Ну вот, — скажет Юрич, — они где-то тут!» Спрашиваю: «А что ж делать?» Ответит: «Самим искать надо».

Бонар служил Андрею до глубокой старости. Я помню одну из последних с ним охот. Около деревни Дубовик Тосненского района мы охотились с Андреем Юрьевичем на пролетных вальдшнепов. Как всегда, это была музыка в природе и на душе. Голубое, по-осеннему высокое небо, прозрачный ольшаник, пестрый ковер палого листа, прохладный чистейший воздух. Во множестве тяжелые, тугие пером, какие-то светлые вальдшнепы. Они сидели близко друг от друга по нескольку штук, хорошо подпускали. Бонар четко разыскивал — чутье сохранилось, а ноги работали плохо. Мы взяли около десятка вальдшнепов, шли домой, сзади за нами, усталый, промокший до синевы, плелся Бонар. Перед выходом в поле встретили стадо овец. Одна из них увидела собаку, подняла голову, подошла к Бонару и несильно его боднула. Бедняга свалился в залитую водой канаву и тихо лежал. Андрей подбежал к нему, взял за передние лапы и… заплакал. Мы вытащили Бонара, стали обтирать его. Обоим было грустно. Мы вспомнили, каким Бонар был молодым, Андрей сказал: «Sic transit gloria mundi».

[16]

После Бонара Андрей года два почти не охотился. Спрашивал его, в чем дело, отвечал, что за зайчиками поедет, ходить с чужой собакой или, того хуже, без нее не умеет. Через некоторое время он по случаю купил себе ружье фабрики «Лебо» в отличном состоянии — правда, с чуть укороченными по заказу владельца стволами, а затем и собаку. Это была Чара — палевый пойнтер, хорошо натасканная, с дипломом второй степени и тоже с анонсом.

В тот год — это был 1940-й, предвоенный, — мы выбрали по карте глухой уголок Новгородской области в районе Шуг-озера, и в начале июля наши две семьи двинулись в путь. В деревне Усть-Капша — это там, где Капша впадает в Пашу, — мы остановились попить молока. Нам рассказали историю, происшедшую накануне и взбудоражившую всю деревню. Испуганное стадо днем ворвалось в деревню. На спине последней крупной коровы висел медведь, волоча задние ноги по земле: он пытался ее удержать. Нам с Андреем Юрьевичем эта история понравилась, и мы предложили остаться в этой деревне. Нашим дамам она понравилась меньше, но они привыкли уважать капризы мужей и согласились.

В это лето мы отлично охотились. Моя молоденькая англичанка с ее бешеным широким поиском оказалась совершенно непригодной для работы в окружающих деревню сплошных лесах. Зато Чара приводила нас через кусты и завалы то к одному, то к другому тетеревиному выводку. Что касается медведей, — поохотиться на них нам не пришлось. А медведи были. Борхов был почти свидетелем редкого случая. Стадо коров паслось вдоль высокого берега Паши. Почему-то в этот день бык, что ходил

при стаде, был неспокоен, все время ревел и рыл землю. Через речку переплыл огромный медведь, схватил быка за рога, потащил и сбросил с обрыва в воду, а сам ушел. Мы ходили смотреть на место происшествия, на тушу лежащего в воде быка.

Это лето запомнилось небывалым количеством грибов. Мы насушили чемодан боровиков, собирая у самой деревни. Идущие в Тихвин грузовики везли полные кузова чудесных белых грибов. Оправдалось старое поверье, через год разразилась война…

Андрей Юрьевич нарушил собственное правило: сказал Серафиме, что последние пятнадцать лет не был ей верен. После признания жизнь его стала невыносима. Жена непрерывно укоряла.

Он упал во дворе своего дома — сердечный приступ — и сразу умер.

НЕМОЛОДЫЕ МОЛОДЫЕ

Рассказал я о многих моих друзьях-охотниках. Они ушли из жизни…

Хоть немного хочу рассказать о более молодых членах нашего охотничьего братства, о следующем поколении, о тех, кто группировался около старших, тянулся к ним, учился у них и сейчас продолжают охотиться сами и приобщают к этому делу свою молодежь — внуков нашего братства. Не могу промолчать, дабы читатель не подумал, что кончается у нас на Руси эта традиционная отрасль человеческой деятельности.

Однако не могу рассказывать о каждом столь же подробно, нет для этого сил и времени, кроме того, у них впереди будет еще много неожиданного, интересного, в том числе и охотничьего, да и писать о тех, кто сейчас рядом с тобой, труднее.

С Модестом Калининым за последние сорок лет я охотился больше всего; так складываются обстоятельства, что и по сию пору он наиболее постоянный мой спутник.

Ирина Михайловна Орлова, его мать, была моей сослуживицей. Тогда уже немолодая, стройная, по-своему красивая женщина, смугловатая, что делало ее несколько похожей на цыганку. Кстати, это, видимо, было в роду начиная с отца ее, профессора М. М. Орлова, замечательного русского лесовода, одного из основоположников лесной науки. Однажды Ирина Михайловна пришла ко мне, чтобы «посоветоваться, как ей быть с сыном». Модест сильно увлекся охотой, и я, как охотник, должен посоветовать — что делать? Я выслушал внимательно и подумал: какая постоянная история — парень увлекся охотой, бросил учение, и меня, охотника, спрашивают, как вылечить от этой страсти. Для проверки спросил:

— Плохо учится?

— Нет, что вы, отлично.

— Так в чем же дело?

— Постоянно просыпает, пропускает уроки.

Что я мог ответить, кроме того, что если отличник, то не так уж страшно.

В таком стиле Модест Калинин продолжал учиться и дальше. И он был студентом двадцать лет! Но не сдал ни одного зачета или экзамена на отметку ниже «пяти», только «пятерки» были в его матрикуле, диплом получил с отличием.

Мне понравился этот красивый чернявый парень, в глазах которого, стоило заговорить об охоте, загорался прямо-таки фанатический огонь.

Как-то весной Модест снова много напропускал. Вскоре наступало время весенней охоты на токах: число пропущенных лекций могло увеличиться. Снова поднялся бы вопрос об исключении. Я уже предвкушал неприятный заступнический поход к декану факультета. Неожиданный звонок по телефону — меня вызывают из лаборатории наверх.

В кабинете у директора его заместитель, декан факультета, профессор Самойлович и комендант зданий академии Мухортов. Обращаясь ко всем, директор сказал:

— Георгий Георгиевич говорит, что на его жизнь было покушение. Расскажите, пожалуйста.

Самойлович повторяет рассказ:

— Я сидел в своем кабинете за столом. В меня стреляли через окно. Пуля прошла очень близко, врезалась в потолок — вот она.

На ладони у декана лежала слегка деформированная пуля от малокалиберки.

Директор продолжал:

— Мухортов, расследуя это дело, посмотрел из кабинета Георгия Георгиевича, нашел направление выстрела по двум отверстиям в стекле. Он считает, что выстрел был произведен из окна квартиры Орловых, где проживает студент Модест Калинин, — полуобернувшись ко мне, добавил укоризненно: — ваш подшефный и продолжатель. Дело неприятное. Георгий Георгиевич дважды представлял студента Калинина к исключению из академии, и сейчас у Калинина прогулы.

Далее последовало обсуждение происшествия. Самойлович был страшно возмущен, возбужден, требовал возмездия. В это время в кабинет вошел заведующий кафедрой военного дела. Генерал выслушал в чем дело, но, когда ему назвали фамилию преступника, прогремел басом:

— Ерунда! Калинин на таком расстоянии никогда бы не промахнулся! Лучший стрелок академии, дает девяносто пять — девяносто шесть в десятку, она вся-то в гривенник. Что-то не то.

Вызвали и Модеста.

После выступления генерала обстановка разрядилась, но далеко не полностью, потому что выстрел был, — и, похоже, направленный в человека, от которого зависела судьба студента.

Калинин объяснил дело так: он готовился к экзаменам, заметил, что против окна по стволу дуба вверх и вниз бегает поползень. Профессор Доппельмайер поручил ему пополнять коллекцию зоомузея нашей кафедры, он знал, что поползня в ней нет. Открыл форточку и выстрелил. Малокалиберка у него была по праву — член первой команды академии по пулевой стрельбе. Вероятно, пуля срикошетила от мерзлого ствола дерева.

Дело кончилось благополучно для Модеста, но момент был достаточно тревожный. Какую-то роль оказало и мое соображение, что при данном освещении Модест фигуры Самойловича через стекла видеть никак не мог.

Меня всегда интересовал вопрос: почему человек становится охотником? А Модест Калинин? Среди его окружения охотников не было. Зов предков? С детских лет потянулся он к этому делу. Начал в голодное блокадное время стрельбой из рогатки по воробьям. Ему, наверно, одному из миллионов мальчишек удалось избежать столь непременных упреков взрослых: «Зачем ты стреляешь птичек?» Напротив, он, вероятно, чувствовал себя как индеец, принесший в вигвам бизонью печенку. Детское увлечение претворилось в страсть, позже в научную специальность; думается мне, что, так как началось с практически

необходимой добычи, выразилась она еще и в том, что Модест всегда стрелял дичь помногу.

Увлечение охотой продолжалось, разгоралось. Начиная со старших курсов он стал ездить на практику широко, по всему Союзу. И ни *на*одну минуту не оставляя привычки рассматривать окружающее с точки зрения охоты. Развиваясь как охотник, Модест шел по стопам нашей компании, прислушиваясь и приглядываясь, в частности, ко мне. Так же в студенческие годы состоял в кружке научного охотоведения, рьяно охотился в нашем Лисинском учебно-опытном охотничьем хозяйстве, как и я в свое время, стал чемпионом академии по пулевой стрельбе. Любил породных собак.

Как и в других случаях, рассказывая о ком-нибудь из друзей, особенно ярко вижу одну-две охоты с ним. Для Модеста — это охота на озере Виркинсельга. В конце красивой, в тот год затяжной осени мы с Модестом Калининым приехали на Карельский перешеек, рассчитывая застать на одном из озер массовый пролет серой утки. Получили на базе челнок, добрались через узкую протоку к озеру Виркинсельга. Заранее решили, что будем стрелять в вылетающих из камышей уток, а толкать челнок поочередно, смена — после первого промаха. Памятный для нас обоих день.

Вокруг большого озера стояли пустые разноцветные финские домики (это было вскоре после войны), а на воде и на берегах ни одной лодки. Я вспомнил, как недавно пролетал над этими местами. Во всех озерах сверху хорошо были видны лежащие на дне затопленные финнами при уходе различные шлюпки и даже яхты. На Карельском перешейке неизменно чувствую печаль и неуютность.

По берегам Виркинсельги сосновые боры, кое-где березы и осины, — они в этот день были особенно заметны, нарядно и ярко вспыхнули среди хвойной зелени. Замечательное озеро: много отмелых берегов, заливов и ериков, густо поросших различными водяными растениями. Дни оказались самыми пролетными, утка шла верхом, иногда присаживаясь; много ее было и по камышовым берегам озера. Один из нас, стрелок, стоял на носу лодки, а другой осторожно длинной пропешкой с тупым концом внизу толкал лодку, раздвигая ее носом то камыши, то тресту, а иногда с трудом пробираясь по густым водорослям. Тут обнаружилось, что условие, которое мы приняли, оказалось невыполнимым: стрелять до первого промаха, после него замена. Промахов не было, пришлось толкача заменять по часам. На той охоте я понял, что ученик сравнялся с учителем. Чтобы к этому вопросу больше не возвращаться, скажу, что в дальнейшем по дробовой стрельбе Модест стал значительно сильнее меня, на стенде он дошел до кандидата в мастера спорта. В лесу случалось так, что во время охоты с гончими Модест успевал попутно добыть одного-двух рябчиков, «ныряющих» с вершин деревьев, — труднейшие выстрелы. И во время охот с легавой Модест частенько стрелял без промаха.

Пожалуй, из всех моих друзей-охотников никто столько не добывал вальдшнепов, уток, зайцев и другой дичи, как он. Однако с годами Модест стал меньше обращать внимание на результаты охоты: интересуется природой в самом широком смысле, ходом процесса охоты, а не количеством взятой дичи, дарит ее друзьям и спутникам. Еще характерная черта: не может снять шкурку с убитой пушнины или — еще труднее — добить подранка. Охоту и природу знает лучше всех из нашей компании — правда, это не удивительно, это его специальность.

Как компаньон по охоте приятен, не отказывается ни от какой работы: у костра, у машины и на стоянке в деревнях. Но самое хорошее в нем как в охотнике — верность делу. Такой пример. Многие мои гончие, особенно последние, отличались чрезвычайно высокой вязкостью; когда со мной Модест, я спокоен. Если заяц или лисица вовремя не взяты, наступает кризис: вечер, надо торопиться с отъездом, а в таинственной глубине леса идет и идет неустанный и неумолчный гон. Снять с гона собаку чрезвычайно трудно. Надо по лесу в темноте подобраться к гону, остановить и взять на поводок обазартившуюся собаку. И вот тут-то, бывало, многие мои спутники, смущенно извиняясь, уезжали в город. И в какой-то мере были

правы — им надо рано на работу. Модест никогда, ни при каких обстоятельствах гончую в лесу не бросит.

Дополню к этой характеристике, что, начав, как и все мы, в ранние годы с очень плохих ружей, он имел и имеет ружья высокого класса. Практика охоты с собаками начиналась с наших собак, потом были, конечно, и свои. Я навсегда запомнил его англичанку Диву, величайшего мастера работы по вальдшнепам. Несколько раз бывал с ней на осенних высыпках. Незабываема обстановка этих охот: высокое небо, нарядные леса, гогот пролетных гусей и… работа Дивы. Надо было видеть, как она осмысленно, прямо как человек, обыскивает припойменные ольшаники, как осторожничает, как, прихватив малейший запах, какие-то флюиды, оставшиеся на палой листве, уверенно ведет и четко становится. Ни один вальдшнеп не уйдет… вот он, длинноклювый красавец, взрывающийся воркующими крыльями неожиданно и резко!

Сегодня Модесту Владимировичу Калинину немало лет, сильно побелела голова, не очень уж хорошее здоровье, пожертвованное, как ни странно, тому же охотничьему делу, но по-прежнему великая к нему страсть. Свое научное мышление по охотоведению он обосновал на двойной основе: лесохозяйственном образовании и биологическом. По моему мнению, на сегодняшний день старший научный сотрудник ЛЕННИЛХа Калинин — один из самых знающих и ведущих охотоведов страны. Он широко наблюдает у нас и в соседних странах охотничье дело, пишет о нем, занимается составлением альманаха «Наша охота», страстно защищает природу и оскорбляется душевно, если кто-нибудь, спутав охотников с браконьерами, укоризненно выскажется об этой извечной человеческой страсти.

Модест Калинин с братьями Ливеровскими на выставке собак. 1973 г.

Моя дочь Ольга — член нашего охотничьего братства. Это несколько необычно, но иначе и быть не могло. В семье, весь уклад жизни которой отражал мою увлеченность охотничьей страстью, где использовалась любая возможность, чтобы уехать в лес, на озеро, в новгородское приволье, — в этой семье не было сына, росла дочь. А впервые я взял Ольгу в лес, когда ей было без малого три месяца. Из лесной деревушки Колмышино принес ее на полотенце к любимому озеру Городно. На высокой горе Мулёвке положил в одеяльце прямо на брусничник. Рядом мы с женой собирали ягоды. Вдруг девочка,

обычно спокойная, зашлась отчаянным криком. Распеленав, увидели маленького рыжего муравья, — по себе знаю, рыжие самые кусачие. Так моя Ольга встретилась с первым в ее жизни «зверем». Потом было много разных зверей — и прежде всего собаки. Девочка относилась к ним без должного уважения. Подползала к моему свирепому Ошкую и тыкала пальчиком прямо в глаза. И тот безропотно терпел. Когда Ольга подросла, я научил ее ходить на лыжах, плавать и ухаживать за собаками. С семи-восьми лет стал брать в лес. Помнится, иду на тягу, а сзади поспевает моя кнопка, важно вышагивая по лужам в резиновых сапогах. Брал ее и на глухариные тока. Уходил от костра довольно надолго, а она спокойно оставалась одна, следила за огнем, помешивала кашу, играла какими-то палочками, тихонько напевала. Быстро научилась распознавать следы на снегу, узнавать голоса птиц. Помню, как я был доволен, когда она, повзрослев, стала стрелять на стенде и вполне прилично освоила дробовую стрельбу.

Не знаю, что первично: то ли общение с лесом делает человека поэтом, то ли поэтичность натуры помогает человеку почувствовать красоту природы, но связь несомненная.

Обучение охотничьему делу.

Подслух — это подслушать, как прилетают птицы.
Подслух — это разведать, где глухари… Нет!
Это гораздо больше: стихнуть, с природой слиться,
Слушать, как гаснет ветер, видеть, как тает снег…

Я привел отрывок из стихотворения Ольги, напечатанного в журнале «Охота». Там у нее глухарь —

Черный и бородатый,
глохнущий от желанья,
Четким и рваным ритмом
бьет в напряженный слух.
Это колдун, творящий
вещие заклинанья,
Это старик, влюбленный
в девственную весну.

Я хорошо помню первого Ольгиного глухаря. Мы с ней затаборились на краю просеки в 59-м квартале Лисинского лесничества. Прилет был неплохой, штук шесть-семь. И надо же так случиться, что неподалеку от нас запел с вечера мошник. А глухарь все точит и точит.

Не люблю стрелять на подслухе, а тут подумалось: «Затучило. Хорошей зари не жди. Может, и не запоют…» Дал Ольге свое «Лебо», сказал: «Скачи!» Невысокая фигурка с длинным ружьем на плече исчезла в сумерках, а я сидел, приваля сь к стволу дерева, слушал. Тя нулось настороженное ожидание. Глухарь пел, пел и наконец смолк. Тишина. Совсем стемнело. Ясно, охота у Ольги не получилась, но что она делает там, в ночном лесу? Пойти поискать? И тут — вспышка света, гром выстрела и шум падающей птицы. Подошла Ольга, я осветил ее фонариком. Повесив ружье за спину, она несла перед собой огромную птицу, прижимая ее к груди двумя руками. Успокоилась, рассказала, что очень боя лась спугнуть, не скакала, а делала к глухарю по два осторожных шага, четко прослушивая конец глухой песни. Когда подошла близко, глухарь смолк. Огля дела, но стреля ть боя лась — темно. Ждала, смиря я сердцебиение, думала: «Хоть бы луна показалась из-за тучки, на минутку бы выгля нула!» Потом вспомнила мой совет: «Если темно, плохо видно, — не целься, обя зательно обнизишь. Взгля ни пристально на глухаря и стреляй навскидку, как на стенде». Так и сделала, а дальше — «разве из „Лебо“ могут быть подранки?» Надо сказать, что у нашей молодежи мое садочное ружье считалось легендарным по бою.

Хорошо освоив охоту на токах, Ольга предпочитала ее всем другим, ездила в весеннее время на тока слушать глухарей, наблюдать весну:

Солнце, вырасти радость во мне!
Выпестуй плод из завязи!
Я, как любви, рада твоей
Ласке, забытой за зиму.
С плеч, словно елка
Ледовый груз,
Зимнюю тяжесть скину я,
И закачаюсь, и распрямлюсь
С песнею глухариною.

Ружье у Ольги дареное. Мой старый друг по работе и охоте Сергей Коротов был владельцем красавца ирландца по кличке Рыжик. Собака породная, эффектная, но несколько миниатюрная. На выставке собак рядом с огромной фигурой владельца Рыжик казался еще мельче. Сергей попросил Ольгу водить по рингу своего любимца. Рыжик получил первое место с оценкой «отлично», а растроганный хозяин подарил ей ружье. Прекрасное легонькое немецкое ружье «Аншютц» шестнадцатого калибра. Сам Сергей с ним не охотился — «дамская игрушка», и бой слабоват — рассыпает. Это ружье сыграло большую роль в жизни Ольги-охотницы. На ходовых охотах она всегда была с ним. «Таскать весь день тяжелое ружье ради одного-двух выстрелов? Нет уж, я лучше с этим, легоньким, а промажу — не беда». Потом и вовсе от ружья отказалась, однако в охотах продолжала принимать горячее участие.

Ездила она и на охоты с гончими. Мы относились к ней как к равной, поручали выправлять собак на сколах, вести на сворке рвущийся в бой смычок. И знали друзья-охотники: если Ольгеша в деревне с нами, — будет на ужин тарелка отличных щей. Найдет время, сунет в печку чугунок перед выходом на охоту.

Охотились мы с дочкой по пороше на русаков, с легавой; по бекасам в пойме Ильменя; по вальдшнепам в красивые осенние дни — и по молодым тетеревам. Каждый год на своем озере, шлепая по воде, вытаптывали из камышей уток. Практика немалая. Я решился взять ее на охоту по медведю.

Берлогу нашел мой друг и один из героев этой книги Василий Матвеевич Салынский неподалеку от своей деревни Сенная Кересть. Охотились нашим небольшим кружком. По глубокому снегу подошли к берлоге. Женя Фрейберг воткнул ружье прикладом в снег и раскинул треногу фотоаппарата. Дочку я поставил рядом с собой. Честно скажу — волновался. Волновался на медвежьей охоте второй раз в жизни, хотя был не новичком в этом деле. Первый раз — когда еще не знал, как поведу себя при встрече с этим могучим зверем; а теперь — чувствуя ответственность за дорогого человека. Медведица выскочила из берлоги, раздались выстрелы, она вздыбилась перед нами с Ольгой. Мы тоже выстрелили, медведица упала. При разделке туши нашли несколько пуль, — Ольгина прошла у сердца. Ей и присудили шкуру, которая до сих пор украшает стену деревенского дома Воиновых.

Я сделал дочь охотницей, уж не знаю, хорошо это или плохо для женщины. Теперь она передает любовь к лесу и его обитателям тем, кто следует уже за ней.

* * *

Боря Ермолов — доцент Лесотехнической академии Борис Васильевич Ермолов, мой первый зять и ученик по охоте.

Блокадный мальчик, чудом сохранивший здоровье, превратился в широкоплечего парня с приветливым, чисто русским лицом. Он стал героем Правдинского бассейна — чемпионом среди юношей по плаванию, играл вместе со своим другом, тоже в будущем членом нашего охотничьего братства, Володей Шалагиным в ватерполо за «Зенит». Закончив там же курсы тренеров, обучал искусству плавания молодежь.

Борис рано потерял отца; попав в нашу семью, со страстью включился в охотничье дело. Был способным учеником. С помощью стенда научился отлично стрелять. Сам натаскал хитрого и умного ирландца Тролля, довел его до диплома первой степени и участника межобластных состязаний легавых собак. Охотится много, азартно, не гоняется за количеством убитой дичи. Из всех охот больше всего ценит весеннюю на глухариных токах и хорошо разбирается в этом деле. Но именно на этой охоте ему сначала страшно не везло: никак не мог добыть птицу, подходил слишком близко, горячился и стрелял быстро, как на стенде. Сейчас Борис — знающий и удачливый глухарятник.

Многое может сказать о человеке его отношение к собакам.

Борис Ермолов. У деревни Еглино. (Осень 1976 г.).

…Наша первоосенница гнала четвертый час. Потеплело. К полудню наст стал отдавать. По следам было видно, что беляк идет по снегу верхом, а Долькины узкие лапки нет-нет да и глубоко посовываются. Еще тревожней — на снегу рдеют капельки крови.

Надо кончать нагонку, снимать собаку. Но как это сделать? Ни на трубу, ни на крик ее не выманишь — уж такая она. А тут еще беляк — черт бы его побрал! — пошел напрямую, надоело ему крутиться в одном урочище. Мы остались далеко, чуть не отслушали, пошли на гон. И опять, уже в новом месте, слышим Долькин голос. И еще час, другой… Неожиданно выжловка резко смолкла. Обеспокоенные, мы, проваливаясь по колено в снег, побежали с Борисом в ту сторону, напрягая слух, приставляя к ушам ладони, ловили хоть какой-нибудь звук. Лес молчал угрюмо, далеко прошумела электричка. Долька исчезла. Мы крутились по тропинкам, расходились, сходились, и вдруг Борис поднял руку: «Стойте, слушайте!» Совсем рядом, в густом ельнике, раздался какой-то жалобный не то писк, не то стон. Бегом туда. На заячьем следу, мертвенно опустив голову, лежит наша собачонка, от нее идет пар, на хребте бугорком сбилась шерсть, розовый снег у лап. «Собаченька наша, что с тобой?» Мы подошли, она не пошевелилась, не открыла глаза, нахлестанные ветками, только дрогнул кончик хвоста. Слава богу — нашлась. Теперь к дому, мы сами так устали, что готовы были свалиться с ней рядом. «Долюшка, пойдем, пойдем домой, милая!» Выжловка не пошевелилась. Я сделал вид, что ухожу, Боря за мной. Отошли шагов на пятьдесят, позвали — Долька недвижна. Стоя над измученной собакой, мы думали: что же делать? Боря сказал: «Замерзнет», — решительно скинул и передал мне рюкзак, нагнулся, взвалил на плечи собаку, держа обеими руками за лапы, понес. До дома три километра. Ход тяжелый…

На нашем озере Городно у Ермоловых уютный домик, построенный Борисом почти целиком своими руками. Рядом с ним дом его друга и члена нашей компании, заядлого глухарятника, московского физика Игоря Персианцева.

На Борисе Ермолове я окончу рассказывать о самых близких мне охотниках. Делаю это с чувством досады и некоторой виновности. Ведь далеко не все тут, много других встречал я за долгую жизнь; стоит

только позволить памяти вернуться вспять, как возникают фигуры такие интересные, колоритные, что хочется хотя бы кратко упомянуть о них. Но нет возможности рассказывать обо всех участниках наших охот даже последних лет.

Незабываема огромная фигура Сергея Яковлевича Коротова, потомка Ганнибалов. Этот останец дворянской интеллигенции был великолепным ученым-химиком, профессором, заведующим кафедрой, одновременно прекрасно знал русскую историю. Он был постоянным спутником нашей охотничьей компании, именно спутником, а не участником потому, что всегда вел как бы самостоятельную охоту, только присоединяясь к нашей. Охотник, с моей точки зрения, отличный, но узкий: лучше него никто не мог найти тетеревиные выводки, отлично знал гончих и охоту с ними — все это вывез из родных псковских мест, где провел молодые годы, охотился со своим двоюродным братом Ильей Селюгиным и его отцом, известным знатоком гончих. Глухариному делу, как ни странно, учил его я, а охоту по пушному зверю он совершенно не знал. Наших любимых лаек обидно для меня и других лаечников называл северными дворнягами.

Многое в Коротове удивляло нас: скажем, охотник, а на лето из города не выезжает. И только после того, как я снял ему в Домовичах пол-избы, стал туда ездить с семьей постоянно. Говорил: «Лешка научил меня жить». Ясно представляю себе его в красной рубашке, подпоясанной шнурком с кистями, большого, красивого, сидящего на корме лодки, жена на веслах, а на носу лодки — ирландка Шельма.

Удивляла нас и поражала способность Сергея Яковлевича к счету в уме. Представьте себе: компания из нескольких человек возвращается поездом в Ленинград после четырехдневной охоты. Спать рано. Кто-то говорит: «Давайте рассчитаемся». Коротов лежит на второй полке купе, довольный и оживленный «посошком» перед отъездом. «Ладно, — говорит, — прикину. Юрий, ты как?» Брат перечисляет, чт *о*он истратил на покупку продуктов, сколько отдал хозяйке, где мы останавливались, напоминает, что он опоздал на день к нашему отъезду и билет брал сам. Говорю и я о том, что покупал, о билете и так далее. Так поступает каждый из нас. Молчание на верхней полке длится не очень долго. Потом следует четкое и ясное решение, кто кому и сколько должен, точно до копейки.

Незабываемая фигура Сергея Яковлевича Коротова.

А Василий Николаевич Павлов! Тоже колоритная фигура, но другого плана. Он был преподавателем физкультуры в военных училищах и сам недюжинный спортсмен. Неоднократно, на разных уровнях, получал звание чемпиона: по теннису, по лыжам, играл в русский хоккей в командах высокого класса, однако… ко всему этому относился, правда, как к любимой, но работе. Душа его принадлежала гончим собакам. Он держал их и дома на Кировском проспекте, и в вольерах в разных местах, один и с товарищами — такими же фанатиками гончих. Павлов долгие годы был председателем секции гончих у нас в Обществе, всесоюзно-известным экспертом-кинологом. Павловские русские гончие славились не только в Ленинграде.

Однажды гостил он у меня в Домовичах со своим действительно замечательным смычком Рогдаем и Волгой. Охота была удачной, но едва не кончилась трагедией. По довольно уже глубокому снегу мы набросили смычок прямо с лесовозной трассы. Собаки сразу же побудили зайца и на первой же сотне метров нарвались на спящих волков. Гон оборвался. Выжлец выкинулся из леса на чистинку ко мне в ноги. Выжловка изо всех сил мчалась по чищенной треугольником трассе, спасаясь от волчицы — положение безнадежное, — однако, к великому счастью, почуяла хозяина. Он стоял на обочине шоссе за снеговым валом, ничего не видел и не слышал. Волга почуяла, кинулась через вал — спаслась. Матеруха промчалась незамеченной. О погоне мы узнали по следам. Василий Николаевич был страшно расстроен, гладил дрожавшую Волгу, ругался нехорошими словами, чего в обыденной жизни никогда не делал. Охоту закончили немедленно, вернулись домой и вскоре пошли на станцию.

В ожидании поезда — В. В. Померанцев и Л. Н. Грузов.

По дороге я — в который раз! — убедился, насколько Павлов знал гончих собак и что лучшего предмета разговора для него не было. Семнадцать километров твердого чищенного большака — разговаривать удобно — от дома до станции, это часа четыре, он, ни на минуту не умолкая, посвящал меня во все тонкости происхождения ленинградских гончих. По памяти называл клички собак, фамилии владельцев, полевые и выставочные награды. Великий был знаток этого дела.

Семья Тиме — да, именно семья: отец Владимир Альбертович, сыновья Игорь и Алик — настоящие охотники, а муж дочери Валерий еще и превосходный рыбак. Они на лето приезжают в свой дом в Домовичах, семья большая: дети, внуки, правнук, — но все помещаются. Рассказать о них можно многое и настолько интересное, что коротко нельзя.

Леонид Николаевич Грузов — профессор Академии связи, доктор наук, подполковник, умница и веселый человек. Он был большим любителем лаек и экспертом по этой породе. С каким теплом и какой радостью я вспоминаю наши совместные охоты с ним и его приятелем профессором Баженовым, крупным ученым и милейшим человеком, который и сейчас, несмотря на почтенный возраст, не забывает охоты, особенно своей любимой — на глухаря. Грузов умер рано от быстротечной тяжелой болезни.

В заключение я хочу вспомнить одну не очень удачную, но памятную охоту. Состоялась она в ноябре 1962 года, когда мы на трех машинах поехали на Псковщину, в район Цапельки. Здесь — это первый и последний случай — сошлись почти все охотники, о которых я рассказывал. У меня сохранилась фотография, сделанная также членом охотничьего братства, из молодых, Глебом Персианцевым. Посмотрите — здесь Урванцевы, Померанцев, Фрейберг, Семенов, Тищенко… Мы вышли из дома, гончие еще не подняли зайца, а мы на опушке леса обсуждаем предстоящий маршрут.

Обсуждаем. Слева направо: Н. Н. Урванцев, В. В. Померанцев, Т. Ермолова, за ней почти не видна Е. И. Урванцева, Леша Ливеровский, Б. Ермолов, Митя Гольданский, А. А. Ливеровский, Л. Калинина, Е. Н. Фрейберг, Н. Н. Семенов, В. В. Щербинский, Д. В. Тищенко. Глеб Персианцев снимал группу.

Труд окончен, он был радостен и печален. Печален потому, что большинство героев этой книги ушло из жизни. Радостен потому, что мне, кажется, удалось что-то добавить к памяти об этих людях. Все они были равны в охотничьем братстве, вознесла ли их судьба на самую вершину славы и почестей и покоятся они под гранитными обелисками или до конца жизни остались в наших тихих красивых лесах и лежат на сельских кладбищах под скромными крестами и звездочками.

Примечания

1

Руженцов. Турбина в Стране Див. Новгородская правда.

2

Все, кроме первого, стихи Ю. Ливеровского приводятся по книге «Предзимки» (М., «Современник», 1984). Издана после смерти автора.

3

Замша из лосиной или оленьей кожи.

4

Ускоренные выпуски морских офицеров из числа оканчивающих высшие учебные заведения.

5

Любовь хрупка
Увы — она пуста,
Как детские игрушки,
И не надо заглядывать внутрь.

6

Двоюродные – опасное соседство *(франц.).*

7

Теперь академик, трижды Герой Социалистического Труда.

8

Артиллерийские полигоны.

9

Это «тень»
(англ.).

10

Старая няня семьи жены Н. К. Черкасова.

11

Капкан.

12

Пирог с рыбой.

13

Вода под снегом
(новгор.).

14

И. С. Соколов-Микитов.

15

*Пахомов Н. П.*Портреты гончатников. (Охотничьи просторы, 1958, № 4.).

16

Так проходит земная слава.
(лат.).